



Под крышей дома

ДОМА

сборник работ победителей и участников Международного литературного
конкурса малой прозы «ЭтноПеро» 2019

Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотека

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

сборник работ участников
Международного литературного конкурса
малой прозы «ЭтноПеро»

2019

Екатеринбург
2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
П44

П44 **Под крышей дома** : сборник работ участников Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро», 2019 / Министерство культуры Свердловской области ; Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель: Горкунова Т. В. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 318 с.

ISBN 978-5-907297-01-2

В сборник включены работы участников Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро», вошедшие в шорт-лист, в том числе работы победителей. Рассказы печатаются в авторской редакции.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907297-01-2

© ГБУК СО «СОМБ», 2019
© Коллектив авторов, тексты, 2019
© Горкунова Т. В., составитель, 2019
© Печерских Н. А., художник, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	5
Рецензия на рассказ В.Х. Ворокова	
«Нико Пиросмани»	7
Вороков Владимир Халидович	
Нико Пиросмани	9
Рецензия на рассказ Е.И. Савельевой	
«Под крышей дома»	23
Савельева Елена Ибрагимовна	
Под крышей дома.....	25
Рецензия на рассказ А.Г. Яковлевой	
«Кэку».....	58
Яковleva Александра Геннадьевна	
Кэку	60
Рецензия на рассказ С.Р. Потмальниковой	
«Северная литания»	81
Потмальникова Софья Романовна	
Северная литания.....	82
Безиков Сергей Тихонович	
Верабей	117
Беломестнова Нина Васильевна	
Подсказки сихиртя.....	128

Евсюков Александр Владимирович	
Караим.....	146
Зейферт Елена Ивановна	
Марк Феликс.....	161
Зиганшин Камиль Фарухшинович	
Щедрый Буге	169
Кибец (Гусева) Надежда Валентиновна	
Амари.....	201
Лободина Галина Владимировна	
Кукушкины черевички.....	231
Нескоромных Вячеслав Васильевич	
Ивакак Паналық – ищущий с копьём.....	258
Оберемок Александр Николаевич	
Обряд.....	272
Оносова (Перлова) Евгения Михайловна	
Ели-маа, страна эдельвейсов.....	281
Максим & Марина Сторм	
Удаган.....	294
Савельев Валерий Николаевич	
Весёлое горе.....	318

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» удивил меня широтой географии участников и высоким уровнем конкурсных работ. Формирование шорт-листа оказалось не простой задачей, так как уровень всех 50-ти работ лонг-листа были очень достойными.

Шорт-лист составили 16 работ, о каждой из которых можно сказать много добрых слов.

Безиков Сергей Тихонович, «Верабей» – рассказ о встрече маленького мальчика и его деда-знахаря, почитающего Николая Угодника, со стаей волков.

Беломестнова Нина Васильевна, «Подсказки Сихирта» – знакомство съемочной группы, приехавшей в эвенкийский поселок Кыкер в Забайкальском крае с преданием о легендарном народе сихирта.

Евсюков Александр Владимирович, «Караим» – знакомство с судьбой жившего в Крыму старого караима.

Зейферт Елена Ивановна, «Марк Феликс» – образ русского немца в годы войны.

Зиганшин Камиль Фарухшинович, «Щедрый Буге» – о жизни охотников-удэгейцев в Хабаровском крае.

Кибец (Гусева) Надежда Валентиновна, «Амари» – о взаимосвязи цыганского мировоззрения и цыганской крови и современного мира на примере жизни маленькой девочки.

Лободина Галина Владимировна, «Кукушкины чревички» – жизнь на хуторе глазами маленьких девочек.

Нескоромных Вячеслав Васильевич, «Ивакак Паналык – ищущий с копьём» – о судьбе старого охотника эскимоса.

Оберемок Александр Николаевич, «Обряд» – о традиции северных охотников (эскимосов) встречать опасность смехом.

Оносова (Перлова) Евгения Михайловна, «Елимаа, страна эдельвейсов» – о дружбе подростков - потомков русского и вогульского народов.

Максим & Марина Сторм, «Удаган» – люди и духи, русские и якуты, золотодобытчики и бандиты в тайге 19 века предстают перед нами в рассказе.

Савельев Валерий Николаевич, «Весёлое горе» – о судьбе мальчика с киргизскими корнями, выросшего в казачьей семье.

Выбор победителей был очень сложным.

Первое место – Вороков Владимир, «Нико Пиромания»

Второе место – Савельева Елена, «Под крышей дома»

Третье место – Яковleva Александра, «Кэку»

Специальная номинация «За сохранение культурной идентичности» – Потмальникова Софья, «Северная литература».

Рецензии на работы победителей конкурса представлены далее.

Горкунова Т.В.

ПЕРВОЕ МЕСТО



РЕЦЕНЗИЯ

на рассказ Владимира Халидовича Ворокова
«Нико Пирсмани»

Грузия. Горный поселок Пасанаури. Встреча героя, от имени которого написан рассказ (или самого автора?) с друзьями в кабачке. А на стене – картина Нико Пирсманишвили, на которой четыре кинто пьют из воловьих рогов, а шарманщик крутит свою шарманку. Там, в кабачке за ужином с друзьями произошла встреча героя рассказа Владимира Ворокова «Нико Пирсмани» с великим грузинским художником. Так началось знакомство героя с Тифлисом начала 20 века – миром, в котором жил и творил Пирсмани.

«В картинах, которые показывал мне Пирсмани, не отдельные лица, а целый народ. И пейзажи у него – не отдельная гора, холм или улица. Но вся Грузия», – пишет автор от лица своего героя.

Художник-самоучка, художник-примитивист, в отношении которого к любому эпитету – «талантливый», «ве-

ликий», «гениальный», по словам автора, надо добавить слово «грузинский», выразил в творчестве дух и характер своего народа.

Герой ведет разговор с Нико о его самобытном искусстве, непростой жизни и драматичной любви, воплотившейся в «море цветов» и портрете французской актрисы Маргариты.

Талантливому художнику немного было надо от жизни – он дарил людям свои шедевры, написанные на дешевых клеенках, как подарил все свои деньги, превратив их в цветы, женщине, которую полюбил, как дарил миру самого себя.

Мастер, воплотивший в своих картинах образ страны, великий сын Грузии умер в одиночестве и нищете, оставив миру яркие, прекрасные, наивные и мудрые картины.

Рассказ Владимира Ворокова очень музикален. Он звучит как песня о творчестве и судьбе, месте и роли художника в окружающем его мире. Как мелодия шарманки, с которой сравнивает автор краски Пиросмани. И музыка, и живопись наполняют нашу жизнь новой энергией и светом.

Есть люди, которые сжигают себя, для того, чтобы согреть своим светом других... «Всем художникам, тепло красоток которых согревает Человека и Землю, на которой мы живем, посвящаю», – говорит автор, предваряя свой рассказ о грузинском художнике Нико Пиросмани.

Вороков Владимир Халидович

НИКО ПИРОСМАНИ

*Всем художникам, тепло красок
которых согревает Человека и
Землю, на которой мы живем,
посвящаю*

В Дарьяльском ущелье шел дождь. Мокли снега на вершинах, скалы, деревья, дорога. Было время перегона, и путь беспрерывно преграждали многочисленные отары. Водителей и пассажиров это раздражало, меня – нисколько. Все только в радость. И дождь, и запах овечьей шерсти, и мокрость асфальта. Я люблю грузинский пейзаж, здесь, в ущелье, и когда вырываешься из цепких объятий утесов. И вспомнил я Кайсына: «Грузия! Зелень долин, снега вершин, синева моря, темные силуэты древних храмов, крепостей, скал. Вечное безмолвие камня и немолчный звон ручьев». Красиво, правда? А на картине жизни все это – еще прекраснее. Вот о чем были мои мысли, когда мы въехали в Пассанаури. Дождик поутих, а затем и вовсе прекратился. И теперь ветер гонял над вершинами стаи туч.

Именно здесь, в Пассанаури, должна была состояться моя встреча с грузинскими друзьями, пригласившими меня.

«Приезжай. Будем пить вино, закусывать адjarскими хачапури. И ничего не делать».

Конечно, вино и хачапури можно найти и поближе. Но ведь грузинских друзей там не было бы.

И вот в знаменитом на перевале ресторане первая проба сил. Шашлыки нам подали на огромных шампурах. Сочные, с подрумяненной корочкой и совершенно не тронутые уксусом, отчего мясо ягненка стало еще приятнее, таяло во рту. Гора зелени и великолепное красное вино в глиняных кувшинах. Что еще надо кавказскому мужчине за обеденным столом? Лаваши? А как же! Пури, соль, лобио и кобийский сыр появились раньше всего.

После того как первый голод был утолен всего лишь одной третью огромного шампуря, я, облизывая пальцы, поднял глаза и увидел на стене картину: четыре кинто, похожие друг на друга, как близнецы-братья, пили вино из воловьих рогов, готовясь закусить пури с сыром и зеленью. А шарманщик, стоящий рядом, наигрывал им мелодию.

Сперва я услышал ее, эту мелодию, грустную для пирушки, а уже затем голос, прозвучавший совсем рядом:

– Это картина Нико Пирсманишвили, батоно Воладя, – говорил мне трактирщик.

– Да брось ты, Датико, каждый раз молоть ерунду, – сказал на это один из тех кинто на картине, прежде опорожнив свой воловий рог, и, положив его на стол, взял пури, чтобы густо уложить на него зелень и сыр, а затем откусить от этой божественной пищи хороший кусок.

– Брось дурачить человека. Картина Пирсманишвили висит, наверное, в каком-нибудь французском музее, а эту скопировал местный сапожник Сандро. Он живет вон там, за углом, где торгуют лавашами. Если пройти немного дальше и свернуть в левый переулок, то уткнешься в кладбище. Говорят, что где-то здесь можно найти могилу Нико, но это тоже неправда, потому что художник похоронен вовсе не

здесь, а на Кукийском кладбище святой Нины в Тифлисе. В дальнем углу, для бедных и обездоленных.

– Вот так каждый раз! – пожаловался трактирщик. – Они не дают рассказать мне правду. Я-то лучше знаю. И отец мой, Зураб, рассказывал об этом. Он дружил с Нико.

Здесь рассердились все кинто на картине:

– Не знал твой отец нашего Николая Аслановича.

Я перестал облизывать пальцы. Друзья что-то говорили, но я их не слышал.

– Погодите вы все, – сказал я. – Дайте послушать шарманку. Ее мелодия из того времени. Она полна запахами красок Пирсмани. Так дайте послушать...

В это время к нашему столу подошел мужчина, худой, нескладный, в несуразном костюме и лакированных штиблетах, с аккуратной бородкой и густыми усами. Он с трудом протиснулся к нам сквозь многочисленные столики. Жестом короля отодвинул трактирщика и, обращаясь ко мне, спросил:

– Тебя интересует эта картина? Она, действительно, плохая копия. Но я делаю много хороших. Они даже не копии, а совсем новые kleenки – жираф, красный олень, черный лев... А хочешь, скопирую «Отшельника Георгия»? Хочешь?!

– Кто вы? – спросил я человека, видом напоминавшего мне начало прошлого века. – И как вам удается копировать самого Пирсмани?

Человек тихо улыбнулся.

– Я и есть Нико Пирсманишвили. Хочешь, пойдем со мной. Покажу тебе столько интересного! И грустного! И трагического! И прекрасного!

— Хочу, — согласился я.

Да и кто бы отказался пройтись по старому Тифлису с самим Нико Пиромсани!

Он остановил фаэтон на Головинском проспекте:

— Вези нас, брат, на другой берег Куры! — велел фаэтонщику. — Здесь не пахнет красками Пиромсанишвили. Здесь другой Тифлис.

Где-то в большом загородном доме, в мансарде, Нико показал мне картину.

«Кутеж трех князей...»

Я молчал.

— Нравится?

Я пожал плечами.

— Знаешь, заказчик, Гублат Чавчавадзе, отказался выкупить ее из-за уродливости.

— Что же здесь уродливого?

— Голубое небо с барабашками бегущих облаков, зеленые склоны гор, деревья и великолепно выполненные портреты.

— Да плюнь ты на этого Гублата! Продадим картину в Лувр. Ее купят за огромные деньги.

— Нет! — отмахнулся Николо. — Зачем продавать? Пусть висит здесь. Придут люди. Увидят. Скажут: «Это нарисовал Нико». Так что пусть висит.

Клеенки. Полотна... Яркие краски и темные. Много лиц. И почти никакого движения.

— Почему?

— Разве знаю?..

Я видел на картинах, которые показывал мне Пиромсани, не отдельные лица, а целый народ. И пейзажи у него

– не отдельная гора, холм или улица. Но вся Грузия. Он привел меня в столовую «Симпатия». На стенах ее – портреты царицы Тамары, Наполеона, Пушкина... Много портретов. Все, кого изобразил Николо, смотрели на нас своими черными глазами. И волосы их были черны. И брови. И носы горбатые. Все они были грузинами.

– Это не я рисовал, – с сожалением, как мне показалось, сказал художник. – Это Карапет Григорьянц.

– А если бы рисовал ты?

– Сделал бы то же самое.

– Тебя можно назвать талантливым, гениальным, великим. Но это будет лишь частью правды.

– Какова же вся правда?

– После каждого из этих слов надо поставить «грузинский».

Художник улыбнулся:

– Спасибо, батоно Володя.

У одной из картин я спросил:

– Почему ты свои застолья называешь кутежами?

– Это ты их так называешь. На самом деле – это каждый раз трапеза.

– Ну хорошо, – сказал я. – Пусть трапеза. Тогда ответь, почему столы твои бедны? Куриная ножка, пара кусочков шоти, одна форелина... Тебе жалко подать к столу жареного барашка, много зелени и пюри, и лобио, и сыра?

– Нет, не жалко. Совсем не жалко. Только зачем? Людям ведь не много надо.

– А почему они во время застолья не разговаривают друг с другом, даже не едят?

– Это спокойные люди. Куда им торопиться? То, что подано на стол, они все равно когда-то съедят и выпьют. Зачем спешить?

– Пиршства твои печальны. У людей в глазах тревога и ожидание. О чём они хотят знать?

– Сколько лет им осталось жить? Будет ли гроза? Может, боятся войны или голода?

– Твои герои подняли воловьи рога с вином. Не будем же им мешать. Отправимся дальше, – предложил я.

Нико не спорил. В каком-то подвале, бывшем духане, расписанном, я сказал:

– У тебя все трапезы или праздники.

Пиросмани обиделся:

– Ты плохо смотришь: «Очаровательная красавица», «Дворник», «Крестьянка идет за водой», «Пастух со стадом баранов» и «Отшельник Георгий», и лев, и олень, и жираф... А вон, посмотри – женщина с кружкой пива.

– Погоди, Нико! Женщина ведь тоже пирует. Она пьёт пиво.

– Говорю же, что ты плохо смотришь. Вместо пены из кружки растут цветы.

– Растут?

– Нет, пена превратилась в цветы.

– Как? По каким законам?

– По моей воле. Я так захотел.

Он дружил с продавцами мацони и кобийского сыра, с мясниками, шарманщиками, пекарями, духанщиками... Они знали и любили его. Пили ним вино. Когда же карманы художника становились дырявыми, совал ему деньги: «Не стесняйся! Бери! Разбогатеешь – отдашь».

Картины Нико становились модными. Их покупали и продавали. Кто-то богател на этом. Но только не художник.

– Ты великий человек, – сказал я ему.

– Да ладно! Какой я великий?! Мазал стены своими рисунками в духанах да погребках, раскрашивал вывески и витрины, рисовал лица друзей и родственников. А они говорили, что не узнают себя на моих kleenках. Я заработал вот за эту картину, – он указал на полотно, висящее на стене, – «Фаэтон и ночной кутеж» – стакан вина и тарелку супа.

Фирмы «Тамада» и «Старый Тбилиси» построили бы тебе из марочных бутылок, наполненных лучшими из вин, двухэтажный дом за эту картину.

– Ты так думаешь? Тогда давай одну из этих бутылок выпьем сейчас.

Я купил двухлитровую керамическую бутыль с видами старого Тифлиса: домики под черепичными крышами, террасы, веранды, уютные дворики. У продавщицы, торгующей водой, попросил два стакана.

– Сейчас, батоно, – заспешила она, – вот только ополосну их.

– Так они чистые...

– Пусть будут еще чище. Когда еще великий Николо придет сюда?!

Я протянул ей десять лари. Женщина убрала руку за спину.

– Как возьму деньги, батоно? Грех. Это все равно, что из храма украсть свечку.

Мы пили терпкое напареули стакан за стаканом. Не закусывая и не пьянея.

– А ты хорошо пьешь, – похвалил меня Нико.

— А ты хорошо рисуешь.

Мы рассмеялись.

— Знаешь, — сказал художник после пятого стакана напареули, — а ведь было время, когда я был абсолютно счастлив. Имел двухэтажный дом, лавку, мастерскую. Люди уважительно приветствовали меня: «Светлого утра вам, батоно Николо! Доброго дня вам! Теплого вечера!»

— А когда ты был очень и очень счастлив? — задал я вопрос.

Николо теребил свою бородку, крутил ус, долго молчал, а затем сказал:

— В детстве... Когда отец научил меня выращивать цветы и сажать в землю виноградную лозу.

— Тебя разорила та самая французская певичка? — спросил я неосторожно.

— Э-э-э! Что значит разорила? Можно быть нищим, имея сундук с золотом.

Дело было так. В Тифлис приехал театр миниатюр «Бель Вю». 7 апреля 1909 года. Бенефис Маргариты де Севр. Красивая, взвалмошная, с приятным голосом и пышным телом. Нико влюбился в актрису. Влюбился безумно. Как мог только он, Николо Пиросмани. Он скупил цветы пяти садов и завалил гостиничный номер певицы букетами.

Это неправда, что я дарил ей лишь розы. Нарциссы, лилии, камелии... Неправда и то, что Маргарита была недостойна моей любви. Пушкин любил свою Анну и посвятил ей стихи. Я любил Маргариту и написал ее портрет.

— Ты обижаешься на нее?

— За что? Она доставила мне миг счастья. Разве только миллиона цветов стоит это?! Не обижаюсь. Жаль лишь, что,

не попрощавшись, уехала. Он достал из кармана своего пиджака голубую шляпную ленту:

– Все, что осталось от нашей любви.

– Нет, Нико, – не согласился я. – Осталась картина «Актриса Маргарита». Это твои цветы держит она в руке?

– Конечно! А чьи же?

– Картина хранится в Лувре.

– Мне до этого нет дела.

Часто его картины вызывали у меня грусть, жалость, восторг, недоумение. И его мысли: «Я никогда не радовался чужому горю». Или: «Я не судья, чтобы в своих картинах выносить приговор князю, кинто или монаху».

– А знаешь, – сказал он однажды, – я ведь ходил в дни революции по городу с красной лентой, на которой было написано по-русски «Свобода».

Пирсмани и красная лента? Это вызывало улыбку.

– Я часто исчезал из Тифлиса с ящиком для красок и кистей. Потом ящик затерялся, и я носил свои сокровища в мешке.

– А говорят, рассовав по карманам?

– Это уже позже. Когда я болел и сильно пил... Часто исчезал, чтобы бродить по Грузии. Но всегда возвращался в Тифлис.

– Последний раз... – начал было я.

Но Нико прервал:

– Последний раз в 1918 году. Перед Пасхой. Раскаты грома большой войны и большой революции доходили до Тифлиса. Война и революция – всегда кровь. Не было работы. Духаны и лавки закрыты. Я спился. Я умирал.

Боль сдавила мне грудь. Боль и обида за незащищенных людьми и судьбой гения.

– И не находил я больше друзей, – продолжал художник. – И негде было отогреть не то чтобы душу, но и тело. Я потерял все. Последней – гордость. Ходил и искал, кто бы мне подал тарелку супа. Но Бог еще раз пожалел меня. Духанщик на улице Малоканской заказал картину. Не помню какую. Он кормил меня и давал водки, без которой я уже не мог прожить. Картина... Я написал бы ее за пару дней, но тянулся с работой, потому что это давало мне пищу.

Затем Нико привел меня в Дидубе, на улицу Потийскую.

– Мое последнее жилище, – сказал художник.

Его приютил многодетный бедный сапожник Арчил. Он не заказывал Пиросманишвили картины, потому что ничего не смыслил в живописи. Просто пожалел нищего, больного человека. Чулан, низкий потолок, вместо стола какой-то ящик, кушетка из досок.

– Одним из последних, с кем я говорил здесь, был Ладо, художник. Он пришел ко мне по поручению художественного общества Грузии и принес немного денег. «Окажи мне уважение, – сказал я ему, – выпей стакан воды». Но он отказался. Может, оттого что я не предложил вина? Но его не было у меня. Я протянул ему кусок хлеба. Но он не взял и пури. Обидел меня Ладо.

В это время к нам подошел импозантный мужчина в элегантном костюме с яркой косынкой вместо галстука и в лакированных штиблетах.

– Батоно Пиросманишвили, не обижайся. Я не желал сделать тебе больно.

Нико поднял на человека свой грустный взор.

– А-а-а! Ладо Гудиашвили!

– Я не хотел вас обидеть, мэтр Нико! Видит Бог, не хотел. – И уже, обращаясь ко мне, будто ища защиты, объяснил: – Здесь, в подвале, под лестницей, возле мусорного ящика, дети бросали камни в приоткрытую дверь чулана, за которой сидел старик с трясущейся головой, и кричали: «Художник Пиросман! Художник Пиросман!»

«Там действительно Пиросмани?» – спросил я детей.

«Да», – ответили они.

«Так почему же вы бросаете в него камни?»

«Потому что он слабее нас».

Я прогнал детей. Вошел в чулан. На ящике стоял один стакан и лежал один кусочек хлеба. Поймите, я не смог... Не смог съесть этот хлеб.

Зато какие картины показал мне Николай Асланович!

– То были мои последние kleenки, – с грустью сказал Нико, – Самые последние. Ладо похвалил их. Мне было приятно. А потом я умер. Не сразу, конечно. Три дня лежал здесь в беспамятстве. Меня нашел Арчил. В больницу на фэтоне отвез сосед Илья.

– Зайдем в ту больницу, – попросил я художника.

– Зачем? Мне больно.

– Если больно, то не стоит...

Но Пиросмани вдруг изменил решение:

– Зайдем!

И вот я листаю старую больничную книгу. «7 апреля 1918 года доставлен в приемный покой мужчина неизвестного звания, бедняк, на вид лет шестидесяти... В тяжелом состоянии, с отеком всего тела, со слабым пульсом, без со-

знания и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался».

Так и записали: «неизвестного звания, бедняк, лет шестидесяти».

– А может, это был не ты, Нико? – спрашиваю я с надеждой.

– Это был я. Какую из своих расписанных kleenok подарить тебе? – спросил меня художник.

– Да где же ты найдешь их, kleenki эти, Нико?! Все давно раскуплено за бесценок, разворовано, обменяно тобой на суп и вино.

– Ладно, батоно Володя, я нарисую любую из них, пока ты будешь пить вино вон за тем столиком, изредка обмакивая в него пури. Я любил так делать... Хочешь «Жирафа»? Или «Пасхального барашка»? А лучше «Натюрморт». Конечно же «Натюрморт»...

Он стал доставать из карманов кисти и краски, раскладывать их перед собой. Откуда-то появилась kleenka. Нико забыл обо мне. Он творил!

– Батоно! Да ты ничего не ешь, – обиженно сказал мне в это время один из моих друзей, возвращая в кабачок Пассанаури, – тебе не нравится шашлык? Эй! Принесите нашему другу горячие кебабы на вертеле!

Я ел кебабы, обжигаясь. Горячий сок стекал с моих губ, пальцев, брызгал на рубашку.

Потом мы пили кофе. Это тоже было волшебством. Ароматные зерна здесь же, при нас, помололи на ручной кофемолке, турки залили холодной водой и довели их содержимое на горелках до кипения, но закипеть не дали.

— Такого напитка не сварят даже там, где выращивают кофе, — сказал я.

— Может, заказать еще чашечку?

— Нет. Столько радости сразу — это слишком.

Подошла дородная женщина в красном платье с не по-горски открытой грудью.

Какой-то мужчина просил передать вот это, — протянула она мне рулон kleenки.

В моих глазах застыл вопрос: «Кто эта женщина? Где я ее видел раньше? И что это за сверток?»

Это Софико, местная официантка и жрица любви, — сказал один из моих друзей.

— Да нет, — ответил я. — Это дама с картины Нико «Женщина с кружкой пива».

— Здесь вообще не пьют пиво, — был ответ. — Какое пиво в горах Грузии? Здесь божество — вино.

Но я-то точно знал, что это она.

— Бери же подарок, — сказала женщина. — У нас не принято отказываться.

Я принял рулон и развернул его. Все ахнули: перед намиискрилась яркими красками картина «Кутеж кинто с органщиком Датико Земель». Та самая картина, что висела на стене. Только свежая, пахнущая красками и излучающая музыку шарманки.

— Он все-таки прислал! — сказал я. — Сам выбрал и прислал.

Наше авто спускалось вниз по ущелью, умытому дождем. Я сидел рядом с водителем Гоги и хорошо видел мокрые деревья, которые ласкало солнце, белые горы, бурые скалы...

– Ваша Грузия – сказка, – сказал я друзьям.

Они согласились:

– Да, сказка. И мы в ней живем.

Потом я повернулся к сидящим на заднем сидении и спросил:

– А где подаренная картина?

На меня глядели удивленные глаза.

– Какая? – наконец спросил один из друзей.

– Та, что прислал мне Нико.

– Ты задремал, батоно, устал, видно. Тебе что-то приснилось.

Но я-то знал, что все это время не сомкнул глаз, бродя по старому Тифлису с Пиросманишвили.

Потом мы стояли на грузинской земле, обдуваемые бодрящим ветром Дарьяла, и пили вино за великого сына Грузии – за Нико.

Прилетела откуда-то мелодия шарманки. Грустная мелодия, но добрая и яркая, как краски Пиросмани.

ВТОРОЕ МЕСТО



РЕЦЕНЗИЯ

на рассказ Елены Ибрагимовны Савельевой «Под крышей дома»

Как ужиться под одной крышей двум семьям с разными национальными устоями, конфессиональными традициями и сложившимися стереотипами? Как, пройдя через неприятие и озлобление, почувствовать уважение и симпатию друг к другу. Эти вопросы остро звучат в рассказе Е.И. Савельевой «Под крышей дома».

Русские Ивашовы и приехавшие из Дагестана аварцы Ахметовы оказались соседями в доме, построенном на две семьи. Ивашовы со страхом прислушивались к доносящимся из-за стены мусульманским молитвам, поскольку, благодаря телевизору, понятие «ислам» ассоциировалось для них с понятием «экстремизм». А Ахметовы с неприязнью смотрели на собаку соседей, поскольку традиционно считали, что в доме, где живет это «нечистое» животное, не будет счастья. Единственным решением противоречий стал забор, разделивший общий двор на две половины.

Но юные умы свободны от предрассудков, живущих в сознании взрослых. В разделенном забором мире взаимного неприятия двух семей незаметно зародилась дружба младших детей и любовь старших. Понимая, что родители ни за что не разрешат своим детям пожениться, Маша и Амир тайно уезжают за благословением к живущему в горах Дагестана прадеду юноши.

А родителям приходится пережить страшное волнение из-за их отъезда, нападение грабителей на младшего сынишку Ахметовых и отважную помочь собаки Ивашовых, прорывшей под забором лаз и оказавшейся очень полезным животным.

«Под крышей дома» – это метафора. Все мы живет под крышей нашего общего дома – планеты Земля. И часто причиной нашей враждебности является недостаточное знакомство друг с другом. «Нельзя любить то, чего не знаешь», – писал Ф. М. Достоевский. И рассказ Е. И. Савельевой помогает читателю понять, как важно перейти от негативных стереотипов к узнаванию и приятию, для того, чтобы в нашем общем доме царили мир и любовь.

Савельева Елена Ибрагимовна

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

Если бы Ивашовым сказали, что из-за такой мелочи, как протекающая крыша в бараке на другом конце города, придется столько пережить, они, наверное, переехали бы куда подальше. Или, наоборот, держали бы двери распахнутыми?.. Теперь уже трудно сказать. Но все сложилось именно так, а не иначе.

Дом Ивашовых – на две семьи. А фактически на одну, потому что вторая половина уже три года пустует. Хозяйствовать так – приятно и свободно. Было свободно до тех пор, пока не расселили «бакинский» барак из-за аварийного состояния и крыши, в конец отказавшейся служить защищать от внешнего мира.

Жили в «бакинском» люди разные, по большей части бедные да еще переселенцы. Ни к Баку, ни к Азербайджану жители дома отношения не имели. Но обитатели городка были знакомы с кавказским миром почти исключительно по маленькому рыночку с азербайджанскими палатками, и выводы делали из торгового общения. Темные глаза и еще более темные волосы жителей барака сыграли свою черную роль, прилепив к нему название несправедливое, но липучее.

– Мам, нам из барака кого-то вселяют! – крикнула Машка, старшая из двоих детей Ивашовых, студентка-отличница, забегая во двор.

Мать ее, Анна или, как ее звали в округе, Анютка, ткнула с размаху тяпкой между новорожденных морковных хвостиков.

— Поди, пьянь какую в частный-то дом отправят, — буркнула Анютка больше сама себе, чем дочери.

— Не, кого-то из черных, — ответила Машка, на ходу отобрав громадный бутерброд у младшего брата Мишки, только что раскрывшего рот, чтобы откусить.

— Час от часу не легче! — заорала на нее мать, как будто Машка выбирала, кому какое жилье дать.

Вечер прошел в ворчливо-тяжостных размышленииах. А утром, когда еще почтальонша тетя Кира не прошла, ситуация прояснилась. К забору подъехал фургон, откуда черным бисером высыпали детишки и тяжело спрыгнул немолодой бородатый мужчина.

— Хэй-хэй-хэй! — пристрожил он бесенят, в момент закружившихся по двору.

Дети вернулись к машине и послушно, один за другим, стали заносить во двор старые облезлые пожитки. Из кабинки, опираясь на руку высокого смуглого парня с короткой густой бородкой, грузно спустилась полная женщина, замотанная в платок так, что волос совсем не было видно, в длинном безвкусно-красном платье, из-под которого торчали такие же штаны.

Новички не обращали на соседей никакого внимания. Муравьиная цепочка сосредоточенно вползала и выползала из дома, пока машина не разгрузилась полностью и, насмешливо фыркнув напоследок, растворилась в белой дорожной пыли. После этого возня переместилась в нутро дома, откуда слышались гортанные голоса, скрип мебели по полу и звон посуды.

Ивашовы, впервые за много лет задвинув прополочные дела, засели на своей половине. Такой напасти к — и без

того нелегкой – жизни не ожидал никто. Анюта звонила по другам и, охая, делилась дурной вестью. Виталий, как глава семейства, старался делать вид, что ничего не произошло – сидел, уткнувшись в телевизор. В настенной живой картине показывали новости из конфликтных зон. Виталий мрачно хэкал и нервно вытирал рукой совершенно сухой нос. Машка и Мишка дежурили у окон, шикая друг на друга и пихаясь. Вторая половина дома, отделенная от Ивашовых стеной и низеньким реденьким заборчиком, активных признаков жизни пока не подавала.

По облачной темноте, прикрываясь отсутствием звездного света, дети тайком вышли из дома и подошли к заборчику. У соседей горел свет и было тихо.

– Как думаешь, они кто? – подпрыгнул, чтобы заглянуть в окно, Мишка.

– Не лезь, салага, – по праву старшей осадила сестра. – Они, знаешь, какие – лучше вообще не встречаться.

– Ага, не встречаться – у нас же двор практически один, – шепотом возмутился Мишка.

– Забор поставим высокий, и все, – отрезала Марья. – И не будем их ни видеть, ни слышать.

Мишке, задрожав то ли от волнения, то ли от ночной сырости, вздохнула.

– Любопытство свое подальше засунь, понял? – сурово посмотрела на младшего сестра. – Я тебя знаю, завтра уже полезешь знакомиться. Ты же слабак, всегда сдаешься и всем веришь.

– Маш, я не, я честно – не, – виновато захныкал Мишка, у которого, и в правду, характер был слабее Машкиного.

На том и порешили, заходя в дом и отрезая, словно навсегда, этот день и все, что было до него, от ставшего вдруг подозрительным и недобрыйм внешнего мира.

* * *

Когда морковные кустики сформировались в маленькие гривы, у Ивашовых уже давно синел новый забор из профлистя, надежно отграживающий их двор от соседского. Решение было принято бесповоротно с того утра, как выяснилось, что соседи – мусульмане.

Не сказать, что Ивашовы были сильно верующими – так, обычные россияне, причисляющие себя к православным уже на том основании, что на Рождество гадали, а на Пасху покупали куличи. Раньше они и не задумывались об этом особо: детей крестили, чтобы округа не шепталась, в церковь иногда заходили – причаститься по случаю, чтобы милость Божию получить. Но с тех пор, как новости стали крутиться вокруг Сирии и все чаще стало звучать слова «ислам», «исламисты», соединяемые с «джихад», «бомбежка» и прочими, Ивашовы стали к вере относиться строже. И становиться мусульман, которых в их районе и без того было совсем немного.

Сейчас же, когда они оказались буквально через стенку от чего-то, пахнущего непонятным и опасным, жизнь и вовсе потеряла свою безмятежность. Раньше в соседской половине жила старая учительница – тихая, безобидная. Ивашовы никогда и не задумывались, что разделяющая стена не капитальная, тонкая. Учительница проверяла тетради да читала, ее годами и не было слышно. Теперь же к Ивашовым несколько раз в день долетали мусульманские молитвы, воспринимаемые русским слухом с непривычки как какие-то

зывания. Пришлось повесить на разделяющую стену толстый ковер и поставить рядом телевизор. Но сам факт того, что всего в метре молятся другому – чужому – богу, которого так часто поминают в религии, толкающей людей на страшную войну и теракты, был ужасен и непереносим.

К тому же почтальонша тетя Рита, знающая все и всегда по долгу службы, сказала, что переехали сюда чужаки вроде бы из Дагестана, и что какой-то из их родственников – кажется, племянник – ушел в боевики, уехал прямо туда, в Сирию.

– А еще они, когда узнали, что вы собаку-то прямо в доме держите, заохали, – доверительно нашептала тетя Рита.
– Аллах-Аллах, мать-то их говорит, собака в доме – ангел туда не войдет. Не быть счастье в дом.

– Какой еще ангел? – не поняла Анютка. – При чем тут собака?

– Тю, – усмехнулась тетя Рита с видом всезнайки. – С такими соседями за стенкой живешь, а простых вещей не знаешь. У них, у мусульман-то, собака – это грязное животное. В доме держать нельзя, грех для них. Говорят, могут и убить, иначе ихний бог их защищать не будет. Смотри, как бы не отравили пса вашего.

Тетя Рита говорила так убедительно, что верилось сразу. Анютка ужаснулась варварству соседей с чуждым менталитетом, способных убить беззащитное создание. Ивашовы животных любили, собаки всегда у них были не цепными, домашними – залюбленными и чистыми. Мусульманские же обычаи, просачивающиеся под еле заметную щель между металлическими листами забора и землей, пугали и никак не становились привычными. Напротив, все эти песнопения,

вечный запах баранины и плова, ежедневно слышимые «иншалла» и «машалла», длинные женские одежды и черные бороды мужчин строили преграду между соседями намного выше, чем сам забор. Теперь же еще добавился и страх за беспородного, но такого родного Грэя.

Сами Ахмедовы и четверо их детей своей замкнутостью и необщительностью лишь увеличивали разрыв между собой и обществом. Отец со старшим сыном работали на рынке, торговали овощами-фруктами. Жена с тремя младшими детьми, самый большой из которых должен был пойти на этот год в школу, сидела дома. Синий забор надежно скрывал соседей друг от друга, но не изолировал звуки. Вставали Ахмедовы рано, во дворе возились подолгу. Волей-неволей Ивашовы в скорости выучили непривычные имена: отца звали Махмуд, жену его – Фарида. Старшего сына, Амира, вечно кликали младшие: Айша, Исмаил и Лейла.

Мишка, в раз полюбивший гулять по общему периметру деревянного, местами дырявого забора, охватывающего весь дом, частенько подглядывал за соседями. Машка, правда, пару раз ему поддала, но потом у нее началась сессия, и стало совсем не до брата. Поэтому в один весьма неприветливо дождливый день, когда родителям было лень ловить сына, вечно ошивающегося то в сарайке, то в саду, Мишка познакомился с Исмаилом.

Взъерошенным вороненком смотрел черноглазый малолеток на шестиклассника, с независимым видом кидающего мяч об землю с той стороны уличного забора. Новенький, оранжево-вызывающий баскетбольный мяч заворожил малыша, застывшего под дождем. Мишка сосредоточенно стучал по мячу, не поворачиваясь к соседу. Подскоков через

двадцать мяч словно бы совершенно случайно улетел к Ахмедовым. Мелкий бросился за оранжевым шаром, поднял из лужи и прижал к себе. Стоял, глядя то на Ивашова-младшего, то на мяч. Мишка уже заколебался – не сделать ли шаг домой, как мяч перелетел к нему обратно. Шестиклассник подмигнул мелкому и бросил мяч снова. Так они и бегали под дождем за мячиком, ловили и упускали, падали в грязь, смеялись. Попало дома обоим – за испорченную одежду и жуткий вид. Зато о тайной дружбе никто из родителей не узнал.

Через несколько дней вездесущие сестрички Исмаила подглядели «подзаборное» общение. Исмаилу пришлось познакомить Мишу с девчонками, чтобы они не наядебничали родителям. Айша и Лейла были вполне довольны, многое не требовали, только смотрели на Ивашова-младшего и, смеясь, что-то говорили на своем. Исмаил же быстро учил русские слова, и забор совершенно не был преградой.

Мишка, польщенный восторженным вниманием малышни, рассказывал про город и окрестности: «Там вот школа моя, большая, здесь частный сектор – ух, и домиш тут – уйма! – а дальше, за домами, лес и озеро, в нем кувшинки растут, цветы такие белые». Девчонки, впечатленные загадочными цветами, растущими прямо на воде, каждый день через брата просили Мишку показать озеро. Уводить далеко от дома чужих мусульманских детей было страшно, но и отказаться – невозможно. Так сияли, так лучились большие черные глаза в окружении смолянистых кудряшек, что однажды Мишка растаял и дал себя уговорить. Решили идти в будни, когда родители будут на работе, а Фарида, мать ахмедовских ребят, ляжет днем поспать.

Долго ждать не пришлось. В среду выдался чудесно-теплый день – не жаркий, но солнечный. Взрослые с утра разбежались по делам, Фарида возилась по хозяйству, а когда солнце докатилось до вершины, по давней привычке, оставшейся от непереносимо-жарких южных времен, прилегла подремать. Дети впервые за долгое время не шумели и не ссорились, послушно и молча сидели возле мамы, поэтому уснула она быстро.

Исмаил вывел сестер через дырку в заборе, которую они с Мишкой ковыряли уже давненько. Ивашов-младший, гордый положением хозяина, уже ждал малышню с пакетом, в который запасливо положил бутылку воды и несколько бутербродов. Дети пищали от восторга, скакали вокруг Мишки, а тот вел их задней, вдоль огородов, тропинкой. Солнце мягко нагревало траву, и идти по ней босиком, сняв надоевшую обувь, было блаженством. Девчонки аккуратно переступали смуглыми ножками через одуванчики и васильки, в четыре глаза рассматривали смешной львиный зев и щекотали брата травинками. Мишка не торопил их, солидно разгуливал по давно надоевшим задворкам их старого окраинного района.

Осталось дойти совсем немного – махнуть через узкий лесок, как вдруг с окружной дороги выехала старая битая «Газель» и, резко тормознув, остановилась около детей. Из машины выпрыгнул Амир и, крепко ругаясь гортанными словами, побросал детей в машину, хватая их сразу по двое. Мишка и сам не понял, как оказался среди ящиков с яблоками, виноградом, помидорами-огурцами и мешками с капустой.

– Не бойся, брат хороший, – утешил друга Исмаил и тут же охнул, стукнувшись затылком об угол яблочно-пахнущего ящика.

Мишка ежился на полу, поджав ноги, подпрыгивая угловатым мячиком вместе с маленькими Ахмедовыми. Как назло, решив сегодня помодничать, Мишка надел желтую майку без рукавов и шорты, а не джинсы. Это был отличный прикид для легкой прогулки, совершенно неподходивший к скачкам среди деревянных ящиков по бугристой гравийной дороге. Мишка моментально покрылся царапинами, расчертывшими ноги и руки красными неровными отрезками.

Машина тормознула. Амир что-то сурово крикнул Мишке, но тот со страху не разобрал русские слова, сказанные с сильным акцентом. Кавказец, ругаясь, вышел из машины, открыл дверь и, как щенка, вышвырнул пацана на улицу – напротив входа в их ограду.

– Ах ты, сволочь! – послышался девчачий визг.

И в Амира врезалась Машка. Сестра у Мишки была не промах – невысокая, стройная, но сильная от жизни в частном доме. Она молотила Амира по голове, груди, рукам, пока у того не лопнуло терпение, и он не скрутил Машку.

Мишка увидел, как сестра от боли хватает воздух ртом, как сверкают глаза здорового, на полголовы выше Машки, парня и бросился на него. Амир, не отпуская Машку, прихватил парня за ухо. И тот заплясал, попискивая, отбивая цыганочку старыми кроссовками.

Маленькие Ахмедовы боялись реветь и только бегали вокруг брата, плаксиво просили его о чем-то на своем языке.

Амир не сразу понял, что толкуют младшие, и разжал руки, когда у Мишки уже конкретно покраснело ухо, а у

Машки побелела вывернутая рука. Амир гаркнул на мелких, и они ссыпались обратно в машину. Мишка и Маша еще сидели в пыли, когда автомобиль уже свернул в соседскую часть двора.

Машка достала телефон. Мишка с опасением покосился на сестру.

– Родителям?..

– Сначала в полицию, – сквозь зубы сказала Машка.

– Не надо, это я виноват, – опустив голову, признался Мишка, понимая, что ничего хорошего его сегодня не ждет.

Предвидение Ивашова-младшего сбылось. Досталось ему отменно: сначала от сестры, потом от мамы, а на ночь – от отца. Мишка потирал затылок, гудевший после отцовского подзатыльника, и думал, что больше никогда не пойдет к Ахмедовым – так скрутить девушки, как скрутил этот гад! Такой верзила, такую маленькую Машку! Мишка прижимался лбом к прохладной деревянной стене, у которой стояла кровать, и строил планы ответа, достойного за честь сестры. Мстить предстояло по-настоящему, по крови. Но как точно, Мишка не знал. Он вспоминал фильмы, представлял себя в черном платке, сильным и беспощадным, стоящим над трусливо ревущим кавказцем. Надо только его как-то связать сначала...

На этом месте Мишка уснул, и снились ему не бои, а карусель из Парка отдыха и большая сладкая вата, которую можно есть целый день, и она все равно не кончится.

* * *

– Эй, иди сюда, да? – черный, рослый, Амир выглядел угрожающе в серой полутьме.

Машка покосилась на свою калитку, но собрала волю в кулак и пошла навстречу. Остановилась прямо перед парнем: пусть знает, она на своей земле, и здесь ее порядки. Независимо отставила ногу, закинула сумку через плечо, посмотрела с вызовом.

– Ты меня прости? – Амир отвел взгляд, и можно было его беспрепятственно рассматривать.

Борода у него немного подросла, и выглядел он из-за этого совсем дикарем, некрасиво и как-то по-дуряцки. Китайская олимпийка, дешевые черные джинсы, остроносые идиотские туфли.

– Скажи спасибо, что заявление на тебя не написала. Вылетел бы в два счета из нашего города, понял? – угрожающе наклонила Марья голову.

– Эй, женщина, говори уважительно! – мгновенно вскипел Амир, забыв желание извиниться, и сделал шаг к Машке.

Но та давно была готова бороться за себя, свою семью и за всю страну. И тоже шагнула вперед. Почти столкнувшись, они оба готовы были защищать своих. Глаза в глаза, дыхание против дыхания, вера против веры. Биться – так насмерть!

* * *

Июль выдался жарким. И хотя сессия давно кончилась, домой Машка заявлялась в поздних сумерках. Отгуливала последние годы детства, когда ты уже совсем большой и можешь приходить, когда захочешь, но еще безответственный ребенок, потому что учишься.

– Ты чего это паришься в длинном, сарафаны не ношишь? – матери удалось спросить об этом только спину Маши, потому что дочь, как зашла в дом, сразу нырнула в душ.

– За тридцать градусов, а она рядится в кофту с рукавами и юбку чуть не в пол, – обернулась Анютка к мужу и снова вернулась к плите. – На кой черт покупали, такие деньжищи тратили, лучше бы газонокосилку взяли, хоть бы польза была.

– Мода, – Виталий лениво ковырял вздумавший бунтовать утюг. – Что в интернете, то и на детях. Хорошо, тулуны летом не рекламируют.

Дочка, раскрасневшаяся и мокрая, прошла мимо, словно не замечая родителей.

– Может, поешь? – сделала мать очередную попытку пообщаться.

Ответила ей дверь, хлопнувшая без вызова, но однозначно.

– Оставь ее, взрослая уже, – примиряюще сказал Виталий жене.

Родители уселись голубками на диване – много ли таких выдается минут, когда и дети, и работа, и дел домашних – жизни мало. А тут наконец-то тишина, и можно побывать вдвоем, обнимаясь, как в юности когда-то. За окном сад качал зелеными головами, на которых уже нарастили яблочки и груши. Подсвистывали птицы сквозь ветви, и легкий ветерок романтично шевелил на окне голубую турецкую тюль, любуясь семейной идиллией.

Спали кошки и собака, раскинулись в кроватях на обеих половинах дети и обнялись во сне родители; дремали улица и сад. И даже птицы сделали ночной перерыв в кон-

церте по чирикающим заявкам. Только один человек в доме бодрствовал и готовился к решительным действиям.

* * *

Осознала пропажу дочери Аньютка уже к полуночи, когда занудно-длинные гудки сменились вежливым «абонент не отвечает». За двадцать Машкиных лет, конечно, бывало всякое. И в последний момент дочь сообщала, что останется у подруги, и ночевала иногда по несколько дней в общаге у сокурсниц под предлогом подготовки к экзаменам. Но чтобы вот так – взять и пропасть? Нет, не в Машкином это характере. Упрямая она, но честная.

– Может, телефон разрядился? – тер лоб потной ладонью Виталий.

– Да я ж звонила ей до этого раз тридцать, – нервно вскинулась Аньютка. – Все длинные да длинные, хоть бы смску отправила.

– Надо Ольге позвонить, которая из седьмой общаги, – влез Мишка, особо за сестру не переживавший. – Она домой на лето не ездит. Машка точно там зависла.

Анна, поколебавшись с минуту и наплюнув на некстати вылезшую вежливость, ткнула пальцем в номер дочкиной подруги. Растерянная сокурсница удивилась и весьма искренне заверила, что не видела Машку последнюю неделю.

Ночь прошла в мучительном ожидании. Родители ворочались, выстраивая планы, кому звонить с утра и как они оторвут Машке башку, когда она наконец-то появится.

Спазаранку, чтобы успеть до работы, обзвонили половину подружек. Из ответивших никто ничего не знал, но оставались те, кто трубку не взял. До вечера Аньютка и Вита-

лий маялись на работах, позванивая в свободные минуты друг другу и оставшемуся с утра списку.

— Надо идти заявление писать, — пустым голосом сказала Анютка.

Вечер был палящим, как полдень, и Ивашовы сидели во дворе на скамейке.

— Там только через три дня берут после пропажи, — хмуро ответил Виталий.

— И что теперь, не идти? — взъярилась Анютка, вымотавшаяся за сутки переживаний.

Из-за заборной синевы слышались раздраженные крики: папаша Ахмедов явно был чем-то недоволен.

— Еще эти тут, — окрысился Виталий.

— Пошли уже, — встала Арюта.

Взяли паспорта и Машкино свидетельство о рождении — дочкин паспорт в суматохе не нашелся. Наказали Мишке сидеть дома и не дергаться и отправились в полицию.

Пока закрывали калитку, сосед открыл ворота, чтобы вывести машину из двора. Ахмедов кинул соседям вместо приветствия злобный взгляд, те зыркнули в ответ. Были бы добрые люди — подвезли бы безлошадных Ивашовых. А эти... чужаки и есть. Арюту с Виталием глотнули обидной пыли, поднявшейся за «Газелью», и, с кашлем и слезами на глазах, вновь заторопились.

Уже около остановки позвонил Мишка.

— Мама, ты только не ругайся, — сопя в телефон, сказал сын.

— Что еще наделал? — рассердилась мать.

— Записку нашел... Машкину. Она на книгах лежала, прямо на столе, а мы и не заметили.

Анютка резко остановилась, взяла мужа за руку.

– Что там?! Читай скорее.

– Там, – помялся Мишка, – там это... «Уехала с Амировом, не волнуйтесь. Вернусь, когда смогу».

Анютка села прямо на остановочный асфальт, держась за сердце.

– Что, что? – от волнения Виталий никак не мог поднять жену.

Анютка повернулась к супругу, но смотрела куда-то в пустоту. Выговорить услышанное было выше ее сил.

Бегом вернулись домой, перечитали: Мишка не сорвал.

– У них ведь родственник какой-то в боевики ушел, – с ужасом вспомнила Анна.

– Я им сейчас покажу боевиков, – рванулся Виталий к соседям. – Поубиваю на хрен, если мою doch по-хорошему не отдадут!

Жена с сыном попытались его удержать, да так и докатались шестируким коловоротом до соседского входа.

Виталий долго лупил кулаками по горячemu металлу воротной двери, пока издали не послышался голос Фариды.

– Эй, кто стоишь тут? – на ломаном русском отзвалась она.

– Открывай! – швартнул со всей силы Ивашов по железу. – Где моя doch?

– Муж нет в доме, потом приходи, – крикнула женщина и закрыла дверь.

Виталий метался перед соседскими воротами до тех пор, пока в последнем свете засыпающего солнца не появился автомобиль Ахмедовых. «Газель» тормознула перед во-

ротами, Махмуд неторопливо вышел из кабины. Ивашов тут же налетел на него.

– Где моя дочь, сволочь черная? – в сердцах орал Виталий и старался схватить соседа за грудки. – Где моя Маша?

Ахмедов нахмурил брови, сжал кулаки, но сделал шаг назад.

– Где моя дочь? Маша где, где моя девочка? – повторял Ивашов, пытаясь дотянуться до соседа.

– Зачем мне твоя дочь? У меня свои есть, – рявкнул в ответ Махмуд.

– Не ври мне! – заорал, не в силах сдержаться, Ивашов. – Она с твоим сыном-боевиком ушла!

Виталий снова попытался ударить Ахмедова, тот схватил его за руку, да так крепко, что Ивашов заскрипел от боли зубами. Анна закричала, испугавшись, что грузный и сильный Махмуд – ведь все черные сильны, как черти – убьет мужа. На визг Анюты из дома выглянула Фарида и, в момент добежав до ворот, выскоцила к ним из двора.

Женский плач, крик, писк детей Ахмедовых, тут же прибежавших за матерью, становились все громче, разносился по всей улице. Из окон окрестных домов высунулись разинутые от любопытства рты.

– Виталий, опомнись, что ты делаешь? – Анна подбежала к мужу. – Хочешь, чтобы все соседи узнали, что наша дочь в боевички подалась.

Ивашов стоял, тяжело дыша, не разжимая кулаки и не отводя глаз от Махмуда.

– Где моя дочь? – тихо, почти по слогам, спросил Виталий.

— Не знаю я, где твоя дочь, — зло ответил Махмуд. — Мой сын пропал, твоя девка его увела!

Голос Ахмедова, утяжеленный акцентом, был хорошо слышен по всей округе. От дальних домов как раз отделились два мужичка — всегда безработные и вечно пьяные участники всех событий местного масштаба. С противоположной стороны спешила тетя Рита, придерживая обеими руками увесистую сумку, хлопающую почтальоншу по округлому боку. Ивашовы и Ахмедовы переглянулись.

— Пойдем в дом, — мотнул на свою калитку Ивашов.

— У тебя в доме наджаса, нельзя, — отказался Махмуд.

— Кто-кто?..

— Собака — нечистое животное, — презрительно сморщился Ахмедов. — В такой дом, где собака живет, ни один ангел не пойдет. От того и все беды, что с тобой под одной крышей живу!

Ивашов опять дернулся к Махмуду, но тетя Рита, заинтересованно окликая то одного, то другого, уже почти дошла до них. Анюта, прекрасно зная, что хорошая сплетня ценится больше, чем пенсия, заторопила мужа: не дай бог узнают, что Машка с боевиком ушла, — всю семью потом со свету сживут. Ахмедовская же дверь была совсем рядом.

— Сам ты наджаса, — огрызнулся напоследок Ивашов и вошел во двор Ахмедовых.

Остальные нырнули за ним разношерстной гурьбой. Махмуд закрыл дверь забора, показал рукой на дом.

Разговор получился немирным и тяжелым. То одна, то другая семья начинали обвинять соседей в коварстве, вражеском настрое, чужих обычаях и прочем. Машину записку Махмуд прочел, перевел Фариде на аварский — сама она

прочитать по-русски не смогла. Фарида заохала, начала что-то горячо говорить на своем. Ахмедов на жену цыкнул, и она сразу замолчала. Но Анна уловила в речи соседки что-то значимое.

— Что она сказала? Что она знает? — придвигнулась на шаг Аньют к Ахмедовым.

— Ничего не знает, нет, — отрезал Махмуд. — Сын ушел без спросу, я его ищу.

— Признавайся, он боевик? — вернулся к больному вопросу Виталий.

— Зачем боевик? — осерчал Ахмедов. — Он сын мой, честный парень.

— А борода как у боевика, что у тебя, что у него, — опять полез на соседа Ивашов. — Все вы, мусульмане, такие: днем дружите, ночью стреляете и горла режете.

— Э, ты! — налились кровью глаза Махмуда. — Я тебе плохих слов не говорил, твою веру не обижал, и ты со мной говори уважительно!

— А что у вас родственник в Сирию подался? — Анна сердито подняла кверху кулачок. — Боевик, значит, в твоей семье — скажешь нет?

— То его грех, — ответил Ахмедов. — Здесь я не виноватый.

— Мама, мама, пойдем, — задергал Мишка мать за рукав.

— Ты совсем, что ли, у тебя сестра пропала, — зашипела на него Анна.

— Ну, пойдем же, мама, — сын упрямо тянул ее за рукав.

Виталий обернулся к жене и сыну, посмотрел в почтенневшее от ночи окно.

– Ищи своего сына, где хочешь, – бросил он напоследок Махмуду. – А дочь моя завтра дома должна быть. Иначе иду в полицию и пишу заявление, что твой сын боевик и мою дочку похитил.

Уже в своем дворе, на родной территории, Мишка снова подошел к маме.

– Я знаю про Машку, мне Исмаил сказал.

– Исмаил? Это соседский? Что он сказал? – затеребили сына родители.

– Сын младший дяди Махмуда, – Мишка показал носком ботинку на синий забор. – Сказал, что видел, как Машка с Амиром стояли несколько раз за забором и разговаривали. Что-то про уехать говорили.

– Вот тебе и длинные юбки! – хлопнул себя по колену Виталий. – Значит, точно в мусульманки подалась, с ним боевичкой поехала.

– Не говори так, не говори, наша дочь не такая, – зарыдала Анна.

– Такая не такая, а из дома сбежала! – Виталий налил полную кружку холодной воды и жадно пил. – Плохо ей здесь было, что ли? Чего не хватало?

Анюта молча вытирала слезы. Возразить было нечего.

* * *

Машка позвонила на следующий вечер, неожиданно. Точнее, звонка ее ждали, как ждут рассвет среди затянувшейся ночи, но, когда телефон Анны затенькал и выдал на экран «Доченька», и Виталий, и сама Анююта на секунду замерли. Потом бросились разом, дотянувшись до телефона в четыре руки. Анна нажала «ответить» и не сразу смогла сказать «да» – пересохло во рту.

– Мама, это я, – заговорила трубка привычным Машинным голосом. – Ты меня слышишь?

– Доченька, где ты? – Анна начала рыдать. – Где ты, Маша?

– Мама, со мной все хорошо. Я не могла вам сразу сказать, вы бы не пустили меня... Скоро доеду и тогда, наверное, смогу нормально все объяснить.

Виталий выдернул у жены трубку, но Маша уже прокричала что-то про отправляющийся поезд и отключилась.

Прохладный к ночи дом в раз стал жарким, как натопленная в декабре баня. Ивашовы вышли на крыльце, долго сидели, наблюдая за перемигиванием звезд, рассеянных во вселенной так далеко, что от одной до другой – не дозваться.

Грэй, в последние дни предоставленный сам себе, с удовольствием предавался любимому собачьему развлечению: рыл землю. Новый забор с самого начала привлекал пса, и теперь, добравшись, наконец-то до синей уличной стены, Грэй с упоением раздирал под ним низкорослые кустики травы. Надо было бы окликнуть пса, отозвать от забора, защищавшего от иноверцев не только людей, но и Грэя, но слова никак не шли наружу. Ивашовы смотрели на небо и не видели, как начинает углубляться щель под забором.

Неделя докатилась до выходных. Ивашовы, к собственной растерянности, пропустили второй Машин звонок. Копались с утра до вечера в огороде, ровняли лопатой между грядками кучки стресса, пропалывали нервные окончания сорняков. И, когда вернулись в дом и увидели пять пропущенных, дозвониться уже не смогли.

На утро воскресенья к Ивашовым постучал Махмуд. Виталий, спавший урывками с момента пропажи дочери, вышел небритый, лохматый. Открыл замок калитки.

– Заходи.

Ахмедов покосился на собаку, разгуливающую по двору.

– Нет, тороплюсь, – помотал головой. – Сказать хотел: вчера Амир звонил. Говорит, доехали до станции. А куда – не сказал, оборвалась связь.

Ивашов хотел сгрубить, но сдержался – все-таки с добром человек пришел.

– Спасибо, вчера не успели трубку взять, когда дочь звонила.

– Марьям с ним, сказал, – хотел успокоить Махмуд.

Но имя, родное русское имя, звучащее вдруг так почужому, разозлило Виталия.

– Мою дочь зовут Маша! – огрызнулся резко.

Махмуд спорить не стал, качнул головой в сторону забора:

– Закопай дыру, голову уже просовывает.

И ушел.

Виталий посмотрел на чумазого Грэя, валявшегося в подкопе и с высунутым от счастья языком. Да, глубоковато уже подрыл, надо бы заделать.

Допоздна обсуждали с Анютой, до какой станции Маша могла ехать с Амиром столько времени – тем более, связь обрывается даже на станции. Предположения получались одно печальнее другого, и, измучившись, Ивашовы легли спать. Беда бедой, а на работу идти надо, хоть ты тресни.

Ахмедовы легли еще позже. Ритм жизни, привычный рядом с проворным старшим сыном, мгновенно разబился, как старая бутылка. Теперь Махмуду по работе и дому приходилось все делать одному. Фарида тоже было нелегко: малыши, прикипевшие к Амиру маленькими сердечками, как призначали и не слушались. Вымотавшись за выходные, всегда активные на рынке, Махмуд наконец уснул, провалившись в глубокое, как Тартарары, забытье. Фарида уткнулась в его плечо, по-мусульмански веря, что муж может справиться со всеми трудностями в мире – с помощью Аллаха, конечно. Младшие спали беспокойно, перебирая во сне ногами и шевеля смуглыми ручонками.

* * *

Исмаил проснулся под утро. Вечером он напился компота и сейчас внутри мальчишки маленький, но настойчивый будильник требовал срочного подъема. Исмаил сбежал в туалет и хотел лечь обратно, но очень уж тихо и свободно показалось ему в доме, когда все спят и никто не говорит ему, младшему в доме из мужчин, что делать, а чего – не делать. Непоседа-вороненок, покосившись в сторону родительской комнаты, хитро сверкнув глазами и решил немного погулять во дворе. А лучше – забраться в машину, на место водителя, и представить, как он сам едет за рулем – серьезный и взрослый. «Эй, – крикнул бы он всем девчонкам и парням, – смотрите, как я могу!» И повернул бы перед всеми красиво и плавно, как умеет брат.

Замок входной двери был тяжелым, стучащим. С ним и днем-то сложно управиться, а в предутренней тишине за-просто всех разбудишь. Исмаил не стал рисковать, открыл окно в кухне, отодвинул в угол подоконника цветы в тяже-

лых глиняных горшках и вылез во двор, скользнув по пластиковой раме. Кроссовки взять он забыл. Остывшая земля холодила пятки – пришлось прыгать до сарая, выполнявшего роль гаража, то на одной, то на другой ноге.

Исмаил задорным козликом доскакал до «Газели» и... воткнулся в чей-то толстый серый зад.

– Охренеть, Васяня, – сказал толстозадый, обернувшись, – что за фигня?

– Ишь ты, отоспался уже, – выглянул из машины еще один – здоровый детина в жеваной красной майке. – Давай лови его.

Красногрудый кивнул толстяку, и тот неуклюжим медведем качнулся в сторону мальчишки. Исмаил отпрыгнул в сторону, кинулася в сторону дома. Но шаг крупного, взрослого мужчины был намного больше, и уже через два детских рывка рука толстозадого крепко держала мальчика за плечо.

– Пусти, пусти, – верещал Исмаил, но вывернуться шестилеток не мог.

– Чего с ним делать-то? – буднично, словно речь шла о яичнице на завтрак, почесал толстый пузо.

– Крути да в машину, – харкнул Васяня на землю зелено-желтой мокротой. – Из города вывезем, там разберемся.

Исмаил воробышкой забился в руках мужика, без усилий удерживавшего пацаненка. Он визжал, ревел, но в доме спали, и даже открытое окно не помогло разбить оковы сна.

Толстозадый поволок малыша, вывернув ему руку. Исмаил пытался упираться об влажную землю, но та размазывалася под ногами, и только оставляла на себе следы.

– Дада! – заорал Исмаил, зовя отца.

Толстяк ткнул в лицо мальчику кулаком. Исмаил упал и хотел отползти, но толстяк подхватил его и зажал рот мясистой, пахнущей куревом и еще какой-то гадостью ладонью.

В образовавшейся тишине двора неожиданно послышалось рычание: это Грэй, просунув в дыру под забором голову и передние лапы, яростно извивался, стараясь пролезть. Мужики напряглись, но, оценив величину подкопа и размер собаки, успокоились и отвернулись.

– Давай пошевеливайся, проснутся, – сказал Васяня.

– Может, прибить пса? – предложил толстяк.

– Вполне, – одобрил красногрудый. – А то так загрузиться на полную не успеем.

Толстяк толкнул Исмаила Васяне. Тот поймал его, ухватив за обе руки, и вытянул откуда-то веревку, собираясь связать мальчика.

Толстяк поднял лопату и, торопливо переваливаясь, направился к забору.

– Я т-те покажу, как на людей лаять, – с ухмылкой сказал он псу и заорал в следующий момент. – А-а-а-а!

Грэй, в и косматый от налипшей на шерсть земли, вцепился со всей собачьей силой в руку, поднявшую лопату. Толстяк крутился, пытаясь стряхнуть пса, цепляя его свободной рукой, но хватка у дворняги была природная. Толстяк вопил, ему казалось, что сотни игл пронзили мышцы предплечья, и кровь хлещет, как из фонтана.

Васяня, матерясь и таща за собой Исмаила, побежал к дружку. По дороге он подобрал у машины кол, который красногрудый держал наподобие боевого копья.

– Стой, урод! – послышался голос Махмуда, возникшего в дверях дома в одних трусах, зато с топором наперевес.

Ахмедов, лохматый и черный похлеще Грэя, выскочил во двор в одних трусах. Из глубины дома заголосила Фарида, за ней запищали девчонки.

Красногрудый повернулся к Махмуду, выставил мальчишку и дубину впереди себя:

– Убью паршивца! – визгом бывалого урки заверещал он. – Ма-а-а-азги по земле раскидаю!

Ахмедов остановился, примеряясь, как отбить сына.

– А ну, отпусти пацана! – послышался сзади крик. – И учти, гад: полицию я уже вызвал!

Над забором, в первых утренних лучах, возвышался Ивашов. Золотой ли ореол над его фигурой сыграл роль или же фактор внезапности оказался решающим, но грабители, не ожидавшие подкрепления еще и с той стороны, окончательно растерялись.

– Валим! – фальцетом пискнул Васяня и, швырнув Исмаила в сторону отца, в три прыжка доскасал до забора, разломанного в углу и сейчас зиявшего дорожной темнотой.

Грэй, увидев хозяина, наконец-то отпустил толстяка. Мужик, постанывая, заковылял за подельником, протиснувшись в заборную дыру, скрипя об доски серым задом, и, прихрамывая, побежал по дороге.

Послышался грохот катящихся бревен, и Виталий исчез за забором. Грэй залаял, просунув голову в подкоп на свою сторону. Из-за синевы послышалось кряхтенье и тихая ругань Ивашова, упавшего с рассыпавшейся поленницы.

Махмуд ощупывал и осматривал сына, пока Фарида, наконец-то одевшаяся и вышедшая из дома, не увела Исмаила, причитая и прижимая его к себе. В заборной дыре со сто-

роны улицы показался Ивашов в тулупе и валенках на босу ногу.

— Накинул, что в сенях было, — неловко перешагнул он через выломанные доски. — А эти удрали, скоты. Как мелкий-то? Ведь ребенка били, козлы.

Ахмедов, качая головой и тихо ругаясь на аварском, стоял перед гаражом, рассматривая развороченные ящики.

— Много украли? — сочувственно спросил Виталий.

— Не успели, — покачал головой Махмуд.

Грэй, обрадовавшись хозяину и тому, что чужаки убрались, а знакомые люди остались, бегал кругами и лаял, махая хвостом.

Ахмедов молча смотрел на собаку. Ивашов почесал в затылке.

— Пойдем мы, наверное, — взял Виталий пса за ошейник. — Хорошо, что дом сегодня оставили открытым, иначе бы Грэй не выбежал.

— Спасибо, сосед, — кивнул Махмуд.

— Бывает, — улыбнулся Ивашов и пролез обратно в дыру.

* * *

Весь день Мишка слушал стук из соседского двора. Прийти не осмелился: чувствовал себя виноватым. Одну из досок забора, и без того неплотно сколоченного, он когда-то подковырнул своей рукой, выманивая Исмаила погулять. Теперь в том самом месте грабители и разворотили дыру. Конечно, одна сорванная доска для здоровых мужиков — что узкая щелка, но ведь разломали они именно там!

Мишка слонялся по двору, отходил на огород поливать, смотрел как виляет хвостом оставшаяся на своей территории половина Грэя, вздыхал, чесал в затылке, но пойти – узнать, как дела – не решался. И когда надо калиткой появилась голова Махмуда, Мишка немного струхнул и незаметно для себя переместился ближе к дому.

Ахмедов степенно постучал, подождал, глядя на Мишку, переминающегося с ноги на ногу, покачал головой.

– Отец на работе? – крикнул Махмуд Мишке.

– Да-а-а-а, – протянул Ивашов-младший, – скоро придут.

В кружевных прорезях верхней части калитки на миг мелькнул черный кудрявый затылок Исмаила. Ростом он пока не дотягивался, поэтому, когда хотел заглянуть во двор к Мишке, подпрыгивал. Сегодня прыжки маленькому Исмаилу не удавались. Мишка вздохнул и, вернувшись к забору, открыл замок калитки.

Ахмедовы зашли во двор. В руках у Исмаила была большая, завернутая в бумагу кость. Грэй, заинтересованный вкусно пахнущим гостинцем, закружился вокруг людей. Собачьи глаза сияли, язык вывалился из пасти, а хвост раскачивался так сильно, что бил собаку по бокам.

– Отдай ему, – кивнул Махмуд.

И Исмаил, доверчиво шагнув вперед, протянул подарок псу.

– На, ешь, – малыш старался выглядеть серьезным, а потому выглядел еще более смешным. – Это твоя еда. Ты хорошая собака.

Грэй покосился на Мишку, но, так как хозяин молчал, собачьего терпения надолго не хватило. Пес мягко, стараясь

не прикасаться к рукам Исмаила, взял зубами кость и, сморшив от нетерпения нос, побежал под крыльцо – в свое любимое логово.

Люди проводили пса глазами, послушали, как тот сочно, со вкусом вгрызается в мясо, покрывающее кость почти по всему периметру.

– Скажи отцу спасибо, – сказал Махмуд Мишке. – Попозже зайду.

Исмаил гордо, с достоинством кивнул, соглашаясь со словами отца. Мишка тоже кивнул – немного растерянно, потому что не знал, что ответить. Ахмедовы уже давно ушли, прикрыв за собой калитку, а Мишка все сидел на крыльце, наблюдая за торчащими из-под крыльца подрагивающими задними лапами и хвостом, от удовольствия расправившимся из калачика. Зубы Грэя, судя по скрежещущим звукам, точили кость, не прекращая смачного голодания ни на миг.

– Ты чего это такой кислый? – крикнул от ворот Виталий. – Случилось что?

Постоянно ожидание хоть какой-то весточки о дочери сделало Ивашова подозрительным.

– Пап, отчего люди друг друга не любят? – Мишка попинал отошедшую от ступени крыльца доску. – Вот собаки – они всех любят, кто их не обижает и их хозяев...

– Не разводи мне философию, – буркнул отец. – Чем собаку накормил?

– Да это не я, – задумчиво отозвался Мишка. – Это дядя Махмуд приходил с Исмаилкой. Во-о-от такую костищу для Грэя принесли!

Мишке по-рыбацки развел руки в стороны, существенно преувеличив размеры подношения. Но задняя часть

пса, по-прежнему высовывающаяся из-под крыльца и блаженно подергивающая лапой, оспаривать заявление не стала.

– Наджаса, наджаса, – передразнил Ивашов, – вот и пес, хоть и нечистый, пригодился...

Виталий разогрел ужин, но есть не стал. Смотрел телевизор, выключив звук, листал новости. Онемевший экран импульсивно дергался, меняя изображения, привлекая внимание яркими кадрами. Дикторы с напомаженными головами манерно поджимали губки, корреспонденты, принимавшие у дикторов эстафету, старательно пучили глаза и многообещающе махали руками, показывая сразу во все стороны. Ивашов сидел за столом, облокотившись, размякнув над тарелкой, подперев рукой голову, усталую от бесчисленных дум.

Хлопнула дверь, в кухонном проеме показались сумки, за ними тащилась вспотевшая Анютка.

– Говорят, сейчас сажают жен боевиков-то, – не поднимая головы, словно сам себе, сказал Виталий. – В тюрьму сажают, надолго. Как пособниц терроризма.

Анна плюхнулась на табурет рядом с мужем, взгромоздив на колени пакеты с едой.

– Что ты говоришь-то, – охрипла она вмиг. – Может, еще не посадят. Может, амнистия какая выйдет. Не одна же наша так попалась. Вон их сколько – террористов этих чертовых, наших девочек сманивающих.

– А может, и не вернется она уже, – продолжал рассуждать Ивашов, по-прежнему глядя исподлобья куда-то сквозь мельтешащий картинками экран телевизора. – Приведут войска артобстрел какой, и не останется там никого.

Анна грохнула пакетами об пол, схватилась за сердце.

— Что ты душу-то мне терзаешь, — заплакала она. — Меня-то за что мучаешь? Думаешь, я не переживаю? Вся уже извелаась: там Машка останется — женой террориста будет, сюда вернется — преступница, в тюрьму упекут. Всё из-за мусульман этих, как переехали они к нам в дом, так и началось все. А до этого мы как хорошо жили, по-христиански, в мире, под крышей одного дома с любыми соседями!

Анна схватила кухонное полотенце и, вытирая глаза, ушла в комнату. Ивашов сидел набычившись, постукивая кулаком себе по лбу. В тарелке твердели остывшие пельмени, из пакета, раскрывшего пасть посреди кухонного пола, медленно и беззвучно вытекал бело-пупырчатый кефир. Молчание — горькое, как тот самый деготь, вкус которого русские и забыли уже давно — охватило дом целиком, проникая сквозь стены и перекрытия.

— Па-а-а-ап! Пап! — заорал Мишка.

Виталий подпрыгнул, чуть не лишившись разума.

— Балбес! Что ты вечно надрываешься? — рявкнул отец.

— Спокойно говорить совсем не можешь? И так тошно, без тебя!

— Там просто сообщение, — разом сникнув, пробормотал Мишка. — От Маши...

Виталий подскочил, табурет грохнулся об пол.

— Где?! — сипло выдохнул Виталий. — Телефон где?

— Ты его на крыльце оставил, — протянул Мишка отцу старенький «Самсунг».

Из комнаты, запахивая халат, пошатываясь, вышла Анна.

— Подожди, сяду, — сказала она мужу и тяжело опустилась на второй табурет.

Виталий, дрожащими руками поднял валявшуюся табуретку, долго поправлял покосившуюся ножку. Жена его не торопила, обоим было страшно узнать, что прислала дочь. Наконец супруги уселись, Мишка встал за спиной отца, чтобы – в случае чего – не попасть в эпицентр эмоций.

Видео оказалось коротким, на три с половиной минуты. Ивашов дрожащей рукой ткнул в стрелочку загрузки. На экране телефона закрутилось колесико загрузки, а у Ивашовых закружилась голова и перехватило дыхание.

Маша возникла сидящей «по-турецки» на темно-красном ковре.

– Мама, папа, здравствуйте, – невесело улыбнулась дочь. – Хотела позвонить нормально, но тут горы, связь почти не тянет, далеко от города очень.

Анна, услышав про горы, охнула, осела назад. Виталий подхватил жену, придинулся к ней.

– Тут очень хорошо, мне нравится, – говорила Маша гордо, но глаза были виноватыми. – Вы не сердитесь на меня, что я так уехала. Вы же все равно меня не пустили бы, а я очень хотела проводить дедушку Амира.

Маша посмотрела куда-то за камеру телефона и улыбнулась искренне, радостно.

– На самом деле, он дедушка Махмуду, а не Амиру, – продолжала Маша. – Он старенький очень, дедушка Салимхан, еще в войну воевал. И даже до Берлина дошел. Мы поехали его поздравить, потому что у него день рождения – 94 года!

Маша вдруг замолчала, опустив глаза.

– И еще мы за благословением поехали, – Маша подняла глаза и теперь смотрела в камеру уверенно, жестко. – Я

знаю, что вы не разрешили бы мне замуж за Амира идти. А ему родители тоже не разрешили бы на мне жениться.

Анна и Виталий переглянулись, схватили друг друга за руки. Мишка, выглядывая из-за спины отца, вытянул шею и раскрыл рот, внимательно слушая, что говорит всегда такая решительная старшая сестра.

А Маша по-детски подтянула коленки к подбородку, обхватила руками ноги в трубчато-узких джинсах.

— Я сначала думала быстро съездить и вернуться, — задумчиво вздохнула она. — А теперь думаю: не хочу домой. Так надоела эта ваша вечная война: мусульмане, христиане... Вы и людей-то не видите за этими словами. Только крьсишься друг на друга, хотя живем все в одном доме. А тут нам все рады, никто нессорится. И мне с Амиром хорошо. И с дедушкой Салимханом, и его внуками, которые с ним живут. И воздух тут чистый, и такой виноград!

Маша вскинула руки вверх, показывая, какие большие грозди винограда растут здесь.

Кто-то за камерой окликнул Машу. Она встрепенулась, привстала.

— Мама, папа, я обязательно попозже вам еще видео запишу, — наклонилась Маша к телефону. — Сейчас виноград соберем, и вместе с Амиром вам видео запишем. И с дедушкой Салимханом. А теперь я пошла, ладно?

Машиной рукой резко увеличилась, потянувшись к экрану, изображение погасло.

В кухне Ивашовых снова образовалась тишина. Анна взяла второе кухонное полотенце и рыдала в него. Виталий вздыхал и кхекал. Только Мишка, почесав в затылке, ухмыльнулся восхищенно, пораженный смелостью сестры.

– Надо пойти Махмуду сказать, – собрался с духом
Виталий. – Тоже ведь переживают.

Анна кивнула, не отнимая полотенце от лица.

– Р-р-рав! – весело тявкнул во дворе Грэй.
В дверь постучали.

ТРЕТЬЕ МЕСТО



РЕЦЕНЗИЯ

на рассказ Александры Геннадьевны Яковлевой «Кэку»

«Кэку», по удэгейски – «Кукушка», – так называется рассказ молодой писательницы из Омска Александры Яковлевой.

«Кэку» – так назвала молодую учительницу Ярославну, Яру, прилетевшую из города в дальневосточную тайгу, семидесятивосьмилетняя преподавательница национальной культуры Ольга Давыдовна.

«Полечу, говорит, кукушкою по Дунаю» – причитает в эпиграфе к рассказу жена князя Игоря Святославовича Ярославна – тезка героини рассказа. Эти же слова героини древнерусского эпоса цитирует Ольга Давидовна, обращаясь к Яре.

Поселок Тихое место – затерянный мир в тайге, где, по словам главы администрации поселка по фамилии Хлопуша, время стоит на одном месте. Вертолет из ближайшего города прилетает сюда раз в неделю, а если поднимается

снежная буря, то и раз в месяц. Молодежь разъезжается, ста-
рожилы пьют, краевые власти не помогают. Учителя, присы-
лаемые из города в местную школу, сбегают с первым же
рейсом.

Желание сбежать преследовало Яру с самого первого
дня в поселке. Но Тихое место не захотело ее отпускать. Не
хотели отпускать дети, получившие настоящего Учителя. Не
хотел отпускать новый друг Игорь, протянувший свою
надежную руку при выходе из вертолета – с самого первого
шага на эту землю. И даже бабушка Игоря, тихонечко шеп-
тавшая привороты-присушки. Но если древнерусская кня-
гиня хотела полететь кукушкой вслед за своим князем в по-
ловецкие степи, то современная Ярославна порывалась уле-
теть из забытого на краю света Тихого места от человека, к
которому привела ее судьба...

Дорога судьбы, земля, которая принимает человека и
оставляет пускать корни, древнерусская кукушка и удэгей-
ская Буя Гидыни, Дорога небесных людей, – мифологемы в
рассказе Александры Яковлевой искусно вплетены в реаль-
ность. Есть здесь и вечное противоречие старого и нового,
выраженное во взглядах Хлопуши, охраняющего остано-
вившееся время в тайге от туристов-браконьеров, и Игоря,
мечтающего развить здесь этнотуризм и привлечь деньги,
хотя ему и жалко пострадающих от этого косуль и соболей.

Рассказ метафоричен. Он не дает ответов. Его вопросы
вечны, как нависающая над Ярой звездная Бездна, как по-
пытка осознания роли и места человека в многообразной
картине мира.

Яковлева Александра Геннадьевна

КЭКУ¹

*«На Дунае Ярославнин голос
слышится, кукушкой безвест-
ной рано кукует: «Полечу, говор-
ит, кукушкою по Дунаю...»*
(«Слово о Полку Игореве»)

– Девушка! Руку!

Рокочут лопасти, хлопают о воздух, кружат снежную крошку. Ветер жалит кожу, снег застилает глаза, ныряет за ворот и там растекается по шее холодными струйками.

Яре зябко на ветру и страшно под лопастями. Ресницы её слиплись на морозе от слёз. Втянув голову в плечи, она идёт по белому полю сквозь пургу – вслепую, не разбирая дороги, прикрываясь пуховой варежкой в розовую снежинку. Другая варежка почти целиком утонула в чёрной кожаной рукавице. Ей там тепло и надёжно, уверенно как-то. Чёрная рукавица тянет пуховую варежку, а за ней тянется и вся Яра, с головой в плечах, под мохнатым капюшоном парки, с носом в заиндевевшем шарфе, с ногами в дутых штанах и новых тёплых ботинках. Эти ботинки она купила на свои последние две стипендии. Ботинки – хорошие, фирменные, потому что Яра – патологическая отличница и стипендии у неё всегда повышенные.

¹ Кэку (удэг.) – кукушка.

Тяга на миг слабеет. Над Ярой склоняется, закрывая собой тусклый дневной свет, парень в куртке снежно-защитного окраса:

– Я от Хлопуши! – кричит он, заглядывая Яре под капюшон. – Борис Игнатьич! Просил встретить!

Яра кричит в ответ: «Хорошо!» – но саму себя не слышит.

Впереди светят круглыми фарами внедорожники. Сквозь шум вертолёта пробиваются гудки, урчание двигателей. Кажется, весь посёлок встречает пассажиров Ми-8. Яру усаживают на заднее сидение в одну из машин, пристёгивают, вручают ещё тёплый термос. Она свинчивает крышку, открывает резиновый клапан – и слышит душистый можжевельник, таёжный мёд. Она пьёт маленькими глотками, согревает руки, горло, всю себя.

И вот автомобиль уже идёт по бездорожью, а за окном скачет тайга, глухая, заснеженная, невиданная досель.

Водитель – невысокий мужчина под пятьдесят, с дальневосточными глазами. Говорит он много, шумно, и смеётся, и время от времени хлопает по плечу сына. Тот уже расстегнул свою снежную куртку, снял чёрные перчатки. Руки у него тонкие, длиннопальые. Отцовские черты в лице смягчены. Он тоже много смеётся, а порой нет-нет, да и глянет на Яру в зеркало заднего вида. Наблюдает.

Яра тоже наблюдает – за убегающей вдаль тайгой. Мысли вспыхивают в её голове и тут же уносятся, да так стремительно, что вскоре остаётся лишь пустота, лёгкая, звенящая, и Яра, разморённая теплом и лесным чаем, прикрывает глаза на короткий миг – и проваливается в забытьё.

Она просыпается в чистой постели. Утренний свет слепит её даже сквозь занавески в зелёный горошек. На мгновение ей чудится запах свежего хлеба, приглушенный бабушкин говорок с кухни, мерный перестук ходиков, а за окном – лето, родной двор, мальчишки уже запускают змея с верхушки старого тополя, и змей трепещет на августовском ветру и бьётся, бьётся в стекло...

Но вот глаза привыкают к свету. И видит Яра, что это не змей, а малая птаха стучит клювом в промёрзшую раму, заглядывает любопытным глазком. И ходики на стене совсем другие, без гирек, и солнце зимнее, и в доме стыло.

Какое-то время Яра лежит в чужой холодной постели, глядя в чужой белёный потолок. Осознаёт. В изножье кровати – стул. На стуле – одежда и пуховые носки в придачу. То же чужие. Всё кругом чужое, и даже Яра сама не своя: будто сдвинулось в ней что-то, провернулось вокруг оси, незаметно, но безвозвратно. И тянет, тянет куда-то в метель, в пустоту – так, глядишь, всю душу вытянет по ниточке.

– Во даёт девка, – совсем близко вдруг старческий голос. – Чего ты, милая?

И крупная, задублённая, тёплая от печного жара ладонь ложится на светлую Ярину голову, с неуклюжей лаской ерошит волосы. От руки пахнет парной выпечкой и луком, и, смахивая кулаком настырные слёзы, Яра говорит:

– Такая голодная, хоть плачь.

Она смеётся – долго, а потом так же долго рыдает в ситцевый передник.

* * *

Между второй и третьей булочками с изюмом Яра принимает решение. Она непременно выберется отсюда.

Так она и говорит бабушке Игоря, бабе Мане, пока та подливает ей горячего брусничного чая в нарядную, тиснёную золотом пиалу из серванта. У Яры впечатление, что она первый человек за последние полвека, кто пьёт из этой посуды. Японский сервис – главная ценность дома, а может быть, даже всего посёлка, поэтому Яра обращается с пиалой крайне бережно.

Баба Маня энергично хлопает Яру по плечу. Это у них семейное. Говорит:

– Знаемо, выберешься! Как не выбраться? Хоть в глухи живём, да уж не совсем. И корабель ходит, и вертушка лётает. Вертушка-то почаше: считай, каждый вторник.

Яра спрашивает с набитым ртом:

– А вы сами бывали в городе?

Смеётся баба Маня:

– Да зачем мне? Счастливее, что ль, там живётся?

– Комфортнее...

– У всех комфорт разный, – говорит назидательно. – И счастлив тот, кому хватает, так-то.

– А мне здесь не хватает, – заявляет Яра. – Вот в следующий вторник и улечу.

Она обмакивает кусок булки в чай, рубиновый от ягод, ловко забрасывает его в рот, и сладкие шарики изюма лопаются на зубах.

– Вёдрышко будет – так и улетишь, милая, улетишь птичкой! А то ещё передумаешь, Бог даст.

Баба Маня садится у окошка, отдергивает занавески. Ей уже девятый десяток, и когда свет падает на её коричневое, изрытое временем лицо, кажется, будто это глиняная маска, а под маской Яра вдруг видит бабу Маню совсем мо-

лодой, какой она была, когда выходила замуж в этот посёлок. Баба Маня шурится на свет, от глаз её разбегаются счастливые лучики, складываются паутинкой.

– Бог даст – передумаешь, – повторяет она, и паутинка играет на стариковском лице. – Хорошо у нас, в Тихом месте. Спокойно, дышится легко. Пообвыкнешься – передумашь... Останешься, птичка, – Игорёк обрадуется...

Баба Маня всё бормочет свою присушку, заговаривает, и Яра, будто в трансе, видит, как кусок размокшей булки падает из её руки прямо в чашку, распадается на крошки. Белыми звёздами кружат они в чайном небе и, мерцая, тихо умирают на дне.

* * *

– Ярославна Марковна? Прошу, входите, отогревайтесь. У нас натоплено... Вот обождите, помогу вам курточку... шапочку... Лизавета! Милая, чаю нам организуй в кабинет! Вот и добрались, вот и добро. Вы уж не сердитесь, Ярославна Марковна, что с вертушки не забрал вас лично, тут участковая нагрянула, разбирались... Ой, комедия! Одни алкаши ведь живут, прости Господи. Каждодневно морды бьют друг другу. В фарш бьют! Скучно им, псам, а Катенька, как подорванная, из другого посёлка мчится оформлять. «Буран» у ней – загляденье. Служебный... А вот и чай! Спасибо, Лиза, спасибо, золотая моя. Варенье? Мёд? Кушайте-кушайте! Прекрасный таёжный мёд. Такого мёда вы не ели никогда. Ну, так на чём я?.. Ах, да. Смертным боем бьются мужики. Из-за чего? Так знамо дело, из-за чего. Шарше-ля-фам, ха-ха! М-да... Вы, Ярославна Марковна, я вам честно скажу, девушка всяческих достоинств. Так что... К-хм... Будьте обережны. Составляли мы протокол, а я и думал: как же наша новая

учительница здесь, в глухи? Не ровён час – обидят! Так что запомните, Ярославна Марковна: чуть косой взгляд, чуть кто тронет, принуждать начнёт – бегом ко мне! Мигом усмирим, отвадим. Ясно? Вы вот у Игоря нашего остановились... Только что говорил с ним, разминулись маленечко. Игорёк, конечно, парень хороший, да ветра много в голове. Наивности. Глупости, если угодно. Да-да! Съездил в город, нахватали там энтузиазма: похвалил его кто-то или что... С идеями вернулся! Идейный, язви его в душу. Господская охота! Этнотуризм! Растворить его в качель... Прошу прощения, Ярославна Марковна, но это ж невозможно без смеха слушать! Я так скажу, промеж нас исключительно: сковырнуть он меня приехал. На моё место хочет. Он думает, быть главой – это очень просто. Думает, Хлопуша тут штаны просиживает день-деньской, бумажки перекладывает. Что это только по вине Хлопуши одного посёлка гибнет... Вы пейте, пейте чаёк-то, остынет. Нет, ну а что я могу один?! Власти нам не помогают ни черта. Дом культуры надо отремонтировать, школу – видели школу-то, нет ещё? На вас-то одну еле наскребли: зарплата, подъёмные, дом вам ещё положен... Н-да. Кругом же деньги нужны. А знаете, сколько бумажек надо собрать? Ещё же не просто так, ещё в конкурсах участие прими. Да какой глава будет этим заниматься?.. Должно как, если по совести? Вот я в край пишу, мол, нам надо то-то и то-то, помогите. И край помогает. А они только отписки, только отписки. А Игорька нашего вообще пошлют лесом, сопляка этого. Ишь, сковырнуть меня решил! Не-е-ет, Хлопушу так просто не сковырнёшь. Я десять лет глава, и ещё столько же главой буду. Да и народ уж давно ко мне привык. В посёлке одни старики, молодого и не выберут ни почём. А у нас демократия в стране! Народ решает. А я знаю, как народ ре-

шил, потому что это мой народ. Никому его идеи не нравятся, даже родной его бабке. Игорь хочет деньги привлечь – это дело благое, это я понимаю. Но как привлечь? Растрянь-кать природные богатства, проложить туристическую тропу к самому нашему порогу! А место тут тихое. Даже название посёлка так переводится, знали? Тихое место. Хорошо, спокойно. Чистота и дичь первобытная. Любого спросите – скажут: не нужны нам чужие, не нужны охотники-туристы, браконьеры эти всевластные. Народ извели уже, ещё не хватало нашу тайгу им отдать. Дурак он, этот Игорь. Молодой ёщё, не понимает. Как мёд, вкусный? О, то-то же! Вы, Ярославна Марковна, непременно заходите в гости ко мне домой, в любое время. Здесь же, только с другой стороны крылечко. Жена обрадуется. Новый человек для нас – всегда большая радость. Дети выросли, разлетелись, а мы свой век доживаем. В забвении. Иногда кажется, даже время здесь стоит на одном месте...

* * *

Яра с недоверием оглядывает здание школы.

Школа, кажется, заброшена по крайней мере уже лет пять. Обшарпанные стены, заколоченные окна, разрушенное крыльце. Но местные мальчишки были очень убедительны, когда она спрашивала дорогу.

Вот и входная дверь приоткрыта. Яра заглядывает внутрь, но не видит ничего, кроме замусоренного пола со следами советской плитки. Дальняя стена тонет во тьме, тьма дышит холодом и запустением. От этого дыхания Яра вздрогивает, но тут же хлопает себя по синтепоновым бокам, чтобы взбодриться.

– Эй! – зовёт она вполголоса.

И заходит внутрь.

Посреди холла рядком стоят несущие колонны, покрытые глубокомысленными надписями. Кое-где бетон выщерблен до металлического каркаса, и высказывания обрываются на самом интересном. Будто незрячая, Яра пробегается по ближайшей колонне пальцами, считывая щербины и бугры распухшей штукатурки. Обойдя её, ныряет во тьму и находит рукой вторую. Света из приоткрытой двери уже недостаточно, и Яра включает фонарик на смартфоне. Хоть какая-то польза в этой глупши.

Яркий белый луч обтекает колонну. Ученические скрижали гласят: «Гошан – ушан», «8 класс рулит!», «Ленка – волосатая коленка» (зачёркнуто красной пастой), «Не взрослей! Это ошибка», «Люблю Анну Сергеевну», «А что, если птицы поют от боли?»

Вдруг – тихий шорох у дальней стены. Яра поднимает голову и видит человеческую фигуру. Приземистая, округлая, без рук и как будто на одной толстой ноге. Фигура слегка покачивается вперёд-назад. И молчит. Покачивается и молчит.

Яра шумно сглатывает.

– Кто здесь?.. – говорит она.

Белый свет фонарика отделяет фигуру от тьмы. Яра видит её целиком, от огромных расшитых бисером и пряжей валенок до цветастого платка поверх вязаной шапки. Маленькое женское лицико расплывается в улыбке, прячет и без того узкие глаза в пергаментных складках кожи, за толстыми линзами очков.

— А я и думаю: кто тут ходит в такой час, кто светит?
Ужо не слепи меня, не слепи, — сухонькая ладошка поднимается к лицу. — Ты чейная будешь? Отколь забрела?

— Так я... Новенькая, — лепечет Яра. — Учительница в школе.

А старушка уже семенит к Яре, шаркая валенками по битому кафелю. Она настолько маленькая, что ниже Яры на целую голову.

— Ба! Ярославна прилетела! Вот и праздничек нам! — Она берёт Яру под локоть. — Только чего ты в старую школу пришла? Аль не сказали тебе? Подшутили? Здание-то — рухлядь! Аварийное, во.

— И правда, подшутили. — Яра улыбается, вспоминая лукавые прищуренные пацанов. — Спровадили училку, герои.

— Ой, ты их слушай больше, этих оболтусов! — Старушка смеётся тихонечко. — Пойдём, милая, доведу тебя. По пути нам.

— А вы-то что здесь делаете? — Яра в последний раз оглядывается на заброшенную школу.

— Так Давыдовна я. Старожилка тута-шняя, кружок веду.

— Кому?

— Да известно кому: школьникам.

— Так всё-таки учатся здесь?

— Вроде молодая ты, а уже глухая. Я-те чего говорю? Аварийное здание, заколочено. Не положено тут детям. Садик, вон, отдали под школу...

Они уже на улице, и старушка машет рукой куда-то в сторону. Сквозь слепящий свет дня Яра пытается разглядеть детский сад.

— ... Всё равно три карапуза на посёлок. Но ты не беспокойся, дочка, у нас Маня завсегда готовая с дитём посидеть. А то и на урок возьми, он никому не помешает!

— Что вы, — смеётся Яра, — нет у меня детей.

— Это пока нет. Но будут же!

— Да я, может, с первым же вертолётом полечу отсюда.

Давыдовна смотрит на Яру из-под платка. Улыбается хитренъко так:

— Ой, кэку! — тянет. — Закуковала Ярославна наша. Полечу, говорит, кукушкою... И детей бросишь тут одних, безмозглых?

— Да нет у меня никаких детей!

— Так уж и нет? Ну, пойдём, Кэку...

Они поднимаются по трём ступенькам крыльца детского сада, который выглядит не намного лучше школы. Идут гулким коридором, сквозь запахи столовских тефтелей и мокрого бетона, мимо стенгазет и расписания уроков, на далёкий шум голосов. Голоса всё ближе, уже можно различить отдельные выкрики.

Давыдовна дёргает на себя дверь слева — и Яра оказывается в небольшой, но светлой комнате. Десять советских школьных парт, десять лавок подле них, один учительский стол, одна новенькая классная доска.

Из дальнего угла комнаты в доску как раз летит мокрая тряпка и, вмазавшись в неё, сползает на пол. Посреди внезапной тишины хорошо слышен её смачный шмяк. Восемь пар глаз недоумённо смотрят на Ярославну.

— Вот они, дети твои, — Давыдовна мягко подталкивает её промеж крыльев и закрывает за ней дверь.

* * *

Ольге Давыдовне Языковой семьдесят восемь лет. В посёлке она старожил. Старше неё только баба Маня, но зато Ольга Давыдовна – уроженка.

– Как родилась в своей избе, так и доживаю в ней век, – говорит, шумно прихлебывая можжевеловый чай. По учительской стелется аромат хвои, смешивается с далёкими столовскими тефтелями.

– Раньше-то цельный предмет был в программе по моей части. Знакомила ребят с народным прошлым: учили язык, много читали, переводили на русский и обратно. И прикладное искусство тоже я вела: берёсту резали, кожу расшивали... Ой! Чего только не было. Выучила, считай, весь посёлок. И это ещё малая часть осталась, а сколько разлетелось по стране!.. Да что теперь вспоминать. Часы урезали, меня сократили. Как бы пенсионер уже давно. Оставили кружок раз в неделю, и то спасибочки. Только разве успеешь что?.. Сказки читаем потихоньку да картинки к ним придумываем – вот и вся народная культура.

На часах – два пополудни. Яра провела русский язык у старших (повторяли пройденное), литературу у среднего звена (начали «Петра и Февронию»), чтение в младшем классе. Во рту у неё всё пересохло от безостановочного говорения, горло саднит. Уроки она, само собой, не подготовила заранее – пришлось импровизировать. А когда Яра импровизирует, остановить её трудно. Так что теперь она – благодарный слушатель, только печеньем хрустит время от времени.

Давыдовна подвигает ей кружку с чаем.

– Ты уж не держи на меня зла, Кэку, что я тебя, как в клетку, к ним бросила. Оформят задним числом, как директриса вернётся с конференции, тут не переживай. Оформят, дом выделят, подъёмные... Но работать, золотая моя, работать надо уже сейчас. Сама, небось, поняла: тут делов непочтый край. Особенно за больших страшно: как они «и-гэ» это машинное сдавать будут?..

С выпускниками действительно беда. За лето всё забыли, осенью непонятно как и с кем занимались, до экзаменов осталось каких-то полгода, а они бланки ЕГЭ в глаза ни разу не видели. Это значит, нужно в срочном порядке делать заказ на пробники, а на первое время распечатать из интернета, если повезёт. А интернет только у Хлопушки, в администрации посёлка. Значит, подвинется. Хорошо, что группа маленькая, с малыми группами удобно работать, ещё и по парам бьются, по командам. Перекрёстные проверки, соревнования, командные игры... Надо увлекать, надо, чтоб им самим интересно было зазубривать правила... Девчонок всего две и обе умненькие – значит, будут капитанами. Как там?.. Шарше-ля-фам, вот то-то и оно...

Будто сквозь вату Яра слышит голос – чужой, надтреснутый, сиплый. Это голос учительницы Ярославны Марковны. Она говорит, еле ворочая припухшим языком:

– Ничего, Ольга Давыдовна. Наташка. Успеем.

– Вот и славно, вот и ладно! – радуется Ольга Давыдовна. – А то уж думала, опять нам дурочку молоденькую прислали. Думала: сбежишь первым же рейсом. А ты настоящая. Учитель. Ты не сбежишь. Не сбежишь ведь, а? Ну что, как горло? Попей чайку: расслабляет связки, мысли в порядок приводит. Давай, пей.

И Яра пьёт.

Связки действительно расслабляются, бежит вниз и разливается по всему телу приятная сладкая теплота. Но вот мысли почему-то идут вразброд, туманятся, меркнут и пропадают вовсе. Яра так устала, что ни о чём уже не думается, и когда Игорь входит без стука в учительскую и, расцеловавшись в обе щёки с Давыдовной, начинает собирать Яру – куртка, шапка, сумка, она двигается, как сомнамбула, мягкая, податливая.

– А мы куда? – спрашивает она, но как-то между прочим, без особого интереса.

– Так время уже – посмотри! И найна² заждалась...

– Как там, кстати, моя Манечка? – это Давыдовна.

– Да тихонько всё, спасибо.

– Вот и славно, раз тихонько.

– Приходите в гости.

– Ой, приду, да и Кэку проведаю, раз уж она с тобой теперь.

– Почему Кэку, татумни³?

Давыдовна улыбается только, мол, сам поймёшь рано-поздно.

– Что ж я стеснять вас буду, – как-то невпопад говорит Яра. Ей тяжело поспеть за странным двуязычным разговором сельчан. – Мне ведь свой дом положен, как учителю... Обещал Хлопуша...

– Что за глупости? – Игорь мягко прерывает её. – Ну, собралась? Пойдём. Кэку... Надо же.

² Найна (удэг.) – бабушка, мать отца.

³ Татумни (удэг.) – учитель

Тяжёлая рука в чёрной рукавице опускается ей на плечо.

* * *

Чтобы добраться из ближайшего крупного города до посёлка, нужно сперва полсуток трястись в автобусе, затем лететь в набитом Ми-8. Место в нём бронируется заранее. Яре бронировал Хлопуша. В кабине, полной народу, всеглядят хмуро, молча терпят воздушную болтанку. А когда вертолёт, наконец, приземляется, вдруг возникает парень в куртке снежно-защитного окраса. Улыбается Яре: «Девушка, руку!»

Он втягивает её: сначала – в заснеженный мир, потом – в посёлок, а теперь и в свой дом. И Яра не сопротивляется.

– Я обязательно стану местным главой, вот увидишь. И разовью посёлок. Сделаю базу отдыха, займусь этнотуризмом. И деньги заработаем, и культуру сохраним. Здорово придумал?

Игорь очень молодой, моложе Яры на три года. И немножко такой восторженно-наивный, прав Хлопуша. Мечты у него сильно утопические. Хорошие, но утопические.

– Правда, я пока не знаю, смогу ли, – Игорь просто-дышно усмехается. – Работы мне нет никакой сейчас, выборы через год только. А от суеты отдохнуть, на рыбалку, на охоту сходить – самое оно. Городским точно понравится – вот тогда заживём!

– А местным?

Игорь молчит.

Они идут по главной из пяти улиц: мимо покинутой всеми школы, мимо сельского клуба и администрации с

единственным фонарём на всю округу, мимо чьих-то хозяйств. Подмораживает. В каждой избе топится печь, и над посёлком зrimо клубится стужа. Печной аромат щедро льётся из труб в морозную синь. Самый уютный из всех запахов, такой редкий для большого города. Яра тянет носом дымную пряность – и вся растекается в блаженстве.

– Сопелку-то спрячь, – мягко советует Игорь, – отмозишишь ещё.

Справа от них вдруг порскает стайка свирепителей, а следом с гиком и криком уже несётся местная ребятня. Словно беспечные лесные зверята, они голосят, визжат, дерутся на бегу, падают в снег с разгона и барахтаются в этом белом сухом море, нечуткие к холоду, избавленные от большого мира. Вот они уже облепили Яру со всех сторон, кружат хороводом, заглядывают в лицо:

- Ярославна Марковна! Ура!
- Мы вас любим!
- Оставайтесь у нас насовсем!
- Давайте мы вас до дому проводим?

С трудом Игорь разгоняет их, за что получает в спину звонкое «тили-тили-тесто!».

– Эффект новенькой, – Игорь как будто смущён. – Ты теперь у них любимая игрушка. Может, ещё передумашь улетать.

Улетать. Что-то внутри Яры вдруг трепещет при этом слове, и она сilitся ухватить это трепетание, но оно зыбко, будто в затяжном сне. Вот, наконец, схвачено, осознано, и Яра готова возразить, уже набрала в грудь воздуху, уже почти произносит вслух...

– Не улетай, Кэку, – говорит он, – твоё место здесь, – и ставит морозную печать молчания на её губы.

Ночью рождается буря.

* * *

– Обычное дело, – говорит Хлопуша. – Ничего не попишешь, надо ждать. Бураны свирепствуют уже неделю. Вертушки отказываются вылетать. Это же очень опасно. Сколько их поразбивалось!..

Яра с сомнением смотрит в окно. На небе – клочковатая хмаря, по утрам бывает густой туман, но и только. Трудно представить, что вертолёты не могут пробиться в эту глухую тишину.

– Мы тут, – говорит Хлопуша, – в полной изоляции, спасибо тайге и горному хребту. Тихое место, помните?

– Как в отеле «Оверлук», – кривит рот Яра.

– Каком отеле?..

– Неважно. Похоже на снежный плен, в котором можно с ума сойти.

– Н-да... – тянет Хлопуша задумчиво. – Сразу видно, много вы книжек читаете.

Спустя месяц стрекочущий Ми-8, наконец, садится на площадку в нескольких километрах от посёлка, в положенный ему вторник.

Яра как раз проверяет тетрадки подле окна с гороховыми занавесками и потихоньку ест ежевичное варенье, почти чёрное от зимнего закатного солнца. Баба Маня сидит тут же, на сундуке. Она тихо напевает что-то причудливое, народное, расшивает Яре унты: «Вот – говорит, – лучшая обувь для тайги, а не эти твои покупные».

Под её руками буйно цветут тонкие завитки, разноцветные лепестки. Узор складывается в птицу, и Яра чуть улыбается, узнав её. Это кэку.

Ольга Давыдовна рассказывала, что кукушка – птичка непростая. Покровительница женщин, предсказательница будущего, для душ отлетевших самый надёжный провожатый. Жаль только, зимой её не слыхать.

– Найна, а летом как здесь? Хорошо?

– Хорошо, милая, хорошо. Луга заливные в цвету. В тайге – папорот, лопухи у него до плеч и широкие – земли не видать. К земле нагнёшься, а под папоротом – грибы, грибы!.. Горные речки звенят, с птицами спорят. Ох и петь будут – заслушаешься! Знаешь, как у нас говорят? Поселись там, где поют: кто поёт, тот худо не думает.

И, словно в подтвержденье этих слов, вновь затягивает грустную свою песню, какую пела, наверное, ещё молодой, расшивая мужнин кисет. Яра слышит и переливы её голоса, и гул жара в печной трубе, и треск поленьев, и клокотание густого супа на плите, и перебранку свирристелей за окном. Чудится даже, что слышит она лето.

А вертолёта совсем не слышит.

В Тихом месте далёкие хлопки лопастей вязнут и пропадают вовсе. То ли глухнут они в тайге да в снегу, то ли ветер так дует здесь, что уносит прочь любую тревогу.

* * *

Февральские ночи на удивление ясные, морозные. Игорь и Яра возвращаются с охоты. На Яре – меховые унты, расшитые кукушками, за плечом – мешок с битым соболем. Игорь расстроен: встретилась на угодьях косуля, а подстрелять нельзя.

– Раньше лицензию на охоту бесплатно давали, как на пропитание, а теперь – налог. Одна косуля стоит восемьсот рублей, а где такие деньги брать? В этом году отец даже на рыбу квоту не получил. Говорят: национальность не подтверждена. Представляешь? В паспорте же не пишут сейчас. Это надо ехать в краевой центр, доказывать... Эх, провести бы сюда этнотуризм!.. Хотя тогда, конечно, всех косуль перестреляют, да и соболя перебьют. Жалко...

А Яра опрокидывает голову назад – и цепнеет.

Всю своей мощью, всей бесконечностью пустого безвоздушного пространства нависает над Ярой Бездна. Ползёт куда-то Бездна, вспыхивает мерцающей шкурой, будто древнее священное животное. Брюхо её вспорото, и течёт из раны белая звёздная кровь, прямо Яре на голову. Звёздный свет каплет в глаза, и от него Яра видит вдруг всё лучше, глубже. Вот уже глаза не выдерживают, плачут космической благодатью. Слёзы натекают в уши, и Яра слышит вдруг, как низко гудит Бездна.

Звёзды отзываются на звук. Так отзываются соринки на глади озера, если камешком пустить по нему круги. С дальних концов Бездны перемигиваются звёзды, приглашают Яру в свой зачарованный разговор. Голова её кружится, ноги едва касаются земли. Притяжение слабеет.

– Страшно... – шепчет она и слепнет от собственных парных дышек, от звёздного света, от хрусткого снега, те звёзды отражающего.

Рука в чёрной кожаной рукавице обхватывает её плечи – и наваждение проходит. Пятки накрепко вбиваются в белую землю. От Игоря идёт горячий, пряный дух живого тела, а Яра до костей вымерзла под брюхом у Бездны.

– Чего ты испугалась, глупенькая? – бормочет Игорь ласково. – Есть у нас сказка про двух братьев-охотников. Ходят братья по небу, бывают соболи души. Возвращают их на землю. Вот мы с тобой пособольничали немного, теперь и они там, на небе, собольничают, гонят зверя обратно. Вон какую дорогу пропоттали, во всё небо!

– С такими сказками наш сын шаманом вырастет, – улыбается Яра кротко. – Это просто Млечный путь.

– В таком случае, – Игорь глядит на неё очень серьёзно, – он унаследует бубен прарабабки. Над нами Буа Гидыни, Дорога небесных людей. Запомни: здесь это Буа Гидыни. А ты – Кэку. А мы – твоя семья.

И Кэку покорно кивает.

– Ты же любишь нас? – спрашивает Игорь.

– Ку-ку, – признаётся Кэку.

* * *

Дни текут лениво, похожие один на другой, как небесные братья-охотники. Даты простоянены в классном журнале и дневниках, но они ничего не значат. Важно только, что по четвергам больше всего уроков, в пятницу – всего один, а в субботу факультатив для старших, и такой порядок вещей неизменен. Время зациклилось на самоё себя, замкнуло обод и неспешно катится сквозь зиму, будто красное солнце по небосклону. Только порой нет-нет, да и подпрыгнет на камешке, тряхнёт будто. Это по вторникам. Но всё тише тряска, всё реже вспоминается большой мир.

Где-то бурлит он, клокочет, переваривает сам себя в круговороте бессмысленного потребления ресурсов и информации. Дети там больше не играют зимой в снегу, не гоняют птиц: вся природа из городов давно повывелась и даже

пахнет в них едуче, мусорно как-то, а ночами ни звёзд не слыхать, ни уж тем более соболей.

Да и Кэку отяжелела, укрепилась. Вся её жизнь, наконец, поросла корешками.

Она пьёт горячий чай, ходит на охоту с Игорем, учит детей, носит своего под сердцем. Слушает сказки тёмными зимними вечерами. Найна вещает напевно:

– Это ещё тогда было, когда, на камень глядя, каменного человека видели; на медведя глядя, думали – тайжного человека видят; на рыбу глядя, думали – водяного человека видят; на дерево глядя, думали – древесного человека видят. Тогда с людьми всякие вещи случались, каких теперь не бывает.

– Ку-ку, – слушает Кэку.

– Жила в дальних краях девушка. Красивая была – вот как ты у нас, такая же красавица. Ненасытная – страсть! Как будто одно только тело без мысли, жаждя без контроля, одна в ней тяга земная, слепая, оморочная. А внутри – пустота. Всё-то наестся не могла. Набьёт себя семенами и хвоей – встанет дремучий лес-тайга, насыплет речных камешков в рот – выпорхнут они белобокими чайками, а то орлами заклекочут, а то кукушками народятся...

– Ку-ку, – отзыается Кэку.

– Запомни, дочка: чем свой сосуд наполнишь, то и вызреет в голове: будешь через то на мир смотреть, и тем будешь отмерять всему свою меру. Вот я, как и ты, пришла со стороны: пустая, чужая. А здесь своею стала. Приняло меня Тихое место, одарило мудростью. Ну, так слушай дальше...

И тянется сказка долго, а за нею – ещё одна, а та переходит в сон, и вот уже снится Кэку, будто летит она в пустоте,

под звёздным брюхом у Бездны, и ведёт за собой целую стаю не то детей, не то соболей. Провожает их на изнанку мироздания, по ту сторону Буа Гидыни. А там уж поджидают небесные братья-охотники, любители этнотуризма, хозяева большого мира. Бьют соболят в запределье, перерабатывают ресурс, чтобы вернуть его обратно в землю, чтобы народились они сызнова в родном Тихом месте. Пригодились на своей земле.

И чуется Кэку, будто сама она жила здесь много раньше, давным-давно, когда степные мунгалы налетали чёрной ордой, когда на птицу глядя, думали – небесного человека видят. И поёт Кэку во сне, и худого не думает, но песня её – от боли невыразимой, подспудной. А где болит, того и не скажет Кэку. Вроде и крылья при ней, и перья целёхоньки, а за Буа Гидыни подняться не может. Налетает ледяной ветер-стражник, опрокидывает вниз – и она падает, падает, падает.

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЗА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»



РЕЦЕНЗИЯ

на рассказ Софьи Романовны Потмальниковой
«Северная литания»

Полуостров Таймыр и его коренное население нганасаны, которые живут здесь 45 тысяч лет и культура которых зародилась раньше культуры древних египтян и греков. А сейчас их осталось всего 700 человек и наступает конец их эпохи – так рассказывает Софья Потмальникова в своем замечательном эссе «Северная литания».

«Литания» – означает «моление». В блестящей метафоричной образности эссе «Северная литание» слышны страдания автора об исчезнувшем литературном языке и исчезающей культуре, безмерная сила личной ответственности и страстное моление о том, чтобы волны вселенского хаоса и катаклизмы истории разбивались о борт лодки жизни маленького древнего народа, которая неустанно движется вперед.

Потмальникова Софья Романовна

СЕВЕРНАЯ ЛИТАНИЯ

Когда-то я осознала, что любой поступок сохраняет память о себе, даже если никто его не видел. Даже если никто не обратил на него внимания. Потому что есть тот факт, что он был. Неоспоримо то, что совершается где бы то ни было, был ли кто там или нет. Без нас, без меня, без вас – это неважно. Знает ли кто о нём или не ведает. Бывал ли кто-то там вообще или не бывал. Всё запоминается, ничего не исчезает без следа. А кто всё же запоминает то, что случается там, где нет человека? И случается ли что-то без нас вовсе?

Волны, несущие льдины, могут сколько угодно стучать ими о скалы, ответа они не получат. Здешняя трава не привыкла к босым ногам. Только раз или два её касались стопы, обутые в валенки, да и то еле-еле, – тщедушный попался человек, хотя таких на севере мало. Что можно сделать с таким огромным пространством? Эта свобода давит на меня откуда-то с косого верха. Наискосок прессует мои мысли от затылка ко рту, и они слепляются, образуя пласт. Этот пласт я медленно вынимаю из пыльной коробки с далёкой верхней полки кладовки моей памяти, чтобы рассказать вам о том, что случилось со мной на севере. Я могу долго сидеть здесь, свесив ноги перпендикулярно дну Карского моря, и смотреть, как миллионы тонн свободной воды резвятся на просторе у берега невероятной ширины, где никто никогда не построит ни отелей, ни клубов, ни портов. Я могу приходить сюда каждый раз, откидываясь и закрывая глаза, лёжа на плоской подушке моей жёсткой кровати. Ты, наскоро раз-

росшееся коротким летом разнотравье, помнишь ли ты меня? Меня, ту, которая касалась тебя вытянутыми в вопрошающем жесте пальцами? Я расскажу.

Я так и не смогла понять, как прибыла туда. Просто в какой-то нелёгкий миг я оказалась там. Я действительно оказалась там. Дайте вспомнить. Полуостров Таймыр, холодная вода и долгий полярный день. Остров тоже называют Таймыром, но там никто не живёт. А на полуострове есть несколько сёл. Как получилось так, что я оказалась одна, я не помню. Но когда я очнулась, никого рядом не было. Я открыла глаза, и смогла разглядеть лишь крохотное голубое пятнышко высоко надо мной. Я поняла, что нахожусь не в помещении. Я лежала на снегу, но совсем не чувствовала холода. Я, пошатываясь, встала, поправила безразмерную шубу, свисающую с плеч, и взглянула вниз. Возле моих ног ледяная скала резко обрывалась и уходила своим основанием на десятки метров вниз к чёрной воде! Мои глаза привыкли к темноте, я испугалась. Не знаю, что за дивная сила подняла меня так высоко, но я была отрезана от кого бы то ни было, потому что стояла на пике айсберга! Небольшое пространство – плато, на котором я находилась, медленно опускалось. Мы тонули. Мы: я и лёд. И мне оставалось только сесть, прислонившись спиной к ледяной стене, и держаться за холодный скат, тающий от моих ещё тёплых рук. Страх закипал внутри меня, словно суп, он медленно начинал бурлить, выпуская пар из щёлочки под крышкой. Моя голова тряслась, челюсти стучали, но какая-то неясная сила помогала мне сидеть прямо, не ворочаясь. Я с ужасом ждала погружения в невероятно холодную воду. Последним, что я должна была почувствовать, должен был быть обжигающий взрыв холода, который навсегда остынет меня. Но чёрная вода,

плескавшаяся внизу, дала мне понять, что мы движемся. Растворённая в искрящейся воде мать – луна сияла так отчуждённо и так радостно, что мне стало стыдно бояться смерти. Я аккуратно встала и сделала шаг с айсберга вниз на подплывающую сбоку льдину. Я неуклюже приземлилась на неё и осталась там ещё на несколько минут, пока не пришлось менять её снова. Так я добралась до острова Таймыр. Да, я оказалась именно на острове, не на материке.

Сухая трава, припорошенная снегом, открылась мне. Открылись мне чёрные скалы и кроваво красные впадины.

И из холодного ледяного дома, из пещеры мёртвых вышла ко мне навстречу Сырада-Нямы – мать подземного льда. Она была сухой старухой, почерневшей от злости с длинными белоснежными волосами. Её дыхание было одновременно и свежим, холодным, и смрадным, гниющим. Она была низкой и сгорбленной, как гном, и шла, опираясь на длинный олений рог. Её маленькие узкие глаза блестели, словно чёрная вода за моей спиной. И бегали они, не видя ничего, лишь только по привычке. Она двигалась ко мне медленно и неумолимо, словно текущее беспрестанно время, размеренно и страшно, как надвигающийся поезд на переезде. И перед пугающей тайной, которую тысячелетия хранила в своём маленьком сморщенном сердце Сырада– Нямы, я упала на колени и протянула обе руки к ней, чтобы она знала, что я готова отдать то, что она хочет забрать.

И она шла ко мне так долго, и я видела, что она движется ко мне, становясь такой же реальной, как и далёкие города, оставшиеся на материке, догорающие светом миллионов равнодушных ламп.

И когда она положила одеревеневшую руку мне на голову, я поняла, что она намного более настоящая, чем всё, что я видела когда-либо. Она, сестра Моу-Нямы – матери нганасанов, создавшей весь мир из песчинки. Она, видевшая как мир горел, замерзал, закипал и сминался в руках сестры. Как умирали миллионы миллионов. Как становились, укреплялись и разрушались царства.

– Сырада-Нямы, – закричала я, – забери всё, что есть у меня.

И она забрала мои глаза. То, что никогда моим не было, потому что обращено было ко всему, что есть не я, ко всему кроме меня. Она забрала мои воспоминания, мои мечты, мои сны. Она увидела их вместо меня. Она забрала всё, на что я смотрела когда-либо. Она вставила их в свои глазницы заместо старых и слепых, которые она положила мне в карман. И она сжала мои виски и пропустила через мою голову нить забвения, и я забыла всё, что видела, всё, что представляла себе. И я излечилась. Я оправилась от потери.

– Никогда не забывай, что я в долг перед тобой... – проскрипел её голос возле моего уха.

И я услышала, как её глухие шаги заскрипели на снегу и затихли. Вода мерно текла мимо за моей спиной, и я помнила, что называла её чёрной, но что такое «чёрный», я больше представить себе не могла.

Я перестала ощущать ночь. Она больше не ограничивала меня. И мои мысли поднялись над плоскостью зрения, над пределами видимости.

Я протянула руки вперёд, всё ещё стоя на коленях, и почувствовала тепло разлившееся по снегу. Это были следы тёплых ног Сырада-Нямы. Она реальна и жива. Жива так же

как и я. И нет ничего инфернального в том, что великие боги, создатели мира, покровители народов, ступают по земле, ходят среди нас, говорят с нами. Я привыкну к этому.

Я поползла по снегу, ощупывая его вытянутой рукой. И где-то вдалеке, идущая через века Сырада-Нямы шла, оставляя следы специально для меня.

Мне кажется, я всегда знала, что мир – это нечто намного большее, чем просто среда. Глубже, чем метро. Выше, чем высотный дом. Шире, чем десятиполосное шоссе. И конечно же, сложнее чем цепи наших доводов и выводов. То, что мы, окунутые в города простаки, мыслим себе – это что? В чём наш предел? Собрать десять квитков. Сдать анализы в поликлинике. И слушать нескончаемый поток чужих разногласий в ожидании автобуса. О нет. Мы не правы. Сиюминутное кружит нас в серой карусели дел, встреч, оправданий. Но только там, где кончается обыденность, можно найти не смысл, нет, ответ! Задай вопрос. И сотворившие мир дадут тебе то, о чём просишь.

Так странно. Только забыв, зачем нужны глаза, я научилась понимать.

Лыгъоравэльят – настоящие люди. Так чукчи называют себя. Мне нравится это слово. Хотя его не легко прочитать и запомнить. Я повторяю его, обсасываю как леденец в рту. Только оно не сладкое, а скорее солёное. Больше всего чукчей живёт на Чукотке и на Камчатке. А здесь, на Таймыре, живут Нганасаны. Они аборигены. То есть они живут здесь так давно, что это кажется невозможным. Их культура намного старше культуры древних греков и египтян. Они живут на Таймыре уже сорок пять тысяч лет. Суровая земля, что держит их, всё помнит. А нам не верится. Мои предки –

это люди самых разных народов – татары, мордва, русские. Мы разобщены и не имеем связи с землёй. Переезжаем с места на место. Как бы я хотела во что-то несомненно верить. Если бы я могла. Теперь наступает конец эпохи. Закат жизни нганасан. Их осталось всего семьсот человек. Они забывают свой язык. Они утрачивают свою культуру. Многие из них уже не умеют охотиться и рыбачить. Старшее поколение всё ещё занимается промыслами, но молодёжь уже не видит в этом смысла. Они смотрят телевизор и мечтают уехать в города. Но нганасаны не привыкли жить в городах и не могут привыкнуть. И они уезжают и теряются там. Попадают в круговорот событий, который в итоге выбрасывает их на за дворки. И вернутся, и остаться они не могут, и погибают.

Когда-то у них были богатые традиции, была своя мораль, своя духовность. Но сейчас жизнь в их посёлках напоминает ужасный сон о гниющем мусоре и вечном пьянстве. Наш приход разрушил их веру. Мы дали им телевидение, и через него они увидели другую жизнь и подумали, что она лучше их нынешней. Мы дали им алкоголь, который обещал им развлечения, но отнял их здравый ум. Мы дали им работу на заводах, и наши машины заменили им общение с духами. Мы забирали их сырьё, и приносили им деньги, и они стали рабами денег, как и мы. Мы всё разрушили. Чернуха – это то, что творится теперь в их крае. Мы никого не спасли. Мы хотели сделать всё лучшим образом, мы думали помочь им, дать им культуру, но именно культуру мы и забрали. И кто ответит за это? Даже после смерти нас больше не ждут наши боги, в которых верили наши предки. Нас ждёт пустота, она идёт, она уже здесь. И только отдав себя на заклание, дав раздробить свои кости, принеся себя в жертву вечной памяти, можно надеяться на прощение и возвращение назад.

Я ползла по необитаемому острову через тундру вперёд по следам Сырада-Нямы. И каждый раз, касаясь заиндевевшими руками ямок, оставленных её ногами в снегу, я чувствовала, как искупаю свою вину.

Как я могла прожить столько лет и не видеть этого преступления? Те кто, говорят, что древние боги ни стоят возложенных на них надежд, потому что не могут защитить себя от забвения, заблуждаются. Боги – наши родители. Но разве могут родители действовать против нашей воли, когда мы вырастаем? Нет. Но они могут верить в нас и ждать, что мы вернёмся к ним. Я не принадлежу к племени нганасанов, я пришла с запада. И эта трагедия никогда не коснулась бы меня, если бы я не проявила сочувствие к ней. Я готова быть распятой.

Холодный лёд окружил меня, снег вылетал из рваных дыр в воздухе и атаковал меня внезапными порывами. Мои волосы вмёрзли в мою кровоточащую голову, и серебряный звон метели то и дело прерывался мертвенною тишиной.

Нам нельзя было этого делать, мы не должны были.

Мои колени были оббиты ледяными кочками, покрыты гематомами и шишками, и всё моё тело поминутно сотрясалось в судорогах боли и холода. И я пыталась представить себя дома, мне чудился тёплый домашний запах, ночь попеременно приоткрывала дверь в мою далёкую квартиру, а потом резко захлопывала её, но и в этом мне виделся некий надлом. Неправда. Ни у кого из нас уже давно нет дома. Поэтому что мы странники. Не кочевники, нет, странники. Мы утратили общность, забыли о родстве. Покинули свои семьи. Мы блудим и прелюбодействуем, подчиняемся своим слабостям, забывая о вере. Не надеемся, не любим. Живём как

заведённые кем-то болванчики. Пустоголовые чучела. Разве хорошо ни во что не верить? Нам нужно всё доказать, каждый довод попробовать наощупь. Но зачем жить в мире, где и так всё ясно и ничего не вызывает интерес и восхищение? Всё объяснено. Но разве люди счастливы?

«Убей меня! – закричала я в пароксизме чувств холода и вины, – убей меня! Я заслужила!»

И великая мать земли Муо-Нямы разверзла свои тяжёлые каменные уста и ответила мне.

– Ия, ты всё поймёшь и всё выдержишь...

И я почувствовала, как затрясся лёд подо мной, как трещины пошли по нему паутиной.

«Я отправляюсь в подземное царство Бодырбомоу», – решила я.

Но то был дар. И я провалилась на полметра вниз, в убежище. В мою землянку. Стены её были холодны, но я закуталась в свою линялую шубу. Я свернулась калачиком и заснула. Во сне я слышала и чувствовала, как творился мир.

Моу-Нямы взяла мою руку и вложила в неё кусочек мёрзлой земли. Это была наша будущая планета. Я мяла её в руках, я чувствовала, как она согревается и оживает. Я открыла рот и пополоскала её в нём, так появились моря и реки. Я вытащила из кармана несколько сухих листьев, такие кладёт мне в карман моя сестра, играя, и покрошила их на землю. Она стала плодородной. Из маленьких кусочков моей кожи я создала животных и людей и явила жизнь.

Я забыла, как выглядят цвета, я не помню лица моей матери. Но что-то необъяснимое подсказывает мне, что важно на самом деле. Я ощущаю всю ту любовь, что прошла

сквозь меня ещё до моего рождения и что проходила через меня каждый день.

Мы потеряны не до конца.

Я проснулась по-прежнему незрячей. Но я не видела темноты. Как я уже сказала, я перестала видеть и перестала помнить, что видела. Категория видимости перестала для меня существовать.

Сейчас, когда моя воля к жизни жестоко проверяется на прочность, я вспоминаю свои ощущения, свои мысли, свои обещания, и чувствую, что всё, что я пережила, случилось не зря.

Узнав мою историю, люди спрашивают, что было сложнее: ослепнуть на необитаемом острове или быть в заключении. А я могу сказать только, что оба этих опыта были очень важны для меня.

Посреди острова я услышала течение реки. Я подползла к ней и нашупала большие круглые валуны и холодную воду. Снег больше не шёл. Земля немного оттаяла. Я трогала камни руками, пытаясь угадать, преградила ли эта река мой путь, или её можно обогнуть. Там меня окликнул паромщик.

— Добрый вечер, — сказал он мне.

Я вздрогнула, медленно встала и выпрямилась.

— Уже вечер. Как неожиданно, — ответила я

— Да, в тёмном мире жить непросто, — сочувственно протянул он.

— Мой мир не тёмный, — отрезала я, — вы мало знаете о слепоте.

— Я имел в виду себя, сударыня.

— И почему же ваш мир тёмный?

— Из-за моего рода деятельности.

– А чем вы занимаетесь? – поинтересовалась я.
– Стерегу лодку моей матери.
– Благое дело.
– На ней мы увозим мёртвых в царство подземного Абда.

– О, да вы сын Сырада-Нямы! – оживилась я.
– Сырада-Нянту, – представился он.
Я вытянула руку вперёд, и Сырада-Нянту учтиво прикоснулся к ней ледяной ладонью.

– Сможете ли вы мне помочь? – спросила я его, – мне нужно пересечь эту реку.

– Конечно, если вы уже умерли.
– Не умерла, – протянула я с сожалением, – но мне нужно пересечь реку! Перевезёте меня?
– Если появится кто-нибудь мёртвый, перевезу за компанию. Но за это вы мне расскажите интересную историю.

Мы сели на скамейку у реки и стали ждать.
– А для чего реку хотите пересечь?
– Я здесь для того, чтобы искупить вину своего народа. Мне нужно пересечь остров и по льду дойти до полуострова.
– А что за вина?
– Мы пришли на вашу землю и стёрли вашу культуру.
– Стёрли – не стёрли, а работёнки каждый день хватает.
– То есть вы по-прежнему переправляете людей в царство подземного льда?!

– Ежедневно.
– Это значит, что даже современные горожане попадают в царство Сырада-Нямы?

– Более того, они остаются там навечно.

– А как же рай и ад? То, во что верят христиане?

– Рай, ад – это слишком наивно и однозначно. Вы, люди с запада, привыкли всё упрощать. Один бог, один рай, один ад. Всё не так легко.

– Так много религий, конфессий, верований в мире! Почему каждый считает, что правильно верит именно он?

– Вот-вот!

– И по какому же принципу человек попадает в Аида, а не в Валгаллу?

– О, этих царств мёртвых так много, сейчас и не разберёшься! Когда-то мы с другими божествами пытались договориться, всё классифицировать, законы составить. Но это всё очень муторно. А мы существа ленивые. Мы ведь мир создали, каждый да что-то вложил. Теперь ваш черёд действовать.

– А куда, например, попаду я?

– Это зависит от суммы ваших грехов, плюс средний показатель добрых дел, совершённых за каждый год жизни. У нас есть шкала. Если вычесть из нуля число грехов, а потом прибавить число благих поступков, и получится цифра выше нуля, вы автоматически попадаете в лучший мир и не страдаете. Дальше всё уже зависит от точной цифры, которую получите. От минус одиннадцати до минус семи – царство вечного тумана. От плюс сорока и выше – охотничьи угодья Гитчи Маниту. И так прописан каждый числовой интервал.

– Сложно.

– А то! Я сам очень долго не мог разобраться.

– А чем же люди занимаются после смерти?

– О, вариантов много. Но большинству достаётся подробный анализ их жизни. Они смотрят его, как по телевизору. Очень похоже на документальное кино. Сматрят очень долго, потому что интересно это. Там абсолютно любую тайну можно узнать.

– В чём же выражается наказание за грехи.

– В бесконечном воспроизведении этих самых грехов перед глазами. Люди постепенно понимают их, раскаиваются. Их быстро прощают.

– Получается, что нет ни сковородок, ни вил, ни других пыток?

– Ну конечно нет!

Мы помолчали с минуту.

– Вот, идёт! – прервал тишину Сырада-Нянту.

Подуло холодом, и раздались тяжёлые однотонные шаги по снегу. Сырада-Нянту встал и помог мне войти в лодку. За мной зашёл кто-то, тяжёлый и крупный.

Сырада-Нянту отвязали канат и оттолкнулся ногой от берега. Мы поплыли по течению реки вниз.

– Знаете, – начала я свою историю, – когда мне рассказывают о человеке, исчезнувшем в наше время, мне представляется долгий перелёт на кукурузнике куда-то в страну третьего мира с жарким климатом, где пропавший будет до конца своих дней работать на плантации, а по вечерам, лёжа в гамаке, смотреть на звёзды и огромную луну и думать о том, как же повезло ему вырваться из той серой карусели. Я знаю историю про одну женщину эскимоску, которую звали Имагми. Она всю жизнь мечтала сбежать. С детства считала, что жить в России трудно и плохо. Все её родственники любили жаловаться на жизнь, но никуда не уезжали. Так росли

и умирали поколения. И вот Имагми решила с этим покончить. Она доехала до мыса Дежнёва, а там должна была сесть на корабль. Она плыла по проливу, прямо как мы сейчас. Но корабль попал в бурю. Его воронкой втягивало на дно, и Имагми уже думала прощаться с жизнью, когда вперёдсмотрящий разглядел через пелену дождя свет маяка. Они подплыли к земле, и высадились. Земля была холодной и неприветливой, и в голову Имагми закрались сомнения. Она поняла, что буря принесла их обратно. Тогда она закричала так громко, что все ветры стихли, она прокляла свою Родину. Она воздела руки к небу и попросила, чтобы её страдания здесь прекратились. Но небо не услышало её мольбу. Никто ей не ответил. Она осталась сидеть на берегу в одиночестве, она долго смотрела, как катятся и разбиваются волны. И в итоге решила жить так, как жизнь укажет. Не стараться, не выбиваться из сил, принимать то, что день на стол поставит, забыть о морали и нравственности, жить по инерции, как заведённая кукла

– А что с ней сейчас? – спросила меня звучным низким голосом женщина с другого конца лодки.

– По-моему, сейчас она стала губернатором небольшого края.

– А, ну так всегда бывает, – усмехнулся Сырада-Нянту, – только забудешь о морали, как сразу предлагают стать управленцем.

– Эх, ничего вы не знаете... – печально протянула женщина.

– Так объясните, – подхватила я.

– Я родилась у Ловозера в народе Саамов. Нас как только не называли: Лопари, Лапландцы, Саами, Самеры,

Лопь... Вы вот говорите, что вину пришли искупать, но вы не видите многоного. Я с детства привыкла слушать сказания о нашем народе. И, конечно, я не могла не заметить, что жизнь намного более обыкновенная, чем нам рассказывают. Духи оленей, которые бродили по нашим полям и изредка коло-кольчиками звенели, мне казались просто выдумкой. Я была слишком практичной. С детства любила числа. Я не умела читать буквы, но умела их считать. Когда подросла, в школе отличалась по математике. Мои одноклассники играли во дворе в духов тундры Гофиттераков, а я думала, чего же им не уймётся? Надо жить проще. Можно сколько угодно оплачивать нашу культуру. Это закон жизни. Всё уходит постепенно и не возвращается. Так заведено. Живёт то, что востребовано. Нужны были кому-то эти сказки, они были, перестали люди в них верить – они ушли. Это можно назвать энтропией. Вселенная стремится к хаосу. Всё смешивается и уничтожается...

Я лежала в лодке, запрокинув голову, и слушала плеск воды, движения вёсел и монотонный звучный голос Улиты. Эти звуки переплетались в моей голове, словно корни деревьев. И я уже переставала вдумываться в то, что она говорила. Ведь она говорила о том, чего я не хотела признавать. Я никогда не поддамся этой энтропии. В ней нет замысла и божественного закона. Видимо, что-то в мире вышло из-под контроля. Кто-то должен за это ответить. Люди творят бесчинства. И пусть к ответу призовут меня, я готова. И каждый человек, на чьих плечах лежит пусть чужая, но ответственность за страдания, должен склонить голову под высоко занесённый меч.

Вы знали, что у нганасан был свой литературный язык? Это удивительно. Учёные говорят, что именно из-за существования литературного языка вымирает теперь их культура. Всё дело в том, что этот высокий язык сказаний нганасаны не хотели передавать тем, кто относился к нему несеръёзно. Тем, кто не будет говорить на нём правильно, кому он на самом деле не нужен. И они предпочли оставить его забытым, чем дать его исковеркать.

В этом есть великая, тяжкая, печальная жертва. Но кто её оценит? Напрасно теперь искать богов на небе. Они разбрелись по земле, и им тоже тяжко. Наш мир наполняется новыми веяниями, новыми ценностями. И что мне делать? Биться грудью о баррикады?! Нет, это революция вершится не на площадях. Она происходит в наших головах. Наше сознание обновляется.

И каждая из этих волн приходит, бъётся, распадается и уходит назад, а лодка движется вперёд.

Высадив меня на другом берегу, Сырада-Нянту отломил от дерева длинную ветку, и срезав сучки, отдал мне. Теперь я могла не ползти. Мы попрощались, и он повёз Улиту дальше, вниз по течению в царство подземного льда.

Аккуратно ощупывая землю палкой и неуверенно ступая, я продолжала упрямо идти к Таймырскому заливу. Во круг себя я слышала шелест жизни, пение птиц, шёпот листвьев. Это означало, что наступило утро. Видимо, всю ночь я провела в лодке. Хотя теперь мне уже было неважно, день то или ночь. Я взвалила себя на плечи эту карту – слепоту, взвалила с радостью и готовностью, потому что к этому искуплению я стремилась всю жизнь. Я вспоминаю и повторяю про себя:

«Ороки, Ульчи, Орохи, Саамы, Энцы, Нганасаны, Теленгиты, Сойоты, Тубалары, Тофалары, Чувинцы...»

И это только народы севера. Как же мне хочется разрезать серпом свою грудь и дать моей крови заполнить до краёв их чаши. Если бы я могла хоть как-то унять эту боль, хоть на минуту, на миг!.. Но местью счастливы они не будут. Что я могу им дать? Неужели таков закон жизни, закономерность истории? Одни народы уничтожают другие. Но к чему привела эта хвалёная глобализация? Мы по-прежнему не счастливы, только теперь уже без веры и надежд. Посмотрите, что пришло на место деревянному зодчеству! Бетонные коробки! И я могу говорить об этом очень долго. Но я не буду. Страдания – наш собственный выбор. По крайней мере, я свои выбрала осознанно. Кто-то должен быть принесённым в жертву, я выдвигаю свою кандидатуру.

Через несколько часов ходьбы, когда я достигла горы Ича, пошёл крупный град. Небо заволновалось, подул сильный ветер. И небольшой колючий кустарник забился в волнении, предрекая появление Дяйку.

Он был богом – сиротой. Ни матери, ни отца. Откуда же он появился? Он был порождён чем-то тогда, когда само появление чего-либо было в новинку. Тогда никто не удивлялся ничему, потому что само удивление было новшеством. И, конечно, тогда никто не сомневался в существовании Дяйку, потому что само сомнение появилось намного позже. Дяйку не всегда был плутом. Филологи иногда называют его трикстером, но это не до конца правда. Дяйку, разумеется, и мошенник, и обманщик, и шутник, но также он и благодетель. Вначале всего сущего Дяйку тоже был ребёнком. Он охотился на мышей, плавал по реке в лодке из ивового

листка и грёб травинкой, и не знал, что можно, а что нельзя употреблять в пищу. Но мир стремительно менялся и расширялся, рос и Дяйку. Он был свидетелем того, как Мую-Нямы создавала людей. Основой ритуала создания человека нганасаны считают дарение глаз. Их может дать только Мую-Нямы. Она создаёт глаза для каждого во время его зачатия. Когда сыновья Мую-Нямы дымады взбунтовались, Дяйку помог победить их и даже превратил их в полезные в быту предметы. Дяйку научил людей рыбачить и охотиться. Чтобы отвоевать оленей пастбища у духов смерти, Дяйку даже спускался в царство подземного льда и говорил с Сырада-Нямы. И он шёл вниз с горы в ту минуту, я слышала его шаги. Неужели он будет говорить со мной?

— Вот она идёт, наша мученица! — захохотал он.

Мы несмело обнялись и встали в молчании.

— Оленьей крови выпьем, хочешь? Пойдём в ма!

Он взял меня за руку и отвёл в свой чум, который нганасаны называют «Ма». Там было очень тепло и пахло мехом и потом. Я села у печки и наконец-то размяла заиндевевшие пальцы. Сняла свою старую шубу и приготовилась слушать.

— Ты наверняка знаешь про Ненцев, Энцев, Селькупов... Все эти названия народов, этнонимы — так? Большинство из них — это слово «человек» на языке того народа, который называют. Мы, божества нганасанов, также причисляем себя к нганасанам. И мы называем себя «Няя» — на русский можно перевести как «товарищи». Я часто бываю в Усть-Аваме, ты там тоже была. Без слёз на посёлок и не взглянешь. Страшный упадок. И ведь какая странность, это время ведь называют новейшим, называют передовым, но в

таком ужасном состоянии нганасанов я не видел никогда. Большинство из них уже не соблюдают ритуалы, а кто соблюдает – в них не вдумываются. И я не вину Христа. Согласен не виню. Мне он нравится. И людей тоже не виню. А кого вообще можно винить? Духов времени? Так ведь они тоже по определённым законам живут.

Он замолчал.

– Даёшьку, ты встречал Христа? – спросила я.

– Встречал, а как же? Я помню, давно это было, пару тысяч лет назад, когда он родился. В тот вечер мы по традиции собирались вместе и молились Дейба-Нгуо и Мой-Нямы, чтобы они укрепили здоровье оленей и дали им обильное потомство. Зимой наши олени истощались, их мясо становилось безвкусным, а кости ломкими. Некоторые олени, отчаявшись, сбрасывали рога. Мы танцевали и пели наши песни. А когда наступила полночь, снег внезапно прекратился, и ночь прояснилась. И стала чётко видна каждая звезда на небе. Но одна звезда сияла ярче других. Это была новая звезда, раньше мы её не видели. И уже через несколько часов я почувствовал усталость, как будто время, отмеренное мне, кончалось. И всё же ещё девятнадцать веков с тех пор мы жили в труде и знавали печали, но это была привычная жизнь, и никто не сомневался в том, что жить нужно именно так. А Христа я видел тогда, как раз в то переходное время, когда пришёл твой народ. Я спрашивал его, понимает ли он, что принес не только спасение. Знает ли он, что его учение не всегда трактуют верно и используют как оправдание кровавым расприям.

– И что он ответил?

– Он... он просто обнял меня, и я перестал злиться. Муки и сомнения не прекратились, но злость ушла. Думаю, когда-нибудь и ты увидишь его и поймёшь это смирение. Мне было трудно его принять. Мы, северные божества, не привыкли опускать руки и примиряться с обстоятельствами. Мы хитрим, увиливаем и справляемся. А Христос, Христос учит нас быть смиренными, быть кроткими, и не то что бы это противоречило моему учению. Нет. Просто, по-моему, Христос слишком всё упрощает. Вера только в одного бога, как мне кажется, ограничивает человека. Да и для бога это трудновато. Он, получается, отвечает сразу за всё. И за брак, и за охоту, и за рыбалку, и за здоровье людей и оленей. Мне было бы трудно так. У меня вот были обязанности учить нганасан охотиться и рыбачить, я это сделал. Теперь вот покровительствую путешественникам. А так вот сразу на все вопросы ответы знать, сразу всем людям помогать, молитвы их слушать – это для меня слишком сложно. Не знаю, как Яхве справляется. Тем более я до сих пор не разобрался, трое их, или он один. Я знаю, есть Бог – отец, Бог – сын и Святой Дух. Но я слышал, некоторые ваши шаманы говорят, что он един. Триедин, точнее. Этого я понять не в силах. У нас с нганасанами много духов, много божеств. У каждого своё дело. И даже сейчас, когда в нас мало кто верит, дел всё равно невпроворот.

– Дяйку, а чем ты сейчас обычно занимаешься?

– Утром обычно спускаюсь в царство подземного льда и говорю там с теми, кто хочет переродиться. Даю советы, наставляю их.

– Только нганасанов?

м Нет, нет. Многие хотят прожить ещё одну-две жизни. Это нормально. Я сначала тоже удивлялся. Жизнь сложная. Трудно в ней бывает. А желающих очень много, целые очереди. Значит, есть в жизни что-то такое прекрасное, что нравится всем народам со всей земли.

– А они могут выбрать, где родиться?

– Нет. Так нельзя. Мы не вправе выбирать. Можем только направить. Жизнь везде разная, и если бы даже можно было выбирать, определиться было бы очень трудно.

– А свои прошлые жизни вспомнить возможно?

– После смерти – да. А при жизни – нет. Но иногда, не могу объяснить это, но люди, живущие не первую жизнь, иногда находят в себе неясно откуда взявшимся таланты и склонности, пришедшие из прошлой жизни. А зачастую в самых обычных рутинных делах вдруг резко останавливаются и чувствуют, будто дуновение сверхъестественного ветра. Это и есть косвенные воспоминания о прошлой жизни.

– А что ещё ты делаешь?

– Зимой с облаков снег стряхиваю, весной – семена разбрасываю, летом – помогаю солнцу получше на небе устроиться, а осенью – листья крашу. Без дела не сижу. А ты как? Чем сейчас занимаешься?

– Сейчас – только вину искупаю. А так, в институте учусь.

– Ты дело это брось. Виной страдать. Вот учится – это ты верно делаешь. На кого учишься?

– На этнографа.

– Хорошо. Значит, хочешь нашу культуру спасать?

– Хотела раньше, в детстве только об этом и мечтала. Всё делала, только бы в институт народов севера поступить.

А потом, когда стала в курсе ваших дел, поняла, что-то всё уже упущено. Что нам осталось только каяться и надеяться, что время когда-нибудь вспять пойдёт.

Грусть опять навалилась на меня, слёзы подступили. Дяйку положил руку мне на плечо.

– Незачем тебе так себя съедать виной. Лучше просто живи. Я сейчас тебе сыграю что-нибудь.

Дяйку достал свой шаманский бубен и, ударяя в него, начал петь на языке нганасан. Я легла на невыделанные шкуры, запрокинув голову, и стала слушать. И чем дольше я слушала, тем больше искривлялись во мне, мучаясь, кости. Тем шире раскрывалась в груди моей дыра печали и тем быстрее и неумолимее летели в неё звуками прошедшие века.

Вскоре я заснула, и во сне я слышала и чувствовала историю о том, как устроен мир. Все мы живём в длинном – длинном хитросплетении волос Мую-Нямы, то есть на её голове. Когда-то Мую-Нямы – Мать Земля находилась далеко от Коу-Нямы – Матери Солнца. Тогда на земле было очень холодно, намного холоднее, чем сейчас. И Дямады – духи, которых впоследствии победил Дяйку, отправили к Мую-Нямы птиц, чтобы те рассказали ей, как им холодно. И Мую-Нямы приблизилась к Матери Солнцу Коу-Нямы, и Дямадам стало теплее на земле.

Я слышала, как тяжело ступали по снегу ноги замёрзших Дямадов. И я чувствовала как от слабости, голода и отчаяния они падали на колени и просили северных птиц в вышине помочь им. А теперь Дямады есть повсюду. Да, они вокруг нас, но мы привыкли их не замечать. Большие Дямады стали оленями и медведями, средние – волками и лисами, а маленькие – такими зверьками, как песец или суслик.

На самом деле, матерей вокруг очень много. Помимо Мую-Нямы и Сырада-Нямы – матери земли и матери подземного царства, есть ещё Быды-Нямы – мать воды. У матерей есть любовники – Дейба-Нгую – главный бог и Сырада-Нгую – муж Сырада-Нямы – матери подземного льда, он же отец Сырада-Нянту. Сырада-Нгую хозяин подземного царства, но и большой прелюбодей, потому что иногда наведывается в гости Матери Земли и Матери Солнцу. Когда он у них гостит, наступает холодная зима, ведь Сырада-Нгую пришёл из-под земли. Он охлаждает Землю и Солнце своим ледяным дыханием.

А когда весной отывает Сырада-Нгую в Царство подземного льда, на его место приходит весёлый красавец Дейба-Нгую. Он согревает Землю и Солнце в своих объятиях.

Утром я почувствовала весну где-то совсем близко. Я знала, скоро должна была кончиться полярная ночь. И наступит полярный день, которого я не увижу. На самом деле я никогда не боялась ослепнуть, потому что чувствовала, что судьба поведёт меня за руку такой дорогой, которой до меня ещё никто не ходил. Я всегда знала, что во мне есть внутренняя тягость – и тяжесть, и влеченье к тому, чего многие боятся. К прошлому. Не к громким битвам, не к царям народным, а к затаившейся где-то на периферии тайной жизни нашего народа, которую трудно постичь. Люди теперь всё реже оглядываются назад. Они откращиваются от своей истории. Но одной современностью сыт не будешь. И они ищут новую надежду в будущем. Но кто знает, что тогда будет. Я вот наоборот боюсь именно будущего. Прошлое настолько широко и безмерно, что в нём можно плавать словно в океане, лишь только изредка выныривая в настоя-

щее, глотнуть воздуха. Весь наш мир находится в переходном состоянии. Он мучается, сбрасывая старую кожу. А я хочу поднять её и завернуться в неё. Я хочу побыть в этой шкуре. Я всегда с радостью и готовностью погружалась в мифы и легенды разных народов. Вокруг царит обыденность, и мне так трудно выносить её. Наверное, это одна из причин того, почему сейчас я слепая. И хотя сейчас вокруг меня чудеса, я слепая по инерции, потому что, думаю, я могла бы вновь и вновь слепнуть от мистического света богов, которые так просто говорят со мной.

Я лежала, прижавшись щекой к колючей шерсти шкуры, и мне снился сон о далёких странах, которые звали меня к себе. И так нестерпимо сладок был туманный горизонт над южными морями, которые я чувствовала во сне. Рука Дяйку нашла покой в моей руке, мы спали сном маленьких детей, и как будто, ещё будучи в начале жизни, мы видели во снах то многочисленное, что нам ещё предстояло. Бессмертная память обо всём том, что было и что будет и той секунды настоящего, что у нас есть, разбивается волнами на бесчисленное множество капель, разлетается по ветру лепестками цветов, нисходит снегом на крыши наших домов, лелеется в руках любящих матерей, но не уходит. Она здесь.

Я не знала, сколько тогда было времени. Я не знала и того, шло ли оно линейно. Но ветер весны подул мне в лицо ароматом талой воды и мокрой земли и криком ласточек. Я медленно выпрямилась и упёрлась головой в натянутые косо шкуры. Дяйку ещё спал, я слышала его спокойное мерное дыхание и короткие обрывки его сонного лепета. Даже боги иногда спят так же глубоко как простые смертные. Я взяла ковшик и вышла из чума набрать снега для чая. Медленно

продвигаясь вперёд и полагаясь на авось, я ступила в сугроб. Снег был мягким и липким с вкраплениями ледяных капелек. И хотя снега ещё было много, его новая текстура сообщала мне весть о скором приходе тепла.

Но вдруг поднялся резкий режущий шум. Ветер подул сильнее, дыхнуло холодом, а птицы, которых я прежде не слышала, заголосили испуганно и протяжно, предрекая беду. Что-то грозное двигалось к нам с Юга, мощно сокрушая громады льда. Проснувшись Дяйку выскочил из чума, я слышала, как он подбежал ко мне, а потом внезапно мы оба упали. Мы погрузились в толщу ледяной воды, опускались на дно, забыв вдохнуть воздуха напоследок. От жуткого холода в голове вспыхнула искра боли, и тонкие молнииожением распространялись по телу. Мы с Дяйку слились в одно как две влажные губы, мы соединились и не могли оторваться друг от друга в испуге. Горящая голова таяла в жидкому пламени. Силы покидали меня, и только вниз и вниз тянуло, будто кто-то оттуда звал меня, тащил на дно. Чернота в моих мыслях сгустилась, слова исчезали из сознания, теряя смысл. Гонгом было в спину давление миллионов тонн воды арктического океана. И дальше срез, пустота...

* * *

Они долго кричали, после того, как я очнулась и подняла веки. Шум поднялся нешуточный, птицы смолкли, и только люди кричали. Как будто свежий снимок полароида проявлялась реальность перед моим мутным взором. Расфокус, негатив, чрезмерная яркость, кровавость и, наконец, естественные цвета.

Как я уже сказала, я легко могу возвращать свои мысли к прошлому, сновать по коридорам памяти, пристально

вглядываясь в то, что когда-то упустила из виду. Также я могу уходить во времена, когда меня ещё не было, представляя их по наитию генетических воспоминаний. Вероятнее всего то, что я вижу в голове не настоящее прошлое, а образы видимых мною когда-то людей, кадры из фильмов, обрывки сказок и прочее. Но и отрицать того факта, что мир отпечатывается в душе каждого потенциального человека, не буду. Я так легко могу уносится в другие миры, в другие времена, что порой мне кажется, что прошлое длится где то рядом, и иногда мы с ним ходим одними дорогами. Кто-то может назвать север серым. Но нет, зимняя серость есть только в городах, где машины утрамбовывают тонны чистых снежных хлопьев в каменистые бесцветные пластины. И Север в тот день зажегся передо мной как новогодняя открытка, мерцающая гирляндами. Только сияли не праздничные огни, а невыносимо яркие фары ледокола. Пёстрая толпа окружила меня; женщины в шубах, дети в комбинезонах, мужчины во фраках с бокалами шампанского в руках – то были они, aristократы арктического туризма. Но в тот момент меня больше интересовали не они, а тот факт, что я их видела. Видела так, как думала больше никогда ничего не увидеть, ведь у меня не было глаз! Мои-Нямы забрала их. Я медленно встала и, потеснив ошалевшую публику, подошла к иллюминатору, выходившему из холла на борт, где мы собирались. Внутри было темно, так что мне пришлось прижаться к стеклу лицом и приложить руки к голове, чтобы закрыть свет неба, и тогда я увидела... Мои зрачки, белки, радужки были абсолютно чёрными, чернее нефти, лоснящиеся как смола. Будто чёрная дыра выпила мои бледно-карие глаза и взамен выплюнула часть себя. Я резко вспомнила! Я запустила руки в карманы, но, естественно, они были пусты. «Всё ясно, –

вскрикнула я, – я надела глаза Сырада-Нямы!» Толпа за-
волновалась и из холла, к окну которого я только что при-
жималась, вышел статного вида мужчина. Преодолев сковы-
вающий страх, он заломил мне руки и сопроводил меня в
тюремный трюм. Место это было весьма бедно обстановкой и пахло
рыбой и мочой. Меня посадили на кушетку. Вскоре появил-
ся затюканный врач, который трясущимися руками осмот-
рел мои глаза. Он посветил на них фонариком, попытался
погнать их и даже понюхал. Не скрывая омерзения, он
брезгливо снял резиновые перчатки и выбросил их. Вернулся
приведший меня товарищ. Резко сел на стул и по привыч-
ке жёстко и уверенно посмотрел мне в глаза. Вздрогнул,
оправился и перевёл взгляд на иллюминатор. Его повадки
явно выдавали военного человека.

- Откуда будете?
 - Я с острова.
 - Какого?
 - Таймыр.
 - Родились то где?
 - Точно не знаю. Говорят, что в Москве.
 - Что делали на острове?
 - Приехала изучать культуру.
 - Какую культуру?
 - Нганасан.
 - Кого?
 - Аборигенов Таймыра.
 - Какая же там культура, если остров необитаем?
- Я промолчала. Он начал сначала.
- Что делали на острове?
 - Выбралась на пикник.

– Что случилось с вашими глазами?

– В меня ударила молния.

Он присвистнул. Явно в раздражении он встал и вышел. Я тут же подошла к иллюминатору и выглянула. Далеко внизу на кромке льда стояли Дяйку и Сырада-Нянту. Я помахала им, но они явно были заняты живым обсуждением произошедшего. Обильно жестикулируя и громко говоря, они то и дело со злостью пинали нос корабля. Было странно, что они ещё не привлекли внимание пассажиров. Что мне нужно было делать? Я не понимала, стоило ли мне оставаться на корабле или же нужно было вернуться на остров и продолжать покаяние. Никакой ясности. Очевидным был лишь тот факт, что теперь я снова могла видеть. Видеть и пугать всех, кто вздумает заглянуть мне в глаза, пожелав понять, о чём я думаю. Что ж, это вовсе не проклятие.

Корабль резко дёрнулся, вдохнул и заурчал мотором. «Что же делать?!», – пропел коринфский хор у меня в голове.

– Дяйку! Сырада!... Сырада-Нянту! – закричала я, но толстое стекло иллюминатора лишь слегка запотело, успев однако расплочьтить моё и без того очень странное отражение.

«Как поступить? Я ещё не готова покинуть Таймыр. Я только начала свой путь покаяния. И это только я. А ведь покаяться должны тысячи, миллионы людей!»

В этом и был ответ.

«Ия! Начинай» – снова пропел хор.

И я начала.

* * *

«Позвольте напомнить вам о том, что такое травма! – кричала я, пока меня запирали в трюме,— травма случается тогда, когда человек не в силах осознать тот ужас, который произошёл с ним! А теперь представьте себе, что случается в стране, где такая травма постигла большинство граждан!»

— Говоришь так уверенно, каждое слово прожёвываешь. Лепиши из них крендельки, как из теста. Ишь ты...

— Кто здесь? — я резко вздрогнула, согнала сон, осмотрелась по сторонам,— кажется, приснилось.

— А вот и нет, — раздался из угла тот же лукавый старческий голос.

Что-то тёмное, но искрящееся пятнами голубого света двигалось ко мне из подпола. Подуло холодом, и воздухе заплясали капельки воды. Шум, такой приятный, успокаивающий, мелодичный. Как шершавое время на фоне старинных музыкальных записей. Или нет? Или это — шум прибоя?..

— Быы-Нямы? Мать Воды?

— Ну конечно! — радостно произнесла она.

— Так необычно. Вы все говорите со мной так, будто давно меня знаете. Почему вы так добры?

Она подошла ко мне ближе, и теперь я могла ясно увидеть её. Это была седая маленькая бабушка с улыбчивым лицом. А глаза её были голубыми, как глубокое чистое озеро!

— Мы знаем всех, кто есть, и помним тех, кого уже давно нет.

Слова её звучали плавно и точно как мантра.

— Значит, вы помогаете не только Нганасанам?

— Всем, Ия, всем...

– Почему вы помогаете тем, кто в вас не верит?

– Мы уже давно отошли от дел. Мы почти не вмешиваемся в ход людских жизней. Но все люди наши дети. Нельзя просто бросить ребёнка на произвол судьбы.

– Игнасаны больше не хотят попадать в подземное царство Бодырбо-моу. Они знают, что христианский рай обещает многое сверх охоты и рыбалки. И они отворачиваются от вас! Чего же вы ждёте? Почему вы не караете их, не показываете свою силу?

Быы-Нямы приблизилась ко мне так, что я почувствовала запах водорослей из её рта. Она положила руку на мою голову, словно благословляя меня, и медленно произнесла:

«Спокойствие – это наша сила. Гармония – наш дар вам. Она есть в душе каждого. Но про неё так легко забыть. Именно в ней кроется секрет. Ища гармонию во всём кроме себя, люди совершают ошибку.

– И что же мне делать теперь? Я как акробат, идущий по канату. Я вот-вот свалюсь!

– Поезжай дальше и там ты поймёшь, что делать.

* * *

Ближе к обеду, видимо, погода стала милосерднее. Метель прекратилась, судно продолжило резать лёд бойко и быстро. Но я, благо, не видела этого из трюма. Я лежала на гамаке и смотрела, как свет ярких прожекторов корабля сквозь щели в полу проникает в мой трюм, создавая волшебную золотую сеть. «Теперь я никогда не перестану восхищаться видимым богатством мира» – подумала я тогда. Мой гамак качался, хрустел натянутой тканью и то и дело стрясался и бился о стену со мной внутри из-за постоянного сопротивления, оказываемого гордым льдом.

«Дураки. В чём смысл их поездки? Поглядеть на оленей и нерп? Почувствовать себя первоходцами? Узнать, что такое настоящий холод? Да они ведь совершенно не настроены на восприятие! Они даже Дяйку не заметили! Их больше занимают коктейли и ежевечерние юморески в центральном холле». Да, это были те ещё спектакли! Каждый вечер сверху доносились зловеще праздничные звуки цирковых представлений.

Два раза в день появлялся паренёк-моряк и приносил мне еду – рыбную похлёбку. И каждый раз я неустанно повторяла ему, что хочу поговорить с пассажирами об очень важных вещах, таких как: гибель Нганасан – народа, который за какие-то сто лет прошёл путь от неолита до страшной чернухи. Про древнюю культуру Нганасан и срочную необходимость её консервирования. Про сжатые сроки и неумолимое время. Но он только грустно пожимал плечами и, бросив на меня тосклиwyй взгляд, уходил.

«Эти люди никогда не прозреют. Они даже не думают ни о какой проблеме. Ни о какой вине или травме. Они, вероятно, думают, что Нганасаны изначально жили здесь для того, чтобы забавно махать им с льдины. Дураки. Ни на что не годные дураки!»

Я продолжала качаться в своём гамаке, уже подозревая у себя проявления морской болезни, когда раздался резкий свист и жёсткий толчок выбросил меня на пол. Наверху застучали ботинками убегающие с палуб туристы. Да что там такое? Я встала и, подойдя к запертой двери, взглянула в щель. Я увидела лестницу наверх, а за ней, на фоне иссиня чёрного неба, огромный сияющий айсберг. Король всех айс-

бергов, он уходил далеко ввысь, так что его окончание продолжалось за пределами зримой картинки.

Туристы кричали, хлопали дверьми, стучали ботинками. Я не понимала, чего они так испугались. Внезапно дверь открылась, и в мой трюм вбежали трое моряков. За ними вошёл человек во фраке, похожий в такой колоритной ситуации на привилегированного пассажира «Титаника» никак не меньше.

– Это ваших рук дело? Отвечайте!

– Про что вы?

– Про что?! – он подошёл ко мне вплотную и заглянул в глаза, затем плонул в сторону и отшатнулся, – вы с вашими северными сказками порочите доброе имя Христа!

– Куда-то вы далеко уехали! – усмехнулась я.

Он снова подскочил ко мне и, схватив меня за плечи, встряхнул.

– Отведите её наверх! – коротко бросил он морякам.

Я не сопротивлялась, и меня протащили по лестнице и бросили на палубу. Я хорошенъко ударилась переносицей и с минуту пролежала на полу, потирая нос. Затем я медленно разогнулась и подняла голову. То, что я увидела, отпечаталось в моей памяти как полароидный снимок раз и навсегда. Чётко и ясно, как семь смертных грехов. По айсбергу текли чёрные струи масла, а пик его горел настоящим огнём!

Тут стоит вернуться немного назад и сказать, что я к тому времени провела на корабле уже семь суток. Несмотря на столь долгий срок, у меня не было возможности свыкнуться с чудесно возвращённым зрением, ведь меня держали в тёмном трюме, в котором, как я уже говорила, светились только щели между досками. И хотя я безумно радовалась

тому, что могу видеть это сияние, я не совсем ярко чувствовала себя прозревшей. Тот короткий отрезок времени, который я прожила, когда очнулась на корабле и до того, как меня посадили в трюм, был похож на интенсивный экшен-фильм, который кто-то поместил в мою голову. Слишком быстро и ярко там всё происходило. Я не была до конца уверена в реальности своих видимых впечатлений.

А теперь вернёмся обратно к мощному полярному факелу, горевшему передо мной. В тот момент, когда я увидела его, я воочию убедилась в правдивости выражения: «Встать как вкопанная». Я действительно утратила на минуту возможность двигаться и говорить. Я могла только, глупо раскрыв рот, наблюдать за горением айсберга. С неба сыпались искры. Они кружились вокруг нас, словно светлячки. Огонь разрастался и шумел. Ко мне снова подскочил мужчина во фраке.

– Ну и что вы нам прикажете делать теперь?! – крикнул он мне.

– Я? При чём тут я?

– Это всё вы! Вы с вашими чёрными глазами и сказками про этих туземцев!

– Какие же это сказки? Взгляните, айсберг и вправду горит!

– Да вижу я! – он недовольно сплюнул.

– Не хочу занудствовать, но, похоже, это знак для вас. Пришла пора переосмыслить свои убеждения! Настало время жить по-новому!

– Легко вам говорить! Думаете, ваши чёрные глаза сделали вас особенной?! Вы нашего рода и племени! Вы виноваты ничуть не меньше нас!

– Вы абсолютно правы! Но что-то мне подсказывает, что вы говорите так не по наитию совести, а из желания переложить свой груз на чужие плечи! Хитро! Но я тоже не лыком шита! Страшный суд близко, капитан! Буууу! – и я засмеялась как девчонка, совсем забыв про горящий, но не сгорающий айсберг.

– Никакой он не капитан! – весело пролепетал мальчик, стоявший до этого за спиной матери, – мы все полицейские! Пиф-паф! – и он кинул в меня льдышку.

– Полицейские? Понарошку?

– Марина, уведи его! – грубо обратился мужчина во фраке к матери ребёнка.

– Мы не полицейские, – виноватым тоном с большой неохотой проговорил он через минуту, – мы... Мы высланные из страны бывшие сотрудники чрезвычайной комиссии.

– А это что? Ваш философский... эм... чекистский пароход?! И почему так неожиданно расформировали такой крупный орган?

Он удивлённо посмотрел на меня.

– Вы здесь что, уже несколько лет блуждаете, ничего не знаете?!

– Что я должна знать?

– Ах, объяснить будет трудно. Вкратце у нас сменился режим правления. Теперь не демократия, а аристократия. Правят видные деятели культуры и искусства. Нас, как основную опору ушедшей системы было решено выслать из страны на остров Большевик.

Я ошелела.

– Вы там колонию построите?

– Да. Ну не совсем мы. Мы едем её населять. А так там уже ведутся работы по строительству жилого комплекса.

– Жилого комплекса? Да там ведь вечная мерзлота! Куда вы собирались заселяться? Почему вас не сослали на Марс?! Там-то дома построить куда проще!

Я чувствовала, как истерика клокочет в моём желудке и приступает к глазам, а язык превращается в помело. Я уже плохо себя контролировала. Как так?! Сколько же меня не было?! Какой-то бред!

– Вы едете ниоткуда в никуда! – подытожила я и зашагала обратно в трюм. Мне нужно было о многом подумать.

Корабль явно передумал куда бы то ни было нас везти, так что я могла спокойно лежать в гамаке без сильной качки. Дверь я не закрыла, так что могла наблюдать за горением айсберга.

«Кажется, наступила эпоха абсурда – начала я свой внутренний монолог, – Кем я была всё время, что провела в городе? А кем я стала тут? Ясно одно: во время моего путешествия я сильно изменилась. Но не менее сильно изменился и мир. У меня, по-видимому, теперь есть три пути: оставаться на Таймыре вместе с Дяйку и Нганасанами; поехать дальше на север вместе с чекистами (ну уж нет!), или же вернуться в Санкт-Петербург и начать просвещать людей. Повысить уровень их осведомлённости о проблемах народов севера».

Я собиралась всё рационально обдумать, но пока мой мозг осуществлял умственную деятельность, в моём теле начали рождаться новые ощущения.

«Решись на большее! Решись на большее!» – запел хор в моей голове.

И я вылезла из гамака и поднялась наверх. Люди продолжали в ужасе плятиться на айсберг.

– Послушайте! – обратилась к ним я, – Послушайте! Этот огонь не карать вас призван! Это знак. Хороший знак. Если лёд может гореть, значит и сердце самого чёрствого человека способно растаять! Значит, все мы здесь не зря. Вы умные люди. Но вы совершили много ошибок. Пришла пора перемен! Идёмте со мной! Давайте спустимся на лёд! Вот так. Я докажу вам, что вы можете большее! Вы не представляете, на сколько добрых дел способны ваши души! Мы нужны Арктике! Пойдёмте же!..»

Безиков Сергей Тихонович

ВЕРАБЕЙ

Место рождения своё не выбираешь, это понятно всем. Выбрать можно только «смертушку», или умереть героем на поле боя, или просидеть подлецом в кустах, а потом сдыхать в полном презрении, но не о ней пойдёт речь.

Родился я не в Ясной поляне и не на кожаном диване, как Лев Толстой. А родился я на топчане, укрытом пуховой периною, в избе-гармошке, стоявшей в центре маленькой деревушки, которая растеклась по лесному увалу избами и домами, рубленными в венец и лапу в стародавние и нынешние времена.

Деревушку эту обосновали на юге Западной Сибири переселенцы из Белоруссии в конце 19 века. Строительство первых изб ими было закончено в зиму, аккурат в праздник Покрова Богородицы, поэтому и деревню назвали «Покровкой».

Моих пращуров называли «самоходами» и «чалдонами». Их сейчас нет в живых, но добрая память о них в моём сердце жива. Отец мой был «самоходом», а мать «чалдонкой». Родители отца появились в этих местах связи с проведением в России столыпинской реформы по переселению. Родители же матери были потомками первопроходцев Сибири. Чалдоны не жаловали самоходов, которые, в свою очередь, платили им тем же, называя их «чалдонами-желтопузами» из-за их пристрастия к обильному чаепитию. Однако, так или иначе, семья, в которой суждено мне было родиться, вопреки расхожему мнению, была создана по люб-

ви, и как это бывает в жизни, через девять месяцев на свет появился я. По счастливому стечению обстоятельств появился в качестве подарка своей матери к Международному женскому дню восьмого марта.

Имя себе я выбрал сам. Моя бабушка Саня, сидя у зыбки, перечисляла по памяти известные ей имена мальчиков, и я ей своим плачом дал знать, какое имя мне понравилось. Так, я стал Семёном.

С теплотой и обожанием вспоминаю свои детские годы, проведённые в деревне. Закрыв глаза, вижу свою бабулю, сидящую в горнице с веретеном у окна, и слышу её монотонное пение, поражавшее меня удивительным сплавом русского и белорусского языков:

Ох, как на крыше верабей,

Да, он сидит чиликает,

Ох, майей мамки дома нема,

Не кава баяцца...

И вслед за пропетым куплетом несётся её призывный возглас:

– Сёмка, вставай! Ходь (*иди*) ко мне на кухню, а то исть (*кушать*) мне одной морготно (*скучно*), да и табе (*тебе*) пора в школу тикать (*идти*).

Я встаю, иду за печку, бью ладошками по мокрому соску рукомойника и умываюсь. Выхожу с рушником в руках.

– Бабушка, ты чё (*что*) так говоришь? Учительница кажет (*говорит*), что из-за тебя, и я кажу неправильно.

– А пошто (*почему*) она скёт (*стучит*) ногами?

– Я ей прибаутку бабы Дуни казал.

– Кажи (*расскажи*) её и мне.

— Слухай. В одной семье не любили сноху-чадонку, — начинаю я. — Однажды тятка спрашивает своих дочек: «Кто набздел в хате?» А те ему отвечают: «Это сноха». — Так её же нет в хате? — А это её андарак (*юбка*) бздит.

Бабушка долго хохочет, потом называет меня почему-то «поташенком» и теребит мой чуб.

— Заес (*заяц*) упрел в чугунке, будешь его есть (*кушать*)?

— А откуда взялся у нас заес?

— Дед Яшка его вчерась (*вчера*) петлей словил.

— Не, я буду только калач и молоко.

Я быстро завтракаю, надеваю белую заячью шубку, валенки, шапку, перекидываю через плечо сшитую мне бабушкой холщевую сумку с букварами и тетрадками, беру в руку таз и выскакиваю на улицу. Выбегаю на берег реки, сажусь в таз и, крутясь волчком, съезжаю на лёд. Дальше карабкаюсь на противоположный берег, и я в школе.

Учусь я в первом классе понарошку. Бабушка договорилась с учительницей, чтобы та взяла меня в школу, потому как все мои друзья пошли в первый класс, а мне не хватило одного года. А уж на следующий год, когда мои родители-нефтяники закончат свою работу в сейсмологической партии и обоснуются в районном центре, то я пойду в первый класс со своими сверстниками.

Школа, в которой я учусь, четырёхлетка. Первый класс занимается в одной комнате с четвёртым, а второй с третьим. Меня уже дважды ставили в угол. Один раз за то, что на уроке рисования я подошёл к своему другу из четвёртого класса, у которого была контрольная работа по математике, а второй раз за рожицы, которые я ему строил.

На следующей неделе намечена свадьба моего дядьки Гришки. Деревня по этому случаю будет гулять несколько дней. Моей бабушке поручено сварить четыре фляги пива. Она варит его уже две недели, поэтому я, чтобы не мешать ей, живу у дедушки Якова и его снохи Марфы.

– Сёмка, ты поедешь со мной проверять петли на зайцев? – спрашивает меня с утра дед Яшка.

– Конечно, поеду, – отвечаю ему.

– Тогда собирайся. Твои валенки на печи.

– А на чём поедем?

– На рыжей кобыле. Запряжём её в сани и поедем...

Ставить петли на зайцев и силки на куропаток мы с дедом обычно ходим пешком в ближайшие колки. Зайцев и куропаток развелось ныне много и мы всегда с добычей. Но сегодня нам надо поймать больше обычного, потому как на носу свадьба Гришки, его младшего сына, и гостей будет много.

Мой отец называет деда Яшку ведуном-молитвенником, потому как он знает много лечебных молитв и оказывает помощь всем деревенским. Дед Яков-старовер, он поклоняется отцу небесному – богу Сварогу и каким-то другим богам, а не одному богу Христу, как другие селяне. Он молится им перед сном и утренней звездой. Моя бабушка боится деда Якова, хотя он ей ничего плохого не сделал. Она говорит, что он знается с упырями и лесными берегинями. Дед не любит, что бабушка скверносоловит и шутливо пугает её порчей.

Я же деда считаю добрым волшебником. У него длинная седая борода, взгляд умный и проницательный. Он ни-

когда не сквернословит, как это делают другие деревенские мужики, речь его спокойная, голос певучий.

Для своего колдовства дед Яшка собирает из семи родников, находящихся в излучинах реки, родниковую воду. Он набирает её в глиняные кринки (кувшины), затем смешивает и толчёт в ступе, чтобы она была истинно чистой и наполнена новой энергией. Когда она становится таковой, он расписывает её поверхность специальной палочкой – трезубом, вырезанной из священного дерева, которую называет «Яви-Нави-Прави».

Заговорив эту воду, он раздаёт селянам, но только тем, кто верит в её чудодейственную силу, а уж они добавляют её в свои домовые бочки. Сам дед Яшка использует её, когда лечит людей, которых укусили змеи в период сбора ими клюквы или брусники на болотах, а также от сглаза и напущенной на них порчи: заикания, недержания мочи, куриной слепоты и другой гадости.

Гадюк и прочих змей дед не боится. Он ловит их руками и затем удаляет из них яд. Носит он их для забавы на себе, под холщовой рубахой, и этим самым шокирует селян.

А ещё дед Яшка заготавливает в определённое время в лесу специальные чурбаки, освещает их своими молитвами и делает из них баклушки разных размеров, которые затем раздаёт мужикам, чтобы те вырезали из них игрушки и обереги для своих детей. Мне же он сделал двух коньков, которые будут оберегать меня всегда...

День выдаётся явно пригожий. Снег ослепительно блестит на солнце. В лесу тишина и покой. Зайчишка в это время отдыхает, забившись в коряги, после ночной кормёжки в осиннике.

Ехать нам предстоит немного, версты четыре. Рыжуха, молодая кобыла, резво бежит, таща небольшие аккуратные сани, сделанные дедом специально для охоты. Я гляжу на заснеженные поляны, перелески, овраги, меж которых, скрытая под толщей льда, течёт речушка с кротким названием «Ик» и у меня радостно на душе. Я чувствую природную красоту окружающего меня мира. Мне не ведома другая красота, в сравнении с которой я до конца смог бы постичь эту, данную мне с рождения. В первозданности детского восприятия, красота родных мест предстаёт предо мной во всём своём великолепии, от неё в груди поднимается неописуемый восторг.

Я стою в санях, как и дед на коленях, держа в руках деревянный автомат с круглым магазином и звонкой металлической трещоткой, который изготовил мне отец в последний свой приезд домой.

Я усиленно верчу головой по сторонам в надежде, что увижу свой главный охотничий трофей – лису и поражу её метким выстрелом из своего автомата.

Выезжаем на поле, затем спускаемся в открытую луговину, снова поднимаемся в гору. Там, на горе, виднеется продолговатый колок, в котором мы поставили большую часть своих петель и капканов.

Выезжаем на гору... И тут я вижу, что вдали на опушке леса стоят пять больших собак. Но, что-то меня пугает. Нет, это не собаки, проносится в моем сознании. Это волки! Тяну деда за рукав тулупа.

– Деда, это волки?

Дед вместо ответа останавливает кобылу и с досадой протягивает:

– Вот незадача какая. Забодай вас всех казел (*козёл*).
Повыбегали...

Рыжуха – кобыла молодая и трусливая. Она пятится назад и заступает за оглоблю. Дед дёргает вожжами, пытаясь развернуть её. Но Рыжуха не может перешагнуть назад оглоблю, от страха храпит и бьёт копытами.

– Сёмка, внучок, держи вожжи в натяг, – кричит мне дед, высакивая из саней.

Волки быстро бегут к нам.

Дед невероятным усилием своих старческих рук насилиу вталкивает Рыжуху в оглобли и падает в сани. Кобыла разворачивается и с места берёт в карьер.

Волки быстрыми скачками бегут к нам, наперерез саням. Мы успеваем проскочить. Они бегут позади саней, вытянувшись цепочкой. Впереди большими скачками отмахивает крупный, с оскалившейся пастью волк. Несомненно, это вожак. Уже метров пятнадцать отделяет его от наших саней.

– Сёмка, внучок, подлезай ко мне ближе, – подзывает меня дед.

Он прижимает меня к себе, не выпуская из рук вождей, и принимается читать молитву:

Николай, угодник Божий, помощник Божий.

Ты и в поле, ты и в дороге, ты и на небесах.

Заступись и сохрани раба младого Семёна,

От зверя лесного, лютого...

Вожак обходит сани, примериваясь к Рыжухе. Он не рычит, не пугает, он просто смотрит на неё своими жёлтыми немигающими глазами.

Дед привстаёт и, держась левой рукой за укосину саней, хлещет вожака кнутом. Тот, лязгая зубами, прыгает в сторону, сбиваясь с бега... Сзади на него налетают другие волки. Вся стая кружится вокруг него. Он ощеривается, бьёт клыками одного, другого... И показав им свою силу и злость, снова, вырвавшись вперёд, легко догоняет наши сани.

Дед вновь привстаёт, хочет ещё раз огреть кнутом вожака, но тот отбегает от саней подальше. С другой стороны, обходит сани волчица, у неё разорвано ухо, но тот же, немигающий, жёлтый свет её голодных глаз.

– Сатанинское отродье! – ругается на неё дед.

Я высовываю голову из-за его спины – до деревни остается совсем немного, уже слышится лай деревенских собак.

Вожак выравнивается с Рыжухой и прыгает на неё. Рыжуха шарахается в сторону, в сугроб... Саны переворачиваются: оглобли сворачивают хомут, он захлестывает Рыжухе горло. Она хрюпит и бьётся в оглоблях. Волчица, настигшая её, с другой стороны, прыгает на неё и впивается клыками вбок.

Мы с дедом вываливаемся под ноги отставшим трём волкам. Один из них с ходу впивается клыками в тулуп деда и тут же получает от него удар японским штыком в брюшину. Зверь кружится от боли на окровавленном снегу, жалостливо визжа. Два других на какое-то мгновение отскакивают от нас.

Я, воодушевлённый решительными действиями деда, принимаюсь крутить трещотку своего деревянного автомата, при этом кричу что-то несуразное. Я расстреливаю волков, представляя, что это фашисты, внезапно напавшие на нас.

Фашистов я видел только в кино, но у меня стойкое убеждение, что их нужно расстреливать за все злодеяния, которые они сотворили.

Волки, заслышав неожиданный для себя металлический треск, трусливо поджимают хвосты, и, оставив нас, быстро бегут в сторону леса...

– Деда, миленький, мы победили фашистов? – плача навзрыд спрашиваю я его.

– Да, внучок. Мы их победили. Никола-угодник, твой заступник, не оставил нас в беде. Пойдём быстрее домой, мне нужно объяснить всё своим богам и просить их, чтобы они простили мне измену...

– Какую измену? – спрашиваю я.

Но мой вопрос тонет в безмолвии. Дед, молча, высовывает из упряжки раненую кобылу, и мы идём к деревне, держа под уздцы перепуганное до смерти животное.

Вечером этого же дня дед Яшка неожиданно заболевает. Узнав об этом от своей бабушки, я спешу к нему.

Дед лежит в горнице на кровати, во всём чистом и белом.

– Деда, ты же не умрешь? – заподозрив неладное, спрашиваю я его.

– На все воля божья, – отвечает он мне явно слабым голосом. – Сёмка, не забудь, что ты отныне должен почитать своего спасителя Николу-Чудотворца – он самый старший среди святых. Его я просил в своей молитве спасти нас от волков, так как он не только истребитель змей, но и волчий пастырь.

– Хорошо, я буду его почитать, – клятвенно обещаю я деду.

Утром следующего дня дед Яшка умирает. Свадьбу Григория переносят на осень.

Я долго горюю по своему любимому деду и этим пугаю свою бабушку, поэтому она, втайне от моих родителей, решает свезти меня в район и там крестить в небольшой церквишке.

У попа, окрестившего меня, я спрашиваю:

– Есть ли в вашей церкви икона Николы-Чудотворца?

Он мне указывает на икону, стоящую рядом с иконой Бога Христа. Никола-Чудотворец мне нравится. У него такая же, как у моего деда, аккуратная белая борода, высокий лоб, выступающие скулы, карие глаза и смуглая кожа.

– Расскажите мне о нём, – прошу я попа.

Поп улыбается мне и принимается рассказывать о Николе-Чудотворце. Из его рассказа я узнаю, что это самый почитаемый святой и по значимости он приближается к почитанию самого Бога Христа. Ещё при жизни Никола в одном из своих морских путешествий воскресил моряка, сорвавшегося с корабельной оснастки в шторм и разбившегося насмерть.

– Никола-Чудотворец спас меня и деда от волков. И ещё мой дед говорил, что он их пастырь, и поэтому они послушались его, – доверительно сообщаю я ему.

По дороге обратно в деревню, у меня никак из головы не выходит рассказ попа о том, что Никола-Чудотворец воскресил моряка. И уже вечером я интересуюсь у своей бабушки.

– А это правда, что Никола-Чудотворец оживил умершего моряка?

– Правда, внучок!

– Тогда он может оживить и дедушку Яшку. Я попрошу его об этом.

Бабушка моя задумывается, затем молвит:

– Не надо его оживлять, он в раю, ему там сладко. А ещё я боюсь живых мертвцев...

Свет, падающий от керосиновой лампы на её старческое лицо, причудливо отражается дрожащими тенями на стене и пугает меня.

– Я тоже их боюсь, – признаюсь я, и подсаживаюсь к бабушке поближе.

Она прижимает меня к себе со словами:

– Когда смерклось непотребно говорить о покойниках. Нехай (*пусты*) им будет гарно (*спокойно*).

– Нехай! – соглашаюсь я с ней...

Беломестнова Нина Васильевна

ПОДСКАЗКИ СИХИРТЯ

Наша съемочная группа заехала в эвенкийский поселок Кыкер в надежде обзавестись проводником. Нам хотелось попасть в горы, где на скалах сохранились рисунки древних людей.

– Не простых смертных, Сихиртя, – уточнили местные жители: – Наши праотцы лишь камни затесывать умели, а там такое высечено... без лазера не обошлось. Да сами увидите!

– Кто такие Сихиртя? Э-э! Как бы вам объяснить? – почесал затылок местный фельдшер Илья Ильич Брагин, скуластый сорокалетний мужчина, в родове которого была явно примешана тунгусская кровь. – Сихиртя, народ ущедший жить под Землю...

– Гномы что ли? – Вроде того, – буркнул Брагин. И резко сменил разговор. – Разве вот Ковыкто поведет вас на гору Темного духа, к древним писаницам, – указал он на тщедушного, словно истаявшего, как льдина по весне, старика, сидевшего на завалинке деревянного дома. – Больше смельчаков не сыскать. Местные отчего-то уверовали, что Сихиртя допускают на горное плато лишь шаманов.

Хмыкнул: – А наш Ковыкто от трясучки и зависимости распоследних пропойц избавляет. Чем не целитель? Саман¹, одним словом.

¹ Саман (эвенк.) – шаман

Говорил так, словно подначивал старого тунгуса². Вызывал на ссору. Но Ковыкто не реагировал на словесные уколы сельского лекаря. Невозмутимо курил трубку.

В горы пойти стариk согласился без уговоров. На сбory ему понадобилось всего полчаса: – Но! Кого тут идти-то. Километров тридцать, не боле.

Меня смущал преклонный возраст провожатого: на девятый десяток перевалил, как никак. И взгляд. Временами – отрешенный.

– Ковыкто свой предел видит, – флегматично объяснил фельдшер. Заметив, что я поежилась после таких слов, успокоил: – Стариk, коль надумал с вами в горы подняться, сдю-уу-жит. Ни за что этот мир не покинет, пока сам себе не позволит.

Не очень успокаивающе звучит. Но... выбора у нас нет.

Наш престарелый проводник для дальнего похода явно прифрантился. На нём помятый матерчатый костюм, пошитый на советской фабрике «Большевичка» ещё в прошлом веке. Пиджак свободно болтается на исхудавшем теле старика, да и брюки великоваты, штанины подвернуты; лишь на ногах по тунгусскому обычаю – меховые облагающие омчурь, легкая не промокаемая обувь.

Стариk на удивление бодро шагает по едва заметной, заросшей травою тропе.

– Но! – отмахивается он от предложения устроить привал. – Еще и половину пути не одолели.

Заметил свежие затесины на сосне. Остановился. Внимательно осмотрел их. Проронил: – Борозды на стволе де-

² Тунгусы – так до 30-х годов двадцатого века называли эвенков

рева – следы от когтей хозяина тайги,. Медведя. – Ножом оставил зарубки пониже. Объяснил: – Амаку, босоногого старца, уважить надо. Показать, что признаем его первенство. Иначе рассерчает, беда как сильно.

Леха, оператор, заметно побледнел. Потянул меня за рукав: – Вернемся? Наш провожатый на медвежатника не тянет. А косолапые зверюги, слышал, с человека скальп снимают.

– Ты больше рассказни разных трепачей слушай, медведи сейчас сытые, добрые, – обрываю своего спутника. Отступать уже поздно.

В нашем престарелом проводнике не видно ни страха, ни суеверности. И мы тоже успокаиваемся. Хотя... ружья у нас с собой нет.

Наконец, показались скалы. На этот голец подыматься надо, выбрав самый иглистый и на вид неприступный, указывает Ковыкто.

Но вот незадача! В самом начале подъема мой неизменный спутник в командировках телеоператор Алешка поскользнулся, подвернул ногу.

– Муу ёро! – посмурнел Ковыкто. – Худая примета, однако. Нельзя чужакам к сакральному месту приближаться.
– Настоял оставить Леху у подножия горы.

Продолжаем подъем. Теперь только вдвоем со стариком. Идти приходится осторожно, каждый раз пробуя почву ногой. На козьей тропе таятся острые останцы и пустоты надежно замаскированные мхом. А тут и вовсе на пути каменная осыпь попалась.

– Ты, девонька, когда наземь ступаешь, вес тела на ту ногу перекидывай, что опорой служит, – учит меня опытный

таежник Ковыкто. Он-то через осыпь перебрался словно играючи.

Неожиданно за крутым подъемом появляется ровное плато, словно специально высеченное в горной породе. Пожале на космодром, невольно пришло сравнение. Впрочем, время постаралось, и порядком намусорило на этой посадочной площадке – местами в беспорядке нагромождены курумы, завалы из скальных осколков. Поднимаю овальный камень размером с куриное яйцо, попавшийся под ногами. Внутри видны глубокие борозды. Широкие и тонкие линии складываются в причудливый узор. Но какой мастер ухитился разместить эти непонятные голограммы в чреве камня?.. От головоломки отвлекли петроглифы на склоне почти отвесной скалы, в которую упирается плато. Что там изображено?.. Не может быть! Люди-головастики с глазами-фарами и с усиками на затылке. Да это же у них шлемы с антеннами. А что изображено позади них? Треугольник, или летающая пирамида с пламенем вырывающимся из сопла... Такое не сfantазируешь – увидеть своими глазами надо.

Пораженная небывалым зрелищем, на время упустила из виду своего провожатого. Оглянулась, разыскивая его. Но что это?

У нагромождения курумов Ковыкто упал на колени, благоговейно протянул к ним руки. Расслышала его хриплый возглас: – Суруктаах Хай’а!³

Со старого тунгуса в миг слетел налет цивилизации, как глазурь с пасхального разукрашенного яйца. Передо

³ Суруктаах Хай’а! – Так древние северные народы приветствовали каменных идолов, которых обожествляли

мной – первобытный дикарь, истово поклоняющийся своим божествам. А мешковатый, свободно болтающийся на теле, пиджак вполне заменяет ему накидку из шкуры добытого в поединке зверя.

Ковыкто неустанно бьёт поклоны. И откуда только силы берутся? Наконец, пятясь, отползает от «немоговорящих камней», он так называет пронизанные внутри нитями, словно вспышками молнии, останцы – их тут, на плато, множество.

– Что в твоем послании? – опасливо всматривается в сколок, что я подняла на гранитном уступе. А внутри камня извилистые линии, нет – волны, накатывают одна на другую... «Цунами?» – пытаюсь угадать. Дед вздрагивает, и втягивает голову в плечи.

Неожиданно чистое до этого небо заволокло тучами.

– Всё! – уперся Ковыкто. – Тангара, дух горы, тучи притянул. Возвращаться надо.

Пытаюсь возражать. Но стариk неумолим. Да и прав оказался... Начал накрапывать дождь, расходится всё сильнее. И вот сверху хлынули потоки, целые водопады. Того и гляди, нас смоет с каменного плато, как соринки с ладони, и кинет в бездонное ущелье... Теперь понятно, отчего местные жители опасаются посещать это место.

Пришлось спешно спуститься к подножию гольца. Но непогода, к счастью, оказалась кратковременной, вскоре небо разъяснило.

Тайга, омытая дождем, словно живое существо, глубоко дышала, ухала, отряхивалась, окатывая нас при порывах ветра водяной баней. Не мешает и нам обсушиться, и о ночлеге позаботиться.

Установили палатку. Развели огонь.

У костра, попив горячего чайку, Ковыкто размяк, и неожиданно огорошил признанием: – С покойным отцом повидаться решил. Напоследок. Чую – зовет.

– А чего в горы направились? Вроде, в стороне от кладбища, – в недоумении пожал плечами Лёха.

– Э-ээ... не понимаешь. Тут, в расщелинах скалы, останки отцовы упрятаны.

– Как это? – опешил Алешка.

– Отец саманом был, после ухода в мир иной свою силу шамансскую в черепе заточил. Но все, кто знал место его захоронения, ушли к Верхним людям. Так что показать тайник некому... Разве люди-Сихирты укажут.

Заговаривается, – показал жестами из-за стариковской спины Алешка. Он был разобижен на нашего проводника, что тот не хотел брать его в горы: – Тебе путь закрыт, паря.

Ковыкто пристальноглядит в пляшущие языки пламени нашего костра. Одна из тлеющих головёшек зашипела, и погасла. Ковыкто вздрогнул, словно знак какой-то в этом углядел. Заговорил, торопясь, глотая отдельные слова: – Началось всё с коллективизации. Собирания чужого добра в один карман, иначе. Это в тридцать седьмом году случилось, я тогда как раз лук со стрелами в руки взял – отец доверил, поэтому хорошо всё запомнил. Тогда пришлые начальникишибко строжились. Тунгусам велели всех оленей в одно стадо согнать. Владельцы одомашненных сокжоев⁴ растерялись. Не знали, как им быть. С оружием своё добро защи-

⁴ Сокжой (эвенк.) – дикий олень

щать? Или в бега кинуться?... Направились за советом к духовному поводырю Шолеулу.

Старик, кажется, успокоился, и речь потекла более плавно: – Шолеул – это шаманское имя моего отца. Сам он на ту пору укочевал с оленями к горам, где можно переждать разгул гнуса. На обветренных горных площадках комарье и овод не страшны... Думаю, не случайно выбрал место стоянки. На скалах время пощадило от разрушения древние рисунки...

Заметив мой вопрошающий взгляд, подтвердил: – Ну да, мы как раз на это плато днем взбирались.

Продолжил рассказ: – Здесь саман Шолеул черпал силу, здесь его посещали видения.

Ковыкто – рассказчик искусный. Вскоре мы с Алешкой забываем, что сидим у костра. Мы в центре событий! Вместе со встревоженными орочонами⁵ взбираемся на голец с сакральными знаками-подсказками, ищем шамана – он Тот, кто знает. Он понимает иносказательный сихиртян...

Посланцы рода Вакурай, и рода Бултагир вскарабкались на кручу. Шолеул словно ждал их. Он долго курил трубку, разговаривал с кем-то невидимым. Потом сплюнул желтую слону на камни под ногами, сказал: – У пришлых начальников ружей много. Однако, в вашу сторону дула направят, если на дыбки встанете... Время придет, они сами олешек возвернут. Только не скоро это будет. Вы не доживете, я не доживу. Внуки дождутся.

Опять долго прислушивался к своему невидимому собеседнику. В досаде махнул рукой: – Но! Пошто пугаешь,

⁵ Орочоны (эвенк.) – оленные люди (орон – олень)

паря? Знать, так на моем роду написано. От смерти бегать не буду.

Остановил взглядом испуганных его последними словами сородичей: – Сворачивайте чумы, и отправляйтесь в глухие места, где пуля не догонит. Тайга и спасет, и прикроет. Кочуйте повозь – малолюдными группами, так ловчее укрыться от чужаков.

Разве угенишься в тайге за быстроногими орочонами? Олennые люди тропы потайные знают, проходы через ма-ри... Оленых пастухов не преследовали.

Но вот на самана Шолеула служаки злобу затаили. Не он, тунгусы послушно в стадо сбились бы.

– Вот только сам провидец отчего-то не поостерегся, – восстанавливает события прошлого наш проводник. – При-кочевал в селение за спичками, солью, мукой. Меня, мальца, с собой прихватил... Чутье потерял? Или... заранее знал час своей смерти, и не захотел прятаться?

У кочевников принято при встречах с чав-чывом, оле-нным пастухом иначе, на тропах странствий сделать остановку, раскурить сообща трубку, обменяться новостями. Став оседлыми, орочоны привычек не поменяли. Мужчины, не занятые охотничьим промыслом, сходились по утрам у мага-зина, устраивались на бревне на берегу реки неподалеку от входа в сельмаг, и перетирали последние новости.

Вот и в тот раз бревно не пустовало. Шолеул подсел к сородичам, раскурил трубку. Один из курильщиков обрадо-вался: – Объявился, наконец. Где сейчас кочуешь, паря? До-бежать к тебе хочу. У моего парнишки нарыва по всему телу пошли. Возьмешься поправить?

Шолеул ответить не успел. Кто-то из посетителей сельмага, комсомолят, им было велено вести борьбу с иноверцами, сообщил гэбистам о появлении в селе шамана. Са-ман увидел: из-за угла на него наставлено ружейное дуло. А вот и пуля летит-свистит. Его пуля.

Ковыкто замолкает. И мы с Алешкой молчим, словно придавленные услышанным. Боимся потревожить старика: пусть останется наедине со своей печалью.

Но наш провожатый продолжает рассказ. Правда голос его потух, как и угли прогоревшего костра. Он говорит глухо, с трудом выталкивая слова: – Меня тунгусы сумели тогда упрятать. В тайге. Иначе, хоть и всего-то пять лет от роду было, не сдобривать. Гэбисты как судили? От волка щенки только серые рождаются, в другой цвет не перекрасить. Отца моего волком-перерожденцем считали... Сородичи увезли меня подальше от родных мест – в Якутию, сдали в пришкольный зверинец... Тыфу ты! В интернат для детей-эвенков.

Поначалу в моей судьбе всё вроде гладко катилось. Окончил десятилетку, следом – педагогический институт специально открытый для северян в Ленинграде. Там оставляли, в аспирантуре. Но... не мое это. Я только в тайге себя живым, настоящим, чувствую... Вернулся в насиженные родничами места. Учителяствовать взялся, – завершает экскурс в прошлое Ковыкто. Он утомился. Под глазами темные круги образовались – при свете фонарика заметно, как осунулось, посерело лицо старика.

Я делаю знак Лехе: оставь деда в покое. Но тому неймется: – Дед, интересно, чему ты обучал детей?

Старик молчит, опять отвлекся на костер. А ветер тем временем раздул остывающие угли, и головёшки вновь заалели... Ковыкто встрепенулся. Продолжил разговор:

– ...Учил чему? Русской азбуке в начальной школе. В «герценке», так наш институт назывался, студентов-северян первым делом обучали русскому языку. А после обязательных занятий беседовал с ребятишками на родном, эвенкийском языке. За это на меняшибко косились. Мол, учителя просвещать должны тунгусов, а не тащить их обратно в пещеры. Нашли удобный способ избавиться, избрали в сельский совет.

– Так повысили же...

– Но! В начальниках, было дело, ходил, – дробненько засмеялся старик. Казалось, силы понемногу возвращаются к нему. – Ничего для себя, правда, «не выходил». Вот только этот костюм, что на мне, – подарили, когда на вольные хлеба спровоживали. Впервые нынче его надел.

Усмехнулся: – Мы, орочоны, в президиумах сидели для видимости. Как подсадные резиновые утки на озере. И рта не раскрывали. От робости. Да из боязни, что высмеют за неумные речи. Только подписи свои в казенных бумагах и ставили.

В голосе старика неожиданно появляются стальные нотки, словно обрел второе дыхание: – Я вот не утерпел. Взялся доказывать на бесконечных засидаловках, что не след эвенкийских ребятишек в клетки на зимовье сгонять, как заморенных лис на звероферме. В тер... ин-тер-наты ихние. Тыфу! Слово-то какое крученое, не выговоришь.

Похоже, досада не перегорела до сих пор. – Ить что деется-то! – горячится Ковыкто. – Дети от земли, от тайги

оторваны. Своих единокровных мать с отцом только по фотографиям на тумбочке в спальной комнате знают. Амикана⁶, прародителя рода нашего, не почитают... Как им оленей доверить? Как в тайгу без выучки отправлять?

– Проняло чиновников?

– А-аа! Где там.

Ковыкто раскурил трубку. Сделал несколько затяжек. Вернулся к разговору: – Вытурили меня и из советчиков. И к лучшему... Как людям моего племени в себя поверить, да удачу заарканить – не в моих силах научить было. Без Знающих⁷ тут не обойтись.

– Не уж и удачей управлять умели? – В Лёху словно бес вселился, постоянно подначивает деда.

– Саманы-предвидцы знали и умели многое, – Ковыкто прищурил и без того узкие глаза, метнул в нашу сторону неожиданно острый взгляд. – А сокровенные знания получали от Учителей, обитающих на Луне. От самих Небесных посланников.

Понизил голос, словно опасаясь, что его кто-то подслушивает: – Небесные странники и сами к нам на Землю спускались. В этих вот самых горах, – указал на голец, у подножия которого мы тaborились, – они пристанище себе когда-то устроили. Вроде как исследовательскую станцию. Но радиация им губительна, под Землю ушли. Там укрылись. Стали народом-Сихиртя, населили подземные пещеры.

⁶ Амикан – дедушка, иносказательно – медведь (эвенки считали в древности медведя своим прародителем)

⁷ Эллей – мифический прародитель народа САХА (Якутия)

– Откуда знаю об этом? – переспрашивает Ковыкто: – А вот картинки на скалах – подтверждение. А камни предсказания? Их сихиртяне специально подкидывают, чтобы упредить землян... Да ты, девонька, всё своими глазами видела, – обрывает наши расспросы.

– Сказки про вещие камни... читал в детстве, – поскучнел Лёха.

Ковыкто, казалось, ждал именно этих слов. Хитро прищурился: – Слышали, поди? Улонхо, так шамана на реке Тунгуске звали, загодя предупредил своих сородичей о падении болида в тайге. Спас их, вывел в безопасное место. Откуда проведал о горюч-камне с Неба? Люди Сихиртя, не иначе, ему наводку дали.

Ковыкто умолкает, беззвучно шевелит губами. Сомнением смотрит на нас. Казалось, решает для себя трудную задачу: говорить дальше, или нет? Наконец, безразличным голосом произносит: – Мой ами, отец иначе, как в силу вошел, тоже с сихиртянами накоротке сошелся. Они на Луну его с собой не единожды брали.

Алешка за спиной Ковыкто подмигнул мне: – Опять чудит старик.

Уже стемнело. Тучи развеялись. Яркие звезды, словно искры от костра, разлетелись по небосводу. Мохнатые сосны разлапились, казалось, медведи на дыбы встали, заявляя свои права на предгорье.

Спать совсем не хочется. Слушаем старца. Алешка, хоть и напустил на себя маску скептика, тоже притих, боится проронить хоть слово из сказаний тунгуса.

– А дар целительства? – продолжает Ковыкто неспешно нанизывать свои воспоминания на видимый только ему

стержень, словно куски оленины на шампур. – Откуда берется? Знать, сихиртяне незримо самана ведут, неземные, нездешние знания ему в голову, в руки вкладывают.

Помню, отец как-то взял меня к занемогшему эвенку. Тот в жару мечется, а мой ами знай себе в бубен бьет. Час, другой, третий... до полного изнеможения. Глядь, а грудь у больного все тише и тише вздымается, и вот он впадает в сон. На другой день просыпается – здоровый!

Отцовская колотушка, помню, отбивала о бубен спокойный ритм. Тук! Тук! Тук!... Так! Так! Так!... Кровь остужалась, в обычные берега входила, и следом сердце занедужившего сородича, – не знаю почему, но настраивалось на нормальный, здоровый ритм.

А, может, – запнулся рассказчик, – дело совсем и не в крови. В биополе человека – его тоже перенастроить можно... Не понаслышке об этом говорю, сам к неизвестному прикоснулся.

Тормошим старика: – Так вы тоже, оказывается, шаманили?

– Но! – отмахивается он от вопроса, словно надоедливое комарье отгоняет. – Какой из меня шаман? Отец-то не успел секреты целительства мне передать.

– А кыкерский фельдшер в обиде на вас, что переманиваете у него пациентов. К вам со своими болячками сородичи спешат, не к нему.

Старик, довольный похвалой, соглашается: – Но! Иногда брался помочь людям. Как это делал? Сам не знаю. Руки вот откуда-то знали.

И пускается в воспоминания: – Помню, отправили меня перед всесоюзными выборами в дальнее село – агити-

ровать за кандидатов. Их знать-не знал, сроду в глаза не видывал. Но... поехал. Как откажешься? Это в семидесятые годы было. Едем на "Газике", я – единственный пассажир. А дорога неблизкая, путь утомительный, уже часов пять колесим, пыль глотаем, и еще столь же осталось. Вижу, водитель сам не свой. То и дело виски трет. Дальше и того хуже. Глаза мутные, лицо кровью налилось. Мычтит от боли... Я ему говорю: – Ну-ко, тормози. – Выволок его из кабины, у него уже ноги отказывались служить, усадил на полянку. Давай массаж ему делать.

Тут надо объяснить, что эвенкийский массаж резко отличается от традиционного, европейского. Это и не массаж вовсе, а... перемещение биополя человека, иначе и не скажешь. Мне однажды довелось испытать это на себе. Прягала на ходу из рабочего поезда в очередной командировке к строителям БАМа – там, посреди северных топей, не было остановки, машинист лишь замедлил ход паровоза. Но не удержалась на ногах, упала. Пришла в себя, лежу на земле. В голове гудит. И... ничего не помню. Кто я? Где я? Как говорится, память отшибло. Путеукладчики, оказавшиеся к счастью поблизости, привели меня на эвенкийское стойбище. Какой-то старый эвенк беспощадно месил мне голову, словно тесто, казалось, перемещал местами затылочные и лобные кости. «Все! Конец!» – ухнуло в ушах. Но свинцовая тяжесть в лобной части и боль постепенно ушли, и накрыла усталость. Услышала: – Теперь поспи, – и... темнота. Проснулась. Провала в памяти как не бывало. Эвенкийский лекарь – или гончар? – вернул меня к жизни.

Но что там Ковыкто рассказывает?

– Смотрю, водитель мой в себя пришел. Озирается по сторонам. Говорит: – Я, похоже, умирал. Почти умер уже. А сейчас в голове просветлело, я как наново народился, свежим и бодрым себя чувствую... Объясни, сделай милость, как ты вернул меня с того света? Ты целитель, никак? – Наказал я тому мужику строго-настрого молчать, что я ему помог. В прошлом веке целителей из народа преследовали, мракобесами объявили – оттого и таился. Поехали дальше. До места добрались благополучно.

Ковыкто выдохся. Замолчал. Долго отдыхал, прикрыв глаза. Мы не тревожили его. Наконец, встярхнулся. Чиркнул по мне взглядом: – А тебя я помню. Как же! Изменилась, но голос – прежний. И запах знакомый... Приводили тебя ко мне, я тогда на Сюльбане оленей пас... Успели во-время: у тебя душа из последних силенок в теле удержаться пыталась.

– О чём это он? – не понял Алешка. Но я не стала объяснять.

Наутро у Лехи нога отекла, его знобило – не оставишь без присмотра. Ковыкто один ушел наверх, к писаницам. Его не было до полудня.

Вернулся, наконец. Хмурый, поникший. На все вопросы отмалчивался. Сел в сторонке. Открыл свою потку, потрепанную, видавшую виды тунгусскую сумку пошитую из выделанной шкурой оленя, достал оттуда холщовый платок, бережно разгладил его... Но этого линялого полотна у него не видела раньше! Котомка проводника была полупустой, в ней старик хранил лишь щепоть чая, табак, спички и пластины застывшей горной смолы, мумие, неизменное средство таежников от переломов и ушибов.

Неужели нашел спрятанный в скалах череп? В этой тряпице, скорее всего, соплеменники укрыли моши шамана от чужих глаз.

Спросить не решилась – лицо старца было непроницаемым. Он отрешенно махнул рукой в сторону поселка: – Возвращаемся. В горах рано темнеет. – Как мы не упрашивали задержаться ещё на сутки, Ковыкто не изменил решения.

В дороге наш проводник не проронил ни слова. Походка его заметно потяжелела. Но брёл, не останавливаясь. Лишь единственный раз у кучи темных катышек на тропе прервал молчание: – Э-ээ, бай-е! Вот оно что... амака за нами следом шел. Это его испражнения, вчерашние. Вот тут в сторону отвернулся, своей тропой направился.

Вдали послышался лай собак. Неужели добрались до поселка? На самом деле, печные трубы торчат из крыш деревянных домов. Приветливо дымят нам навстречу.

Ковыкто придержал меня за локоть. Мы отстали от оператора Лёхи, рвущегося к домашнему теплу. Но что это? Дыхание у старика прерывистое, и голос дрожит. Говорит с трудом, делая остановки, переводя дыхание: – Я ить заблукал на гольце. Солнце в зените, а мне темнеть стало. Мушки с панталыку сбивали. Вот, опять эти мушки проклятые налетели – в глазах рябит... Только платок и нашел в каменных завалах... Но не за ним, за черепом шел.

Я только и нашлась, что сказать: – Что за печаль? Это – кости. Всего лишь истлевшие кости. – До сих пор стыдно за свои слова.

Ковыкто впервые за время нашего знакомства растерялся. Еле слышно произнес: – И ты. Тоже не понимаешь.

Взял себя в руки, терпеливо объяснил: – Слышала, небось? Эллей, прародитель древнего народа Увань, теперь их поросль эвенками называют, носил везде с собой кожаную сумку с черепом своего отца. Не зряшно это делал. С ним в сложных ситуациях совет держал, и становился сильным вдвойне... Вот и моим сородичам такой заступник нужен... Камешек-то свой найденный на плато помнишь? Никак наводнение пророчит. Не ровен час, тонуть будем, посёлки по воду уйдут – народ-Сихиртя на помощь звать придется.

Старик надолго закашлялся. Отдысался. И твердо произнес: – Тебе надо на поиски идти. Ты моя должница. Видно, для этого спас когда-то.

...Через год, приехав на Север, узнали: дед Ковыкто вскоре после нашего совместного похода к древнему святилищу тунгусов отправился в страну печального Заката. Просил перед смертью снарядить его охотничим ножом, котелком, спичками. И пачкой байхового чая: – Сельмага там, однако, нету, – объяснил свою прихоть. – А я буду в Верхнем мире с прежними дружками на охоту бегать, после – чаи гонять.

Односельчане выполнили его просьбу.

– Да! А это старик тебе завещал, – передали мне ветхий от времени льняной платок. Тот самый, что Ковыкто отыскал в скалах. И гладкий камень. Помню, старый идолопоклонник поднял его на горе Темного Духа, упрятал в свою сумку. Внутри окатыша полосы – или таинственные знаки Сихиртя? – сбегались в одну точку, словно указывали на вход в пещеру. Неужели подсказка, где искать мощи шамана?

– Алекса! – обратилась я к телеоператору. – Ты еще не передумал рисунки древних людей снимать? И встреча с амиканом не пугает? Тогда собирайся, на рассветеходим.

Евсюков Александр Владимирович

КАРАИМ

– Шторм. До утра парома не будет.

Эти слова означали – Борису надо смириться, что он застрял здесь без малого на сутки. Влезть в автобус, вернуться на нем в Керчь, а там – выйти, чтобы слоняться по городу.

На раскаленных улицах – духота. Гроза, стремительная и желанная, бродила где-то за горизонтом.

«Ну, какой еще шторм в такую погоду?..» В любой нормальной, привычной к материковым порядкам, голове такое укладывается с трудом. Определив направление, он скоро вышел к набережной. Море было о берега под безоблачным небом. Брызги долетали плевками, холодными и освежающими.

Поодаль белые яхты и пестрые катера сбились у причала, как куры на невидимом насесте. А совсем рядом огромный, будто всплывшее морское чудовище, нагруженный корабль, медленно и грандиозно менял курс, готовясь пришвартоваться. Несколько минут, завороженный зреющим, как в детстве, Борис не мог оторвать от корабля взгляда.

Наконец, кипящие волны были побеждены – исполин, покачиваясь, на самом малом ходу двинулся прямо.

* * *

– ...если, оказавшись здесь, идти не торопясь, и оглядывать дома, читать вывески, вдыхать причудливую смесь запахов города и моря и сворачивать с новых на старые ули-

цы, то город начнет вам приоткрываться, – на тесном перекрестке Борис догнал экскурсию и ненадолго задержался среди группы людей, внимавших приятному поставленному голосу:

– И тогда под маской промзоны, стратегического порта и транспортного узла различается сначала недавняя история, отчаянная и героическая. Вы, конечно, уже слышали об Аджимушкайских каменоломнях, о стасемидесятидневной их обороне. О бессмертных героях Эльтигенского десанта. В честь тех и других названы улицы нашего города. До этого – времена чужих властований, когда город и окрестности были одними из самых дальних окраин Крымского ханства и его покровительницы Блиставательной Оттоманской Порты¹. Мы проезжали мимо Босфорского переулка. Еще раньше был период запустения и упадка – он не слишком хорошо отражен, да и незачем. А перед ним, до всего этого – далекая эпоха расцвета столицы могучего царства²,бросившего вызов величайшей империи древности. Если бы война тогда завершилась по-другому, то и Центр мира, то самое место, куда ведут все дороги, могло быть не где-то в Риме, а прямо ЗДЕСЬ – в Пантикане! – обладатель приятного голоса приподнялся на какую-то невидимую из-за спин ступеньку и оказался пухлым гидом с заметной залысиной. Он сделал

¹ Блиставательная (Высокая) Порта – резиденция турецкого султана, либо местопребывание турецкого правительства, а также наименование самой турецкой монархии

² Оператор неточен, Пантиканей (одно из названий Керчи в древности) был столицей Боспорского Царства, поглощенного Понтийским при Митридате VI Евпаторе – царе, активно противостоявшем римскому государству.

паузу и пристально оглядел своих подопечных, как будто решая, стоит ли еще взвинтить пафос своей речи или же рассказать подходящий слушаю анекдот.

Борис отразил долгий подозрительный взгляд соседки в пятнистой панамке, цепко прижавшей сумочку к животу, и заставил себя двинуться дальше.

— А там — знаменитая лестница без малого в полтысячи ступеней, — продолжал за спиной гид. — Мы на нее еще поднимемся! — В ответ донесся восторженный и горестный гул.

* * *

Борис остановился под навесом с вывеской «ВИНО НА РОЗЛИВ». Сразу отвернулся от фруктов и бутербродов — в животе и так уже урчало от голода — а взял только стакан каберне. «Денег-то в обрез. Ночевать придется сидя на переправе. Или на скамейке под платаном. Или... Или?..»

Огляделся. Через дорогу старинный дом среди большого сада. Красная черепица над белой стеной. Такие крыши ему здесь не встречались.

— Кто там живет? — спросил смуглого парнишку-продавца. Тот выглянул из-под навеса и наморщил лоб, припоминая.

— Самуил, — ответил, наконец. — Да, точно. Карайм. Так его зовут.

Борис кивнул, опрокинул в себя последний глоток и двинулся в сторону дома. Даже не спросил, что за странная фамилия — Карайм?

* * *

Темный Угол выгнал старика Самуила на крыльцо.

Самуил прошептал молитву, глядя на заросший переплетенными кустами юг, и сразу отправился к выходу, держа в поле зрения стену, чтобы опереться, если устанет. Теперь вот сидел на скамейке по колено в тени – так, что ступни пекло солнце – и никак не решался вернуться.

Фасад его дома выходит на одну улицу, сад – на другую. А Самуил – самый старый на них обеих. И как же долго у него никак не получается умереть. Это последняя его забота. В ящике стола под лампой лежит особая тетрадка с потрепанными углами, где записано, кого звать на похороны. Раз в полгода он сверяется и уточняет: все ли приглашенные живы сами, в уме ли они и точно ли в силах приехать? Порой приходится вычеркивать и думать дальше.

Жаль, что уже нет Симы. Хорошо, что есть Майя, ее сестра. Она обо всем позаботится и ничего не упустит. Зря только он ей ТАК сказал в тот раз. Но это, понятно, старииковское. И она, кажется, отошла от обиды. Но, все равно, зря...

* * *

Борис подошел к ограде. И за каким лешим его сюда потянуло? Дом как дом, каменный, крепкий. Сад за ним – видно, что хороший, хотя и малость запущенный. Но пугало в шляпе вон выставили от птиц, чтоб не так клевали. Ладно, постоит, посмотрит и решит, куда двинуть дальше – ничего страшного в этом нет.

Все вокруг было тихо и неподвижно. Подняв голову, Борис заметил, что прямо над ним нависла отяжелевшая ветка груши. Руки потянулись сами и сдернули два спелых плода. Почему не попробовать обмануть ими голод?..

Вдруг ему показалось, что пугало в шляпе пошевелилось и взмахнуло рукавом. А потом с глухим стоном опрокинулось назад, на горку насыпанного щебня. Борис тоже невольно вскрикнул. Из дома никто не вышел. Тогда он поддел щеколду калитки и вбежал внутрь.

Шляпа отлетела в сторону. На щебне лежал старик и пристально смотрел на него.

– А спросить язык отсох? – глухо выговорил он, не отводя взгляда. – Не пацан уже.

Глупо. Ни на чем подобном Боря не попадался лет с одиннадцати.

– Вам помочь?

– Руку дай.

Опершись на молодую крепкую руку, старик снова сел на скамейку.

– Шляпу.

Борис наклонился и, стряхнув с нее пыль, подал ей. Старик водрузил шляпу на голову, чуть поправил.

– Спасибо.

Борис пожал плечами:

– Не за что.

– Ну что? Ешь.

Тут Борис заметил, что обе груши по-прежнему сжаты в другой его руке.

– Неудобно, – тихо ответил он.

– А рвать чужое – удобно? – И помолчав, старик решил: – Дай мне одну, а второй угощайся.

Откусив и старательно прожевав кусок сочной мякоти, хозяин сада представился:

– Я – Самуил.

– А меня Борис.

Старик улыбнулся краем губ:

– Присаживайся, Тебя-Борис, есть место.

* * *

Они сидели в доме за столом. Самуил показал гостю, где что искать, и тот сам выставил на стол и холодное мясо, и разогретые на плите фаршированные перцы, и козий сыр, и фрукты из сада, и окружную бутыль с крепкой многолетней настойкой.

– Будем знакомы! – решился на тост Борис.

Оба выпили до дна.

– А ты откуда сам? – выдохнув, спросил Самуил.

– Родился в Крыму. Но мы рано переехали, так что я почти ничего не помню.

– И так бывает, – согласился хозяин.

– Вы ешьте тоже, Самуил. Чего еще положить?

– Даю – тогда и добавишь. Мне бы твой аппетит. И лет на двадцать пять поменьше.

– А вы скиньте мне из своих?

– Сам наживешь, и не заметишь.

Борис налил еще «под перцы».

– Я давно живу, – с усилием заговорил старик, – и с детства знаю, что у нас почетная фамилия. Моего деда помнят в Японии. До сих пор. В своем последнем бою он один убил восемнадцать самураев. Сначала у него был наган, потом только сабля. Вон те ножны, – он кивнул на дальнюю стену, – от нее. На лезвии остались зазубрины от всех ударов. Вокруг него одного лежал взвод мертвых солдат с команди-

ром. Говорят, у тех, кто упал на спину, у всех были удивленные молодые лица. Почести к его телу приходил воздать сам их генерал. Саблю они вернули, но сперва выковали точно такую же и выставили в своем музее славы. Написали, что это – оружие великого воина³. …Здесь? – он произнес немой вопрос, который ожидал увидеть в Бориных глазах. – Нет, никто про него не знает.

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

– А ваша почетная фамилия – Карайм?

– Нет, бойдакъ⁴. Караймы – это народ; его называли святым народом. И особая вера, которую предки считали самой верной. Мы не евреи, не татары, не литвины и не турки. Доводилось уживаться с ними со всеми. Мы одни чеканили монеты для Хана всего Крыма; наших сородичей брал телохранителями Великий князь Литвы. Но отстаивать себя всегда выпадало самим.

– Я понял, – кивнул Борис.

– Ты мало что в этом понял, но слушай дальше. Я ушел работать еще совсем юнцом. Был чересчур худым, но очень настырным. И быстро научился прикрывать глаза своему страху. Потом пришла война, и я решил, что ни к чему от нее прятаться. До деда мне далеко, но свое дело я знал. Бывало, каждую ночь ходил за «языком», жаль, что донести их живыми не всегда удавалось. За одного, которого посчитали особенно ценным, представили к ордену и сразу выдали трофей – его «валтер». Два раза меня крепко задевало, но

³ В основе реальный исторический факт героической гибели поручика караимского происхождения М. Ф. Тапсашара при обороне Порт-Артура в 1904 году.

⁴ Бойдакъ (bojdach) – парень (карайм.)

вернулся обратно с руками, с ногами и со всем, что нужно мужчине. Как раз тогда решили заново строить город. Вот этот дом уцелел – отдался несколькими шрамами, как и я, – Самуил приподнял руку и провел пальцами вдоль стены, как бы проверяя. – А мы стали строить назло войне. В это время мне встретилась моя женщина, та самая, в чьи глаза не страшно смотреться до самой старости. И она что-то такое разглядела во мне. Мужчин в поре было тогда немного, но к ней уже сватались: и наши, и русские. Нам тогда казалось, что мы ждали очень долго, а сами обвенчались по старому обычаю уже через месяц.

– Знаешь, – отпив воды из кружки, продолжил Самуил, – я не рвался в начальники, однако меня ценили. Звали в другие города. Я уезжал на месяцы. Возвращался. Бывало, я вдруг дико ревновал ее там, в сотнях километров. Я звонил самым близким и доверенным, с каждого требовал присмотреть за ней и сразу сообщить мне, но никто так и не узнал про нее ничего плохого. А к моим приездам у нас рождались дочери. Пять дочерей. По их повадкам я вновь убеждался, что все они – мои. Старшей уже нет. Так бывает редко, но ее я любил и баловал больше всех. Мы дали ей нежное имя – произносишь, и будто цветок распускается.

– А как ее звали?

– Айтолу. Это значит «полная Луна». Она родилась в полнолуние.

– Можно влюбиться в одно только имя.

– В нее было за что влюбиться. Святая правда. И говорю так не потому, что я отец. После нее сильно ждал сына. Достойного правнука моему деду. А вместо него – новая

дочь. Я очень переживал. Ждал и молился, подолгу и горячо, – и сын очень поздно, но должен был у нас появиться.

Я понял сразу, что в этот благословенный раз будет ОН. Мне казалось, что это видно уже по ее животу. Другие сомневались, но у них-то не рождалось столько дочерей. Жена рассказывала счастливым шепотом, что он был изнутри не часто, но сильно и требовательно. По-мужски. Я купил ему колыбель и повесил в отдельной, его комнате. Он точно должен был вырасти красавцем и настоящим батыром.

Только сначала родиться, задышать и заговорить.

Я все и всюду успевал. Мне казалось, что кто-то скинул с меня лет двадцать, и я теперь могу взлететь без крыльев на одной своей будущей радости.

И вот в один из дней на последнем месяце ожидания я вернулся из сада перед самой жарой и заглянул с порога в его комнату. Айтолу стояла там – не знаю, что на нее вдруг нашло – и качала колыбель со своей старой куклой, и напевала ей. Что-то шептала от себя и снова напевала. Она стояла спиной и меня не видела. А об этом есть дурная примета. Глупое суеверие. По нему выходит, что младенцу не выжить. Я вспомнил об этом и едва не задохнулся. Язык не слушался, и я ничего не мог ей сказать. Она учゅяла взгляд. И мой взгляд был такой, что она – совсем уже не маленькая девочка – прижала к себе ту проклятую куклу, выскочила отсюда и не появлялась в доме до самой ночи.

Роды были долгими. Ребенок оказался слишком большим. Пять с половиной килограммов, как сказала потом сестра. Нужно было решаться, помочь ему и сделать то, что они называют «кесарево». Но молодой врач так ничего и не сделал. Только успокаивал ее и ждал. Рассчитывал, что сой-

дет и так. У роженицы ведь были дети и все как-то выбирались сами.

А потом мой сын задохнулся...

Сказав это, Самуил сам задышал отрывисто, приподнялся было со стула и снова сел.

– В комнату... там, возле головы... справа, белая пачка...

Борис стремительно затопал по кухне и коридору и вернулся с таблетками.

Старик дошел бы туда и сам, если бы не Темный Угол. Хорошо, что есть тот, кто о нем еще не знает.

* * *

– ... как похоронил? Его принесли в деревянном гробике. Я сам копал могилу. Единственный раз после войны. Могильщики были не в обиде на меня. Яму длиной в неполный метр рыть дольше и труднее всего. Я закончил поздно вечером. А потом, на что-то надеясь, просидел на кладбище всю ночь и вернулся утром.

Жена быстро встала на ноги, но очень стыдилась себя в следующие дни. А у меня не получалось жить со всем этим. Я продал по хорошей цене вещи заведомо ненужные моим женщинам: мотоцикл, мотор для лодки, парадные пиджаки. Потом снял все сбережения с «книжки», добавил к ним деньги от этих продаж, завернул в пакет и положил дома, за известным только мне и жене кирпичом.

А на следующий вечер я пошел к врачу в гости. Принес с собой жареного барана и лучшего вина.

– Сегодня у нас будет Курбан⁵, – сказал я, – последний день траура.

У него нашлось что-то вроде большого подноса, и мы сели вместе возле его дома. Врач знал свою вину. Сначала бормотал что-то невнятное, а потом перестал. Сидел, опустив голову.

– Ешь.

Помню, как судорожно он жевал, испуганно выглядывая из-за куска в своей руке. Казалось, от него даже пахло каким-то особым предсмертным потом.

– И пей.

Его глаза выпучились. Было видно, как входит в него каждый глоток, готовый отрыгнуться. Добра от меня он точно не ждал. Но повиновался.

– А теперь будь мужчиной. И помолись, если есть кому молиться.

Доктор ошалело мотнул головой. Как я понял, это значило, что молиться он не станет.

Не торопясь, привычным движением я просунул руку за пазуху. Рукоять была теплой – согрелась на груди. Этот трофеинный ствол смазан, как следует, и надежно заряжен. Осечек с ним не бывало – это я помнил и тогда, через четверть века после моихочных вылазок.

Я смотрел на него в упор, дожинаясь, чтобы поднял взгляд, когда с крыльца сошел маленький сын доктора. У сына были огромные светлые глаза. Он был совсем крохой и

⁵ Курбан у караимов означает последний, а не первый (как у многих тюркских народов) день траура

пролепетал мне что-то радостное и доверчивое. Наверно, поздоровался, но разобрать у меня не получилось.

Я вынул руку и поднялся. А доктор все сидел со своей опущенной головой.

— Береги его, как он сегодня сберег тебя, — сказал на прощание. И тогда, услышав это, он весь задрожал.

Позже я видел доктора всего раз. На вокзале. Он суетился, подавая чемоданы в вагон. Поезд отходил через несколько минут. Я сделал шаг из-под навеса и остановился на свету, пристально глядя. И люди, даже те, кто очень спешил, молча обходили меня. Тогда я разглядел, что на виске у доктора выступила седина. Он все копался во внутренних карманах, а потом сразу полез по ступенькам в вагон. Так и не поднял голову. И глаз не показал. Может даже, я ошибся, и в тот раз это был вовсе не доктор.

А через несколько лет дочери стали разъезжаться. Еще чуть позже, повыдавав их всех замуж, во сне умерла моя жена. Я был еще крепок и женился снова, но и она, моя Сима, опередила меня.

— А дочь Айтолов?

— Однажды она попала в крушение на море. Ее тела так и не нашли. От нее растут чудесные внуки. Здесь у меня редко они бывают, но недавно зять приспал мне их фотографию.

Они вместе помолчали.

— Знаете, — негромко произнес Борис, — мой отец — врач.

— Надеюсь, он хороший врач?

— Да. У него был мудрый учитель. А вы простили того врача?

— Я же никого не тронул.

– А там, в сердце, где болит?.. Простили?

Самуил задумался, протянул руку и сам разлил им обоим. Поднял стакан и опрокинул залпом.

– Что смотришь, бойдакъ?

– Никогда не видел живого караима...

– А мертвого карай?

– Надеюсь, никогда не увижу, – мотнул головой Борис. – Идете спать?

– Иду. Только соберусь с духом и пойду.

– А что там?

– Знаешь, я стал бояться его – Темного Угла. Там, слева от изголовья. Там ничего, совсем ничего. Я раньше не думал, не приглядывался. Но там совсем ничего нет. Ни разу не пробежала по стенке ящерица. Паук не вьет паутину. Кажется, даже мухи туда не садятся. И я-таки уже очень старый.

Борис проводил его до кровати. Потом взгляделся, пытаясь определить, где этот самый страшный Угол, но так его и не различил. Упал на диван в другой комнате и уже ночью, очнувшись среди короткой кипящей в листве грозы, увидел под потолком в отблеске молнии крюк для колыбели.

И накрылся покрывалом с головой.

Утром Борис проснулся от надсадного кашля из соседней комнаты. Он обулся, накинул рубашку и вошел.

– Мои годы уже не такие легкие, – повернул голову Самуил.

– Если надо, я останусь.

– Нет, сынок, тут теперь нужен не ты. Встреть лучше Майю на переправе, она там работает. С виду такая полная, улыбается глазами, и волосы темные закалывает всегда вот так... – он с трудом приподнял кисть руки с неуклюжими

скрюченными пальцами, чтобы показать. – Это сестра второй моей жены. Сегодня ее смена. Она все устроит, как надо.

– Тогда прощайте, Самуил!

– Иди, огълан⁶. – И уже в спину Борису донеслось: – Я простил его!

* * *

Шторм почти улегся. Вдалеке к югу мерещились в дымке контуры исполинского судна. Борису мельком припомнился вчерашний маневр в порту.

Он вошел в зал и, еще не достав паспорт, приметил и узнал ее. Обратился:

– Вы – Майя.

Она кивнула.

– Мне передали просьбу для вас. Когда освободитесь сегодня, то зайдите... – он запнулся и махнул рукой назад в утренний сумрак.

Майя сама назвала улицу и дом.

– Точно. Туда.

– Я обязательно зайду вечером.

Он прошел досмотр быстро, без лишних вопросов.

С парома смотрел на уходящий крымский берег и думал сразу об отце и об этом неизвестном ему раньше народе; и о странном человеке, который вдруг отчетливо выступил из тумана младенческой памяти; и о таком нескончаемом горестном дне, к исходу которого нельзя не прийти вслед за своей раненой душой в единственном кипящем и выжигающем стремлении, в своем праве и своей ярости; и о том мо-

⁶ Огълан – сын, сынок(караим.)

менте, когда вот так невозможно становится поднять руку и убить.

Огромный, очертившийся корабль уже без груза с протяжным гудком уходил от берега в море.

* * *

В это время старик прикрыл глаза. Он давно отвык, что его седая голова может быть такой ясной и легкой, только пульс бьет чаще. Он на быстром и послушном жеребце мчится по степи. Жмурился от солнца, сбавляет шаг. Издалека он видит двух женщин. И сразу понимает, что это жена и старшая дочь с нежным именем. Поворачивает коня к ним. Они узнают его, радостно переглядываются, тянут к нему руки, почти касаются. И вдруг оказываются на кургане в нескольких сотнях метров. Он пришпоривает, яростно колотит пятками в горячие бока и чувствует, что коня под ним уже нет...

...Жгучие капли находят путь сквозь многие морщины. Солнце раскаленным шаром вкатывается в комнату. Так хочется вдохнуть еще раз, но привычно-густого солоноватого воздуха тоже нет. Самуилу удается скосить глаза и поглядеть туда, вбок. Страшный, вечно темный Угол переливается сверкающей на досках смолой. Выше под потолком тонко колышется паутинка.

И застывает в нестерпимом свету.

Зейферт Елена Ивановна

МАРК ФЕЛИКС

* * *

1941.

Марк Феликс сжимался, проглатывал себя в кувырок.

На языке воя он говорил с существами гуманнее людей.

Язык Марка Феликса рос и тёк. Перед рождением слова спинка его языка лизала нёбо, и для немца это было не-привычно и больно, ибо кончик языка упирался в нижние зубы вместо ожидаемых верхних, кланялся, был унижен. Марк Феликс сжимался, проглатывал себя в кувырок, с силой обнимал свои колени. В трудармии он перестал есть даже ту скучную пищу, которую давали, громко выл, низко опустив голову в колени. В такой позе его, советского немца, бросали в кузов машины и везли на работы в шахту. Ему пытались всучить орудия труда, а он калечил ими себя и других. Штрек его зрения сужался, Марк Феликс начинал истощенно кричать, постепенно выбиваясь из сил, теряя сознание. Крик переходил в вой.

Нет, порой он пробовал и петь, но песня медленно стекала в горло и желудок, в плавильную лодочку его существа. Вой для него стал слаше пения, на языке воя Марк Феликс говорил с существами гуманнее людей и слышал их внятные ответы.

Уши его заливало смолой чужой людской злобы. Спохватываясь, он катался по земле, громко кричал, при попытке охранников успокоить его бросался на удары их сапог,

подставляя живот, рёбра, щёки. Борода его росла из клочков земли.

Его чудом не убили. Жизнелюбие пропитало неуязвимостью клетки его тела. Осознавал ли он сам, что был готов стать уродом, безумцем, мертвецом, лишь бы не принять условия незддоровой игры, которую затеяли с ним и его сородичами современники? Ему переломали кости и выбили зубы, пока не пощадили – отвезли, едва живого, изздыхать в окраинный карагандинский посёлок Транспортный цех. Выбросили из грузовика и уехали не оглядываясь, ведь смотреть умели только вперёд.

Марк Феликс дышал. Его окружала многоликая гора его языка, она дыбилась и была равна миру без Марка Феликса. Язык таял во рту, как яблоко, становясь едва уловимой аурой ангела роста и боли, живущего внутри семечка и прорывающего сильными руками железную кожу плода.

Солнце грело над карагандинской землёй, на горизонте пасся двугорбый верблюд терриконов.

Через час Марка Феликса нашла Марийка. Язык его вмиг обессилел, обмелел, а затем и обнажил сухое русло, и единственным светом для мужчины осталась её детская немецкая речь.

* * *

1941.

Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь.

Пора святить соль, воду, мел.

Для обитания ему определили сарай. Здесь раньше стояла корова. Стойло огорожено непрочными досками; серый песок кое-где на земляном полу, как пепел; внутрен-

няя стенка сарай обита дранкой. В углу поставили топчан, накидали туда тряпок.

Марку Феликсу всего девятнадцать. Поволжский мальчик, он учился музыке, когда его погнали в трудармию. Он оставил там разум.

Крупнокостный, очень худой, Марк Феликс сначала лежит, не поднимая головы, дико смотрит на редких посетителей, но, когда вбегает Марийка, едва заметно волнуясь, узнаёт её глазами. Девочка кладёт ему в рот хлеб, но он не может жевать его. Она поит его молоком, Марк Феликс пробует поднять голову, ему не удаётся; молоко льётся мимо рта. Он натужно кашляет, лицо его не багровеет, а становится розовым, как у ребёнка. Лидия даёт Марийке маленькую лейку, и девочка поит Марка Феликса из носика, воркуя, раздуясь каждому его глотку.

Только через три месяца он встаёт на ноги. Теперь он буйный. С отросшей львиной гривой, рыча, ощеривая осколки зубов, он лютует, бросается на тонкую перегородку в сарае, разносит её в щепы, ломает доски стойла. Плачущий, размытый, колкий, он царапает себе лицо, отбрасывает от себя чьи-то крылья.

Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь. «*Man muss spinne, spinne!!! Spinne!*¹» – Марк Феликс вспоминает ловкие руки матери. Она, в тесном кружке других молодых замужних женщин, прядёт², и рассказывает истории о доб-

¹ Нужно прядь, прядь!!! Прядь! (пер. с диалекта поволжских немцев)

² Прядение было важнейшей зимней работой для немецких женщин

рых духах; он слушает, открыв рот. Паук³ занимает собой весь потолок сарая.

– Hosanna! – поёт паук, становясь то меньше, то больше. – Sieh, dei Heil kommt!⁴

Марк Феликс ему не верит, сilitся открыть глаза. Ему не нравится слово Heil.

– Dreh dich, dreh dich, Räde⁵, – напевает Марк Феликс и уже ищет глазами уютный угол, поднимая обломки досок, пробуя собрать из них ясельки. Находит воображаемую солому, устилает ею дно яслей. Пусть младенцу будет мягче. Его уже встречают: в волосах Люции укреплены свечи, воск капает на её свадебное платье; Николаус надел цепь на шею; Бальтазар протягивает звезду на длинной палке. А советские немцы обвешаны коровыми колокольчиками, и русские окропляют их святой водой. Ох, пора святить соль, воду, мёл, писать на парадных дверях святые слова, солить хлеб для животных. Нельзя работать! Можно лишь готовить пишь и кормить скот! Испеките хлеб из лучшей белой муки. Приготовьте свиные колбасы с квашеной капустой. Пусть к вам придёт Кристкинд⁶ – в белом сиянии, с восковыми цветами на голове, в длинных белых рукавицах. Марк Феликс садится на корточки и громко воет. Зима на улице лютует, звенит цепями, щёлкает кнутами, стреляет, трубит, поёт сerenады. Надрывно кричит полумесяц. В сарай входит не-

³ Die Spinne (нем.) – паук, spinnen, spindeln (нем.) – прядь

⁴ Осанна! Вот твоё спасение! (пер. с диалекта поволжских немцев)

⁵ Dreh dich, dreh dich, Räde – вертись, колесо (из нем. прядильной песни)

⁶ Люция, Николаус, Бальтазар, Кристкинд – неизменные персонажи немецких рождественских обрядов

сколько пожилых казахов; их дома по соседству. Они шепчутся между собой, советуются, как помочь Марку Феликсу, добродушно жалеют его, похлопывают по плечу, кладут в руки ему лепёшки и курт.

Когда они покидают сарай, он вдруг выбегает следом и уже боится возвращаться домой. Казахи машут ему руками, но он угрожающе рыдает, падает на колени в снег; они уходят. Ему кажется, что кто-то запер изнутри дверь. Да, да! Большое ухо на внутренней стороне двери: чужак слушает, чтобы напасть на хозяина сарая. Пятясь, Марк Феликс уходит в глубокую карагандинскую ночь. Её жерло не знает времени. Марку Феликсу страшно, он испугался Бога.

Младенец Христос, дрожа всем телом, встаёт из яслей, он держит на руках другого младенца, у того жар. Праздник света. Во тьме неспасённого мира расцветает костёр. Луч бьёт в колодец сарая.

* * *

1942.

Человек как розовый лепесток в воздухе или в меду.

Марк Феликс забивает себе рот сухой землёй.

И в нищете можно окружить себя душевно избыточным. Границы Марка Феликса опять исхожены, он перестаёт отличать золото от глины, еду от воздуха, розу от поцелуя. Взгляд его зацепился за землю.

Пока ему приходится в основном жить на улице. Он перепачкан, чужая одежда на нём изношена, он ударяется о взгляды, как голый. Марк Феликс пытается закрыться, истаять. Женщины со всей Михайловки несут ему хлеб, молоко, папиросы. Он не хочет внимания. Марк Феликс поднимает-

ся с земли, проводит рукой по грязным, шёлковым ниткам своих волос, стряхивая с них солому, красные листья карагача, нехотя принимает дары... Папиросы самые дешёвые. Серые глаза его благодарно грубоют от серого дыма.

Марк Феликс давно заприметил домик на Нижней улице, старенький, с прогнувшимся потолком. Его тянет туда. Марийка обещает отвести его в заветное место. Эта фарфоровая девочка с ведёрком в руках, на дне которого картошка и морковь. Кроха. Советская немка. Та, что прошептала ему: «Ты, Марк Феликс, не наш. Ты городской». А король-то голый.

И вот сбылось. Келейник молча приглашает его войти. Это не монастырь и не церковь, пол в домике мазан жёлтой глиной, ни на стенах, ни на узеньких подоконничках нет икон. Марк Феликс горбится, он каждой мышцей осознаёт, что слишком рельефен и обнажён, и в его пустых руках щит. Он не знает, куда положить руки, как спрятать за длинными ресницами испуганный взгляд. Севастиан говорит мягко и скучно. Его мысль мерцаet между двумя полюсами – как оставаться собой в душевном достатке и как драгоценна потеря ненужного. Когда лепесток розы попадает в мёд, ощутить аромат цветка может только человек, чьи лучшие качества вогнуты и в любой момент готовы к рождению в мир. Человек и сам то драгоценен, то вторичен, как розовый лепесток в воздухе или в меду. Марк Феликс не понимает по-русски. Но он слышит, едва ли не лёгкими, вдыхающими звуки.

Батюшка берёт в руки чёрный хлебушек и тонко режет его на равные полоски. Несколько из них он кладёт перед Марком Феликсом, заваривает ему чай в железной кружке, оставшиеся кусочки хлеба заворачивает для гостя в тряпичку.

Севастиан – бывший лагерник, в заключении он был хлеборезом и возил воду на быках. Он улыбается, и Марк Феликс впервые замечает вокруг Караганду. Этот град дарован Севастиану Божьим промыслом и умещается в мимической трещинке у его губ.

Как до святыни, с высоты своего роста, инстинктивно поднимаясь на цыпочки, Марк Феликс дотрагивается до скуфейки на голове крохотного Севастиана, и, словно ребёнок, плачет, лицо его становится сморщенным и некрасивым. Он бросается в сад возле домика, жадно берёт в руки сухую землю, забивает ею себе рот, сладко жует её, наклоняет голову и сыплет карагандинскую землю в левое ухо. Его отросшие волосы играют с солнцем.

Под землёй рождается новая корневая система.

* * *

1942.

Ресницы его теперь цвета губ, цвета языка.

Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу и задирать к нему голову в поясном поклоне.

Эта степь теперь и летом холодит внутренним, замершим в упрямом ползке ноябрём. Марк Феликс руками роет в ней нору, среди умерших, среди потерявших речь. Их родные и близкие по весне содрали с земли дёрги, чтобы построить себе жилища. Мёртвые, уже ничему не удивляясь, спрятались глубже. Караганда не для всех становится домом. Но разве поволжский лес был бы гостеприимнее?

Марк Феликс, отогревая, дует на свои пальцы, в земле и крови, он ощупывает ими лицо в поиске себя, ресницы его теперь цвета губ, цвета языка... Огрубевшие пальцы потихоньку добираются до волос, ему, советскому немцу, кажется,

что на голове клубок, а на самой маковке драгоценный крест, из которого бежит, пузырясь, энергичная река, извечно мельтешение её ног... Марк Феликс осторожно снимает с себя головной убор. Нет, это одноглавая церквушка, серозолотая, она быстро уменьшается в размерах и становится с напёрсток. Марк Феликс с трудом прикасается к крохотному колоколу в стене её звонницы, подносит церквушку к уху, закрывает глаза, ждёт беззвучия. Однако звонари, погребённые в земле, без устали раскачивают невидимые Марку Феликсу колокольные языки.

Он достаёт из кармана тряпицу, в которую утром батюшка Севастиан укутал для него немного хлеба, кладёт кусочек в рот, жует, не глотая, вынимает хлеб изо рта и затыкает мякишем отверстия в звоннице.

Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу и задирать к нему голову в поясном поклоне.

Сухая карагандинская степь лоснится жирным боком, готовится хоронить храмы, которых нет, лишать колокола тишины. Она прозрачна, в ней рыбы тушки мертвцов, сморщеные семена, дикие корни. Марк Феликс встаёт с колен, не отрывая взгляда от церквушки в ладонях, озирается по сторонам, стонет, бормочет молитву на немецком языке.

Страх гонит его прочь отсюда, в маленький сад у дома, кажущегося храмом. Он хочет бежать, но лишь медленно-медленно идёт, а мнится ему, что бежит. Домик на Нижней улице в солнечных пальцах, в заплатах. Марк Феликс входит во двор с испуганным лицом, огромный, мешком опускается перед низеньким Севастианом на колени, кладёт церквушку на его скучью и вдруг радостно понимает, что церквушки этой нет, а свет от неё сияет.

Зиганшин Камиль Фарухшинович

ЩЕДРЫЙ БУГЕ

ВЛАДЕНИЯ ЛУКСЫ

*Здесь у костра не хвастают, не лгут,
не берегут добро на всякий случай...*

Юра Сотников

Под нами величественная панорама безлюдной, дикой местности: хребты, межгорные впадины, быстрые пенистые речки. В той стороне, куда мы летим, особняком возвышается плотная группа скалистых гольцов.

Пассажиров в вертолёте двое. Я и мой наставник Лукаса, удэгеец лет пятидесяти.

Опытный промысловик расположил меня к себе с первого взгляда. Невысокий, худощавый, подвижный. Сильные руки, словно кора старого дерева, испещрены трещинками морщин и перевиты набухшими венами. Мороз, ветер, солнце, дым костров продубили его скеластое лицо с реденькой растительностью на верхней губе и подбородке. В чёрных прямых волосах несмелый проблеск седины. Живые тёмно-карие глаза, словно магниты, невольно притягивают взор. Впечатление такое, что они всё время смеются, радуясь жизни. Глядя в них, и самому хочется улыбнуться.

Он сидит напротив и успокаивающе поглаживает собак. Я же с волнением всматриваюсь в проплывающие под нами кряжи древнего Сихотэ-Алиня и никак не могу поверить в то, что моя заветная юношеская мечта исполняется: я

принят на работу в Лазовский госпромхоз Хабаровского края штатным охотником и скоро окажусь на промысловом участке, охватывающем бассейн ключа Буге – левого притока реки Хор...

Вертолёт вошёл в крутой вираж и, сделав два круга, мягко опустился на заснеженную косу, отделяющую устье ключа от реки. Собаки, Пират и Индус, ошалевшие от грохота двигателя, спрыгнули на снег, едва открылась дверь. Мы же, прежде чем выйти, сбросили на косу нехитрый багаж. МИ-4 прощально взревел и, обдав колючим вихрем, взмыл.

Мы огляделись. Над нами торжественно и необъятно высоко голубело небо с удаляющимся вертолётом. На снегу ни единого следочка. Мне даже подумалось, что это чистый лист бумаги, на котором предстоит записать историю охоты длиной в сто двадцать дней.

Вокруг громоздились типичные для этих мест круто-бокие сопки, щетинящиеся, словно растревоженные ежи, островерхими, тёмными елями и более светлыми, разлапистыми корейскими кедрами. На противоположном берегу, над Хором, нависает отрог, обрывающийся в речную гладь неприступной двухсотметровой стеной. Его гребень украшают огромные, источенные временем каменные иглы и зубчатые башни, напоминающие развалины старинной крепости.

Хор ещё не встал и тянулся холодной, чёрной лентой, разрезая белое покрывало. Сквозь прозрачную воду были видны лежащие на дне пёстрые, обезображеные брачным нарядом и трудной дорогой к нерестилищу, кетины. Уровень воды в реке упал, и часть рыбин оказалась на галечном берегу. Наши собаки тут же воспользовались возможностью

полакомиться. В их довольно урчании слышалось: «Райское место! Тут голодать не придётся!»

* * *

Так получилось, что Лукса в преддверии сезона остался без напарника. Его товарищ Митчена, деливший с ним радости и невзгоды промысловой жизни в течение многих лет, потерял зрение и перебрался к дочери в райцентр – Переяславку. Это обстоятельство меня и выручило. Лукса, правда, не без колебаний согласился взять городского, неопытного очкарика на свой участок.

Хотя день только начинался, наставник поторапливал: предстояла большая работа по обустройству становища.

Взбираясь на берег, услышали задорный посвист. Его невозможно спутать ни с каким другим лесным звуком – рябчик! Судя по мелодии, петушок. Лукса движением руки остановил меня, а сам спрятался за ствол ели и, достав самодельный манок, ответил более глухим переливом курочки. По треску крыльев было понятно, что рябчик перепорхнул ближе. Удэгеец опять подсвистел. Хлопки послышались совсем рядом. Тут и я разглядел петушка. Вытянув шею и нетерпеливо переступая по ветке берёзы, он высматривал погружку.

– Живой, – радостно прошептал охотник. – Четвёртый сезон так встречает. Совсем свой стал.

Луксин «свойк» подлетел ещё ближе и с явным интересом разглядывал нас. Вынырнувший из кустов Пират, не разделяя чувств хозяина, с лаем запрыгал под деревом. Рябчик встрепенулся и, спланировав, растворился в буреломной чаще.

Надо сказать, наши четвероногие помощники резко отличались друг от друга. Пират – рослый, нахрапистый, с хорошо развитой мускулатурой, быстрой реакцией и нахальными глазами. Индус, напротив, – вялый, тщедушный. При появлении Пирата он поджимал хвост и отходил в сторону. Столь же резко собаки различались и по окрасу. Пират белый, только кончики подвижных ушей и хвоста чёрные, а Индус серо-бурый. Попал он в нашу компанию случайно. Когда мы загружали в удачно подвернувшийся вертолёт мешки со снаряжением и продуктами, на краю поляны сидел и наблюдал за нашей беготней одинокий пёс. Я на ходу кинул ему кусок хлеба. Тот, не жуя, проглотил его и бочком, не сводя с меня грустных глаз, подошёл к трапу.

– Быстрей поднимайся, летим, – крикнул мне Лукса.

Оказавшись в салоне, я оглянулся. Собака молча, одними глазами, просилась к нам.

– Может, возьмём? Вдруг у неё талант к охоте?

– Бери, бери. Пиратке веселей будет, – согласился Лукса.

* * *

Перетаскав вещи к становищу, занялись дровами. Двуручной пилой кое-как свалили стоявший неподалёку сухостойный кедр. Отпилили и раскололи несколько смолистых чурок. Комель был настолько насыщен смолой, что полено, брошенное в воду, утонуло бы. Отвалившиеся от ствола куски красноватой, ребристой коры изнутри были усыпаны личинками, куколками – что-то недоглядели дятлы за лесным патриархом. На ночь кедр не годился – быстро сгорает. Поэтому напилили ещё и сырого ясеня. Он горит долго и даёт много жарких углей.

Очистив на небольшом пятаке, свободном от кустов, землю от снега, поставили удэгейскую палатку с матерчатыми сенями вроде половинки небольшого чума. (В них удобно хранить дрова и капканы.) Главной особенностью удэгейских палаток является то, что она устанавливается не с помощью стоек и колышков, а крепится внутри каркаса из жердей. Очень удобная конструкция для зимы, когда колышки в промёрзшую землю забить практически невозможно.

Посреди палатки поставили жестянную печурку. По обе стороны от неё накидали лапника, расстелили кабаньи шкуры, поверх них – спальные мешки. Отпиленную от ясения низенькую, но увесистую чурку-столик пристроили в головах между спальниками. Слева и справа от печурки уложили сырые ольховые брёвнышки: чтобы спальники и одежда не подгорали. Под коньком закрепили перекладину с крючьями для сушки одежды. Закончив обустройство жилища, смастерили между тремя пихтами на высоте около двух метров настил для хранения продуктов – лабаз, а под ним шалашики для собак из мягких ветвей пихты.

Индус тщательно обследовал обе «конуры» и лёг в ту, что счёл удобней. Заслышав приближение убежавшего было Пирата, он притворился спящим. Но тот не проявил ни малейшего интереса к пихтовым гнёздам, а усевшись возле груды дров, принялся выкусывать кусочки льда, намёрзшие между подушечками пальцев.

Завершив «строительные» работы, мы, довольные проделанным, уселись на поваленную сушину отдохнуть и полюбоваться на закат.

Золотистый свет уходящего солнца плавно скользил по снегу, стволам деревьев. Поднимаясь всё выше и выше, он выманивал из глухих распадков и ложбин таившуюся там серую мглу. Ряд за рядом темнели деревья, сопки. Вот потемнела и макушка самой высокой. Лёгкие облачка ещё некоторое время отражали прощальный свет солнца, скрывшегося за обгорелыми зубцами сопок, но и они вскоре потускнели, погасли. Нарождающаяся ночь осмелела, выползла из мрачного ущелья, укрывая всё окрест чёрным покрывалом. Тайга и небо слились. Неясные силуэты деревьев проступали только вблизи, принимая самые фантастические очертания.

Проводив день, забрались в палатку, зажгли свечу. Лукса набил чрево печурки поленьями и запалил смолистую щепу. Железные бока вскоре порозовели и стали щедроозвращать накопленное кедром за добрую сотню лет солнечное тепло.

Приятно запахло хвоей. Палатка постепенно наполнялась жилем духом. Заварив чай, устроились пить живительный напиток вприкуску с сухарями.

– Лукса, вы столько лет охотитесь на этом участке. А почему зимовья до сих пор нет? – задал я давно вертевшийся на языке вопрос.

Бросив исподлобья сердитый взгляд, охотник пробурчал:

– Было зимовье... Вместе с Митченой рубили. Летом на рыбалку приплыл – одна зола. Туристы сожгли, ёлка-моталка. После охоты, как вода спадёт, новое рубить буду. Место присмотрел. Вверх по ключу, километра два отсюда. Там никто не найдёт...

Сам я – заядлый турист, и мне стало не по себе. К сожалению, в походы ходят не только романтики, любящие природу, но и те, для кого она – объект для развлечений.

Разморённые теплом и горячим чаем, повалились на ватные спальники. По брезентовым скатам палатки уютно плескались блики света, пробивавшегося сквозь щели печурки.

– Что-то потно стало. Подними полог, – попросил Лукса.

Пахнуло морозной свежестью. Спать расхотелось, и мне показалось, что настал подходящий момент расспросить удэгейца о его самобытном лесном племени, кочевавшем прежде в глухи сихотэ-алинской тайги. Трудно поверить, но из-за оторванности от внешнего мира эти люди ещё совсем недавно жили по законам родового строя.

В ответ на мою просьбу Лукса вынул изо рта короткую трубку, с минуту помолчал, собираясь с мыслями, и стал неспешно вспоминать.

Я слушал и живо представлял картины недавнего и в то же время такого далёкого прошлого.

... С десяток крытых корой чумов, прилепившихся к подножью кругобокой сопки на берегу порожистой реки Сукпай. Над кострами дымятся котлы. Вдоль косы, между навесов с юколой, бегает черноволосая ребятня. Женщины отминают, коптят шкуры зверей, тайменей. У одной из них в удобной заплечной люльке сладко спит младенец. В чумах, в женской половине, старухи шьют улы⁷ и одежду, ладят берестяную посуду. Тут же, на кабаньих и медвежьих шкурах, ко-

⁷ Улы — кожаная обувь с суконным голенищем.

пошится мелюзга – будущие охотники. В тени деревьев старики, ловко орудуя топориками, мастерят – кто лёгкие нарты, кто ходкую оморошку⁸. Молодые мужчины ушли с собаками на охоту. Мало кто из них вернётся с добычей. Тайга хоть и богата, копьём много не добудешь, а для нескольких ружей, купленных у торговых людей на Амуре, давно нет боеприпасов.

Время от времени племя потрясали опустошающие эпидемии, разбойничьи нападения жестоких хунхузов⁹, межродовая вражда...

Меж тем негромкий голос Луксы продолжал:

– Как дошла Советская власть, стало легче. Бесплатно дома строили, карабины, патроны, продукты, посуду, инструмент давали. Передвойной хозяйства на Саях и Джанго были. Я в «Красный охотник» на Саях записался. Теперь там никто не живёт – всех в одно хозяйство согнали, ёлкамоталка. Ниже Джанго Гвасюги построили. Зачем так делали? До участков совсем далеко стало.

– Погоди, ты же говорил, что ваш род по Сукпаю кочевал?

– Оттуда я ушёл ещё мальчишкой, сразу как отца с матерью после большой болезни потерял. Матьшибко любил. Её украшения с ней в могилу положил. Осеню двуногий шатун могилурыл и всё унёс! Как лёд сошёл, в Тигровой протоке кое-что нашли в карманах утопленника. У меня сохранилось только вот это.

⁸ *Оморошка* — маленькая долблённая лодка.

⁹ *Хунхузы* — китайские разбойники, грабители.

Лукса расстегнул ворот рубашки и показал висевшую на шее небольшую серебряную фигурку улыбающегося человечка с узкими щёлочками глаз и пухлыми щеками. Судя по размеру живота и халату с замысловатыми узорами, человек этот был не бедный. На поясе, в углублении, таинственно мерцал какой-то камешек, а на спине четыре иероглифа.

– Что здесь написано?

– Не знаю. Спрашивал у экспедиции, тоже не знают. Просили дать «китайца» показать учёному. Но как дашь? Память! Главный знаки срисовал. Обещал написать, да забыл, пожалуй...

Бесспорно, многое изменилось в жизни удэгейцев, но основные занятия остались прежними. Летом охотники заготавливают панты¹⁰, женщень, элеутерококк, кору бархата амурского, ягоды лимонника, брусники, клюквы. Осенью ловят рыбу. Зимой на закреплённых за каждым штатным охотником участках промышляют пушнину, заготавливают мясо диких зверей.

Бывалый промысловик, взволнованный воспоминаниями, курил трубку за трубкой. В палатке слоился сизый дым.

Я вышел подышать свежим воздухом и застыл, потрясённый увиденным.

Полная луна заливала тайгу невообразимо ярким светом. Небо не чёрное, а прозрачно-сиреневое, и на нём не сыскать ни единой звёздочки. Кедры вокруг – словно бы-

¹⁰ *Панты* — неокостеневшие рога изюбря, пятнистого оленя, марала. Народная медицина считает, что панты возвращают молодость, изгоняют хворь.

лиинные богатыри. В просветах между ними мерцают бриллиантовыми искрками крупные снежинки. Река перламутром выливается из-за поворота и, тускнея, убегает под хребет, заглатывавший её огромной каменной пастью. Боже, я попал в сказку!

Кликнул Луксу. Он тоже потрясён и что-то шепчет на своём языке. Притихшие, вернулись в палатку, однако, не выдержав, я вновь вышел и долго стоял среди этой неземной красоты. От избытка чувств вонзил в тишину этой необычной ночи полурёв-полустон. Эхо, недовольно откликнувшись, долго металось по распадкам и стихло в сопках.

ОДО АКИ

Декабрь трудится изо всех сил. Третью неделю стоит небывалая стужа. Воздух лежит неподвижным тяжёлым пластом. Слабые лучи зимнего солнца не в силах согреть оцепеневшую тайгу. Но, несмотря ни на что, к полудню всё-таки просыпаются, ожидают её обитатели. Они хорошо приспособлены к жизни в студёную пору. Вон, даже крохотные синички, хлопотливо попискивая, потрошат старое дерево за лабазом.

Особенно холодно сегодня. В лесу гремит настоящая канонада: это лопаются от мороза стволы деревьев.

Весь день ходил по целине. Бил ещё один путик к истокам Буге – надеялся найти более богатые угодья. Соболя там действительно есть, но всё же в среднем течении их куда больше.

Чем выше по Буге, тем чаще наледи. Наледь – явление, характерное для горных ключей. Зимой, во время сильных морозов, большинство из них промерзает до дна, и грунтовая вода дымящимися родничками просачивается на по-

верхность льда. Растрескавшись, она намерзает слой за слоем. Так со временем образуются обширные ледяные поля, заливающие порой долину на высоту до полутора метров. По краям образуются красивые ступенчатые ледопады. Иные наледи, не успевая растаять весной, белеют среди зелени чуть ли не до июля.

В верховьях долина поднимается заметно круче. Сопки едва расступаются, пропуская ключ, сбегающий по каменным ступенькам оледенелыми водопадиками.

Обходя сошедшие со склонов снежные лавины, вынужден был петлять в теснине от одной скальной «щеки» к другой.

Вокруг ни одного кедра. Только сумрачные ели и пихты. Тайга здесь имеет девственный облик, но животный мир крайне беден. Снежный покров не оживляли ни наброды изюбрея, ни кабанов, ни косуль. Одна лишь кабарга полностью властная хозяйка. Даже ветер тут редкий гость. Снег как лёг с осени на деревья, так и лежит – толстый, слоистый, словно кабанье сало. Этот путник я нарёк «Глухим».

Если верить термометру, сегодня утром было минус тридцать девять. Недаром про здешние места говорят: «шишбота крымская, долгота колымская». В морозные дни больше всего ногам достаётся. Когда ставишь капкан, они застыают до бесподобности, и потом идёшь, будто на деревяшках, пока кровь вновь не оживит их.

Иду себе, иду и вдруг сверху вниз скользнула чья-то тень. В общем-то, явление привычное: комки снега часто срываются с ветвей даже в безветренную погоду, но меня озадачила странная траектория – тень двигалась наискосок. Обернувшись, увидел планирующую летягу.

Зимой этого необычного зверька я лицезрел впервые, а вот помёт у комлей деревьев попадался часто. Это и понятно: летяга ведёт ночной образ жизни. Во время летних походов мы с Юрий вечерами, сидя у костра, раза три наблюдали, как летяга, прижавшись к стволу дерева, замирает и подолгу неотрывно смотрит на пламя. Внешностью и повадками она похожа на белку, но отличается тем, что по бокам тела между передними и задними лапками имеются складки кожи, покрытые шёрсткой. На окружной головке этого тёмно-серого с серебристой остью зверька выделяются крупные, выпуклые глаза.

Летяга не прыгает по деревьям, как её родственница, а забравшись по стволу на вершину, бросается вниз. При этом кожаные складки расправляются наподобие крыльев. В полёте летяга может совершать крутые виражи, а снижаясь по прямой, пролетать до ста метров.

Из литературы мне было известно, что и соболь тоже ведёт ночной образ жизни. Но как тогда объяснить сегодняшнее? Утром в нижнем течении ключа свежих следов не было, а к вечеру, когда я возвращался, появились зигзагообразные строчки мышковавшего соболя. В том, что он ходил после меня, не было сомнений – отпечатки были даже на лыжне. По всей видимости, звери более пластичны. Их активность зависит от погоды, наличия пищи и, возможно, ещё каких-то причин. Лукса считает, что светлые соболя охотятся днём, а тёмные – ночью. В этом суждении тоже есть резон. Солнечные лучи действительно освещают мех.

К утру выпала «печатная» пороша. Одна из тех, когда оттиски следов, так чётки, что кажется, приглядись и увидишь тень прошедшего животного.

Моя меховая копилка пополнилась половинкой самца шоколадного цвета – вторая, как нетрудно догадаться, досталась мышам. Одна беда от этих пакостниц. Но куда деваться, приходится терпеть, без них тайга сильно оскудеет. Ведь они – основная пища большинства её обитателей.

Впереди меня ожидал приятный и волнующий сюрприз. Было сравнительно тепло, и снег почти не скрипел. Моё внимание привлек тёмный бугор, резко выделявшийся на белом фоне. Кабан?.. Вертлявый хвостик развеял сомнения. Точно – кабан! Поодаль, посреди низкой террасы, разглядел ещё несколько тёмных спин. Табун пасся на хвоще.

Горка зашевелилась, показалась длиннорылая морда с высоко торчащими ушами. Втянув воздух, кабан замер. Я затаил дыхание. Через несколько секунд голова исчезла, и до моего слуха донеслось чавканье.

Тихонько снял ружьё, тщательно прицелился и, когда кабан вновь поднял голову, выстрелил. Табун переполошился и в неописуемой панике, оглашая тайгу пронзительным визгом, рассыпался в разные стороны. А раненый зверь, волчком завертевшись на месте, поднял такой столб снежной пыли, что некоторое время исчез из виду.

Жизнь не хотела покидать сильное тело. Клацая клыками, секач попытался приподняться, но после второго выстрела затих.

Поняв, что кабан убит, я от радости очумел: дико захрапил и запрыгал, как дикарь. Немного успокоившись, осмотрел добычу. Это был довольно крупный, матёрый вепрь. Грозно поблескивали две пары желтоватых клыков. Нижние трёхгранники, изогнутые как турецкие сабли, торчали из челюсти на все двадцать сантиметров. Более корот-

кие, верхние, загибались настолько круто, что, соприкасаясь с нижними, заточились до остроты ножа. Большое клинообразное тело покрывала жёсткая чёрно-бурая щетина, особенно длинная на загривке.

Пока кабан не остыл, приступил к свежеванию. Поскольку к началу гона у самцов под кожей на загривке образуется хрящ или, как говорят охотники, «броня», дело это оказалось непростым. Отмучившись, с трудом засунул в рюкзак голову секача и увесистый шмат ляжки. Всё остальное засыпал снегом. Охотничья удача сняла усталость. Шлось легко.

Лукса, узнав, что я принёс свеженины, закряхтел от удовольствия. По-быстрому нарезали, нажарили мясо и, поставив остальное вариться в кастрюле, сели пировать. Сквозь поджаристую корочку, подогревая и без того волчий аппетит, соблазнительно сочились янтарные капли жира. Сковорода быстро пустела. Последний кусок Лукса бросил собаке:

– Держи, Пиратка. Может, твоего обидчика едим.

И, обращаясь ко мне, пояснил: – Прошлый год один секач ему брюхо распорол. Думал, пропал пёс, ёлка-моталка. Хотел пристрелить. Ружьё поднял, а он смотрит так преданно... Верит, что не обижу. В котомке в зимовье принёс. Снял с лабаза полосу сухожилий. Наделал ниток. Пасть стянул верёвкой, чтоб не кусался, выстриг шерсть и заштопал брюхо. Ничего, заросло!

– Лукса, я вот не пойму, сухожилия толстые, как из них тонкие нитки получаются?

– Что непонятного? Высохшие жилы видел? Если их помять, они на тонкие стрелки делятся. Бери их и скручивай

нитку. Самые крепкие нитки с ног получаются. С хребта слабже.

Было уже около десяти вечера, когда мы услышали приближающееся ритмичное поскрипывание лыж. Возле палатки они замерли.

– Кто там? – спросил я.

– Своя, своя люди, – негромко ответил голос. Было слышно, как подошедший отряхивается от снега.

– Нибода эмэкте¹¹? – повторил на удэгейском вопрос Лукса.

Вместо ответа полог палатки распахнулся, и в чёрном проёме показался человек. Я сразу узнал его, хотя шапка-накидка, редкие усы и бородка были густо покрыты инеем, белизна которого резко контрастировала со смуглой кожей и карими глазами. Это был одо Аки – дедушка Аки. Его губы, склеенные морозом, разошлись в приветливой улыбке.

– Багдыфи¹²! Би¹³ мал-мало гуляй. Отдыхай ноги надо, – на смешанном языке тихо проговорил он.

– Багдыфи, багдыфи! – ответил Лукса.

Я, освобождая место гостю, пересел к выходу и подбросил дров в печурку. Аки пробрался на освободившееся место и, украдкой поглядывая на меня, стал выдергивать из бородёнки ледышки.

– Ноги туда-сюда мало ходи, – посетовал он.

¹¹ *Нибода эмэкте?* – Кто пришёл? (удэг.)

¹² *Багдыфи* – Здравствуйте (удэг.).

¹³ *Би – Я* (удэг.).

Я про себя подумал: «Вот это «мало ходи» – в семьдесят восемь лет прошёл двадцать пять километров от своей зимушки до нас по труднопроходимым торосам Хора!»

Переведя дух, Аки разделся. Улы и верхнюю одежду закинул на перекладину сушиться. Лукса налил ему наваристого бульона, достал из кастрюли мяса и подал кружку с разведённым спиртом. Узенькие глазки деда сразу оживились:

– Айя! Acaca!¹⁴ Однако не зря ходи к вам.

Приняв «разговорные капли», он повеселел. Простодушный, доверчивый, никогда не унывающий старик с детскими ясной и чистой, как ключевая вода, душой был одним из тех аборигенов Уссурийского края, которых описывали ещё первооткрыватели этих мест. В его суждениях, как в зеркале, отражалась история и мировоззрение маленького лесного народа. (Лукса был почти на тридцать лет моложе, и его поколение уже во многом утратило национальную самобытность.)

Познакомился я с одо Аки в Гвасюгах ещё до начала охотничьего сезона, когда пополнял свою этнографическую коллекцию. К тому времени у меня уже были интересные приобретения: копья разных размеров, деревянный лук, стрелы с коваными наконечниками, женские стеклянные и медные украшения; охотничья шапка-накидка и ножны, расшитые разноцветными узорами. Прежде удэгейцы на своей одежде вышивали орнаменты с тонким изящным рисунком. Глядя на них, не перестаёшь восхищаться мастерством и художественным вкусом вышивальщиц. Колорит-

¹⁴ Айя! Acaca! – Хорошо! Спасибо! (удэг.)

нейшие вещи! К сожалению, в Гвасюгах осталось всего несколько старушек, владеющих этим искусством, но и те из-за слабого зрения вышиванием почти не занимались. Находок было немало, но я лелеял надежду обогатить коллекцию настоящим шаманским бубном. Такой бубен в стойбище был только у Аки, который и сам втихоря камланил¹⁵, и все его предки были шаманами.

Идти одному к самому уважаемому в стойбище человеку было неловко, и я уговорил Луксу пойти вместе со мной. Постучались. Дверь открыла дочь. Одо Аки сидел на низкой скамейке и укладывал сухую мягкую траву хайкту в улы. Маленький, с невесомым телом старичок смотрел прямо и открыто, но на мою просьбу ответил категорическим отказом. Насупился и даже убрал с полки сэвохи – деревянные изображения удэгейских духов. И только после долгих переговоров с Луксой согласился лишь показать бубен.

Достав берестяной чехол из-за шкафа, Аки осторожно вынул из него родовую реликвию. Любовно погладил тугую с заплатами шкуру и несколько раз с расстановкой ударил по ней подушечками пальцев, вслушиваясь в вибрирующие звуки. Мы притихли.

Держа бубен на весу, с помощью двух скрещивающихся ремешков, сплетённых из сухожилий, старик погрел его над плитой. Взял в руку гёу – кривую колотушку, обтянутую полоской шкуры с хвоста выдры, и, прикрыв глаза, начал священнодействовать – камланить. От низких, мощных звуков меня охватило смятение и странная готовность повинов-

¹⁵ Камланить – исполнять ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубен, во время которого шаман, приходящий в состояние экстаза, общается с духами.

ваться. Идти туда, куда зовёт этот потусторонний гул. Казалось, это зов предков, ушедших в иные миры.

Поблагодарив старика, мы попрощались. На улице Лукса рассказал, что в Гвасюгах не раз бывали всевозможные экспедиции, но этот бубен Аки никому так и не отдал.

Забегая вперёд, скажу, что весной в дом Луксы, у которого я жил после выхода из тайги, пришла дочь одо Аки и сказала:

— Отец зовёт.

Когда я вошёл, он сидел на той же скамейке с бубном в руках:

— Камиль, я старый, сына нет. Бубну нужен молодой хозяин, которого любит Пудзя. Я знаю, и Лукса говорил — Пудзя тебя любит. Возьми.

Так последний бубен последнего удэгейского потомственного шамана оказался у меня. Через две недели одо Аки перекочевал к «верхний люди»: вышел колоть дрова, взмахнул топором и упал — сердце остановилось. Быть может, и бубен отдал, предчувствуя скорую «перекочёвку».

Теперь он висит у меня в комнате. Иногда я снимаю реликвию и, слушая глухие призывные звуки, вспоминаю Буте, Луксу, одо Аки. Но всё это произойдёт позже, а сейчас мы сидим в тесной палатке вокруг печурки.

Я заварил свежий чай и разлил в кружки. Подал сахар. Аки от него наотрез отказался:

— Чай вкус теряй, — заявил он.

Пили долго, не торопясь. Я расспрашивал гостя о его жизни. Великолепная память старика хранила много любопытного.

Он в мельчайших подробностях описывал события полувековой давности, помнил названия речушек и перевалов, по которым ходил ещё в начале века.

Когда разговор коснулся тигров, пожаловался:

– Куты-мафа моя собака война объявил. Прошлый охота два ел. Теперь последний чуть не давил. Моя увидел – ушёл. Страх любит собака. Собака ест – пьяный ходи.

– Аки, тигр собак давит, домашний скот давит, а людей не трогает. Почему?

– Моя так думай: люди закон прими, не убивай куты-мафа. Куты-мафа умный – тоже свой закон прими: люди не убивай.

От такой наивности я улыбнулся. Аки пристально посмотрел на меня.

– Пошто не веришь? Твоя не знай, как куты-мафа раньше люди убивай. Много убивай. Теперь не трогай. Почему? Ты своя башка думай!.. Куты-мафашибко умный, всё понимай...

Действительно, почему амурский тигр изменил свои повадки? Ведь в 19 веке он нередко был «волен» по отношению к человеку и, хотя старался избегать людей, не считал их неприкосновенными. Иные хищники буквально терроризировали обширные районы, поражая дерзостью и хитростью. Спасаясь от них, переселенцы с Украины и центральных районов России бросали свои хозяйства, уезжали по дальше от владений людоеда. Наглость некоторых зверей доходила до того, что они врывались ночью в избы и нападали на спящих.

В результате активной охоты на тигров их осталось на всей огромной территории Дальнего Востока не более трёх

десятков. Тогда, в конце сороковых годов двадцатого века, и был принят закон о полном запрете охоты на владыку Уссурийской тайги. С тех пор могучий хищник как будто переродился. Исчезли людоеды, реже стал страдать и домашний скот.

В чём причина изменения отношения тигра к человеку? Можно предположить, что те немногие, оставшиеся в живых, потому и уцелели, что именно они из сотен своих сородичей чётко усвоили: человек опасен, и если хочешь жить, избегай встреч с ним. Эта черта поведения постепенно закреплялась и на генетическом уровне передавалась потомству, став теперь отличительной особенностью всего амурского подвида. Так что рассуждения старого удэгейца не так уж и наивны¹⁶.

После чая старик вкрадчиво спросил:

– Ай бё¹⁷?

Это выражение мне было знакомо и перевода не требовало.

– Анчи, анчи. Элэ!¹⁸ – твёрдо ответил я, зная, что если не остановить, то старики будут бражничать до утра, а днём стонать от головной боли.

Покурив, охотники опять принялись за мясо. Аки ел, облизываясь, сочно причмокивая и облизывая пальцы. Ест, а сам бурчит:

¹⁶ Сейчас (эта книга переиздаётся в 2019 году) численность амурских тигров на Дальнем Востоке достигла 500 особей, что, в связи с вырубкой лесов и сокращением кормовой базы, может вынудить тигра к изменению этого уважительного стиля поведения.

¹⁷ Ай бё? – Водка есть? (удэг.)

¹⁸ Анчи, анчи. Элэ! – Нег, нет. Хватит! (удэг.)

– Не мог чушка убивай. Секач деревом пахни.

Мне не хотелось спорить. Я радовался замечательному трофею, тем более что клыки у него были как бивни!

Но удэгейцев терзали совсем иные чувства. Лукса, изучивший мой характер, начал издалека.

– Слыхал, на севере якуты огненный гриб жают. Они его с собой носят в кожаном мешочке.

– Какой такой гриб? – изумился Аки.

– Мухомор сушёный. Не всякий. Серый, кажется, го-дится. Захотел веселиться – пожевал. Говорят, лучше водки – голова утром не болит.

– О,шибко хорош гриб!

– Вот ты, Аки, – продолжал Лукса, – кабана ругаешь, а зря. Хороший кабан. Таких больших клыков я ещё не видел. Ты, Аки, наверно, тоже не видел?

– Чего так говори? – запальчиво возразил старик.

Но Лукса перебил его:

– Очень большой кабан. Давай, Камиль, выпьем за самого большого хорского кабана, – и с чувством поднял пустую кружку. Аки, так и не поняв хитрость сотоварища, наступил:

– Чего большой? Много больше гляди.

– Ох и хитрый шеф у меня, – засмеялся я.

– Хитрецы в стойбище спят, а дураки в лесу сидят, – парировал довольный Лукса.

Аки, поняв, наконец, ситуацию, преобразился: нетерпеливо заёрзal и стал искать глазами свою кружку:

– Твоя молодец, Камиль! Асаса! – примиряющее сказал он, выпив свою долю. – Беда, как хорошо. Дай, однако, табачку, моя кончался.

Воспользовавшись переменой настроения промысловика, я, протянув старику коробку «Золотого руна», спросил:

– Одо, вот вы все летом ходите, ищите женышень. А чем он так ценен?

Повеселевший старик не замедлил с ответом:

– О-о-о!! Женышень – корень учёный. Долго живи – много знай. Своя сила хороший люди дари. Плохой люди не дари.

Раскуривая трубку, Аки ненадолго примолк.

– Одна ночь, – продолжал он, – цветок гори яркий огонь. Эта ночь корень копай – любой болезнь лечи. Кто умер – живой делай. Однако эта ночь корень трудно копай. Дракон корень храни. Только смелый и сильный дракон победи.

– А вы верите в загробный мир?

– Чего такой? – заморгал старик.

Лукса, жестикулируя больше обычного, стал объяснять ему по-удэгейски. Вскоре тот понимающе закивал:

– Я так знай: умри – на небо ходи. Там все живи. Река, тайга, звери, верхний люди. Только обратно живи. Старика молодой делай. Моя тоже скоро туда ходи. Котомка готовил.

– А как вы попадёте туда?

– Я вход знай, где верхняя лыжня идёт.

– Какая лыжня? – не понял я.

– На небе лыжню замечал? Это лыжня к верхним людям. Там, где она в горы упирается, есть вход, – объяснил Лукса.

– А я читал, что у вас умерших на деревья кладут.

– Зачем деревья? Земля ложи. Бедный ложи берестяную кору, богатый ложи оморочку. Деревья только детка ложи. Земля детка ложи – мамка больше детка нет. Мамка роди, маленький юрта ходи, – продолжал разговорившийся Аки. – Одна промышляй. Шибко трудно роди. Моя старший мамка умри, детка умри.

– Так у вас, что, две жены было?

Аки внимательно посмотрел на меня.

– Мужика всегда два мамка бери. Самый худой мужика одна бери... Зачем так говори? Одна!

Поняв, что обидел старика, я сменил тему разговора.

– Аки, а вы к какому роду принадлежите?

– Киманко. Лукса – Кялундзюга. На Хоре два рода. Больше нет. Раньше люди много живи. После худой болезнь умри. Кто один тайга живи – живой ходи.

– И зверя, наверно, прежде больше было?

– О! Беда как много было, – возбуждённо закивал старый охотник. – Кабан, олень, куты-мафа, медведь много было. Только соболь мало. Ружьё не купи – дорогой, собака! Сангми¹⁹ делай. На большой зверь – большой сангми – «пау» делай. Зверя много, ружья нет – кушай мало.

– А сколько вы в те времена соболей добывали?

– Говорю – мало соболь. Два-три лови. Больше не лови. Соболь перевал живи. Шибко трудный охота. Один год пять лови. Второй мамка бери. Думал – ещё котёл, топор купи. Хуза всё брал. Что делай без ружья?!

Проговорив так допоздна, легли спать. А я ещё долго не мог заснуть, переживая заново события памятного дня.

¹⁹ Сангми – самострел (үдэг.)

ТАЁЖНАЯ АЗБУКА

Утром, пока разгорались дрова, Лукса успел одеться, умыться. Приготовив завтрак, он растормошил меня:

– Вставай, охоту проспишь.

Я вылез из спальника, размял затёкшие ноги и налил в эмалированную кружку чай.

– Чего не умываешься? – удивился Лукса.

– Холодно, – поёжился я.

– «Холодно, холодно», – передразнил он. – Как со вчерашним лицом ходить будешь? Тайга пугаться будет. Соболь уйдёт, ёлка-моталка.

Поневоле пришлось натягивать улы и выходить на мороз. Зачерпнул ключевой воды и обдал лицо. От первой пригоршни сжался, как пружина, – ох и жжёт! Вторую уже не почувствовал, а третья даже вызвала прилив бодрости. Настроение поднялось, захотелось поскорее приняться за дела. На дне ключа заметил золотистые чешуйки, вымытые водой из кладовых сопок. Интересно, что это за минерал? Подцепил на лезвие ножа одну пластинку и понёс показать Луксе.

– Я не понимаю в них, – простодушно признался тот.

– На золото смахивает.

– Может... Раньше китайцы мыли здесь. Такие чешуйки и в соседних ключах встречаются.

После недолгих сборов наставник повёл меня учить премудростям промысла пушнины.

Мягко ступая, он ловко лавировал среди деревьев: только суконная шапка-накидка мелькала в просветах между стволов. Мне приходилось то и дело ускорять шаг, чтобы не отстать. Большое преимущество в росте не выручало. Уме-

ние Луксы безошибочно выбирать самый удобный путь в густой чаще поражало. И если я пытался самостоятельно найти более короткий и удобный проход, то отставал ещё больше.

При ходьбе охотник не расставался со специальным ясеневым посохом – первойшей принадлежностью каждого удэгейца-промысловика. Выглядит он так: верхний конец широкий в виде лопаточки (она используется для маскировки капканов снегом), в нижний врезан кривой и острый клык кабана. Им тормозят и рулят при спуске с крутых склонов на лыжах.

С остановками миновав пойменный лес, полезли в сопки. По пути Лукса учил читать встречавшиеся следы, определять их свежесть.

Гладкий, округлый след, по его словам, бывает у здорового, упитанного соболя; узкий, неровный – у слабого, худого. У такого и шкурка плохая. Мех редкий, тусклый. У сильного соболя мах прыжков широкий, почерк стёжки спокойный, уверенный. В тёплую снежную погоду ходят только молодые соболя, да и те крутятся возле гнезда.

Соболь шагом не ходит, а скачет, становясь на обе лапки одновременно. Бежит обычно двухчёtkой: задние лапы точно попадают в след передних, получая уже утрамбованную опору для прыжка. Бывает, что соболя «троят», очень редко «четверят». Это когда одна или обе задние лапы не попадают в след передних. Случается такое во время гона и при скрадывании добычи.

После «лекции» Лукса перешёл к практическим занятиям. Показывал, как ставить и маскировать капканы на норку, соболя, колонка. Я старательно запоминал всё. Из

всего услышанного понял, что успех охоты зависит прежде всего от того, насколько удачно выбрано место для ловушки и насколько искусно она замаскирована.

На излучине реки вспугнули стайку рябчиков. Лукса влёт сбил одного. Птицы с шумом разлетелись в разные стороны. Одна из них спланировала на ель неподалёку от меня. Прячась за стволами, выстрелил в неясный силуэт. Рябчик камнем упал вниз. Но, подбежав, я ничего, кроме перьев, на снегу не обнаружил.

Обойдя вокруг дерева несколько раз, окликнул собак, но тех и след простыл. Удручённый, пустился догонять наставника. Узнав про оставленную дичь, он нахмурился.

– Уф, манга²⁰, уф, манга! Нельзя птице без пользы пропадать. Показывай, где стрелял.

Осмотрев разнесённые ветром перья, Лукса облизнул палец, поднял его вверх и после этого юркнул в кусты. Покопавшись в снегу, вынул убитого рябчика.

– Никогда не бросай добычу – фарт уйдёт.

На протоке пересекли свежий след белки.

– На жировку пошла, – отметил Лукса.

– А может, с жировки? – предположил я.

Охотник глянул удивлённо.

– Ты своей башкой думай. Смотри – прыжки большие, лапки прямо ставит – лёгкая пока. Поест – потяжелеет, прыжок короткий будет, лапки ёлочкой станут.

Я смущённо молчал. Сколько же нужно наблюдательности, чтобы подметить всё это!

²⁰ Манга – плохо (յудэг.).

Под елями виднелись смолистые чешуйки шишек, выдавая места её кормёжки.

– Видишь, белка кормилась?

Я кивнул.

– А где шишку грызла?

– Как где? На ели.

Лукса покачал головой:

– На снегу. Чешуйки плотной кучкой лежат. Когда на дереве грызёт, чешуйки широко разбросаны. Чем выше, тем шире.

В этот момент раздался быстро удаляющийся треск. Мы побежали посмотреть, кто так проворно ретировался. Вскоре увидели на снегу ямы от громадных прыжков. Тут же лёжка, промятая до земли.

– Как думаешь, кто это был? – ещё раз решил проэкзаменовать меня наставник.

– Олень, – уклончиво ответил я и стал лихорадочно искать глазами помёт, чтобы по форме шариков определить – лось или изюбрь.

– Ты мне голову не морочь. Какой олень? – напирал Лукса.

– Лось.

– Сам ты лось... горбатый! Говорил тебе вчера: сохатый рысью уходит. Этот прыжками ушёл. Изюбрь был. Смотри сюда. Видишь, снег копытами исчиркан. Изюбрь так чиркает, лось высоко ноги поднимает – снег не чиркает.

Видя, что я приуныл, ободряющее добавил:

– Ничего, бата²¹! Поживёшь в тайге, всему научишься. Даже по-звериному думать.

На пологой седловине пересекли след бурого медведя, тянущийся в сторону господствующей над окрестностями горы Лысый Дед. Её округлая макушка в белых прожилках снега и серых мазках каменистых осипей была совершенно безлесой. Эта особенность, похоже, и определила название.

– Чего-то припозднился. Они обычно под первый снег залегают.

На обратном пути вышли на крутобережье широкого залива – излюбленного места нереста кеты. От Хора он отделён полосой земли, заросшей густым пойменным лесом, сплошь перевитым лианами китайского лимонника и актинидий.

На мгновение взгляд почему-то задержался на группе деревьев. Не поняв сразу, что именно привлекло моё внимание, пригляделся. Пять могучих ильмов стояли как бы полу-кругом, обращённым открытой стороной в залив. Перед ними – проплешина, в центре которой три потемневших деревянных столбика, заострённых кверху. Когда подошли поближе, увидел, что это идолы. Грубо вытесанные, длинные, потрескавшиеся и потемневшие лица равнодушно взирали на водную гладь. Я вопросительно взглянул на Луксу.

– Наши лесные духи. Большой – Хозяин, а эти двое – жена и слуга. Хозяин помогает в охоте и рыбалке, – вполголоса пояснил он.

²¹ Бата – сын, сынок (*үдэг*).

Достав из кармана сухарь, охотник подошёл к столбикам, почтительно положил его у ног Хозяина и спустился к воде. Я задержался, чтобы сделать снимки.

– Ничего не трогал? – не сводя с меня глаз, спросил Лукса, когда я догнал его.

– Нет. Сфотографировал только.

– Тогда ладно. Давай рыбу собирать. Рыбы беда как много надо. Собак кормить и на приманку.

Переступая по валунам, мы вытащили сучковатой жердью с мелководья десятка четыре кетин и сложили в кучу. В этих рыбинах трудно было признать красавцев океанских лососей. Серебристый наряд сменился на буро-красный. Челюсти хищно изогнулись и устрашающе поблескивали серповидными зубами, выросшими за время хода на нерест. Некоторые самцы ещё вяло шевелили плавниками, изо всех сил стараясь не завалиться на бок. До последней минуты своей жизни они охраняли нерестилище – тёрку от прожорливых ленков и хариусов.

Во время нереста в августе и сентябре сквозь чистую воду хорошо видно, как самка с силой трётся о дно, покрытое мелкими камешками. Припав к образовавшемуся углублению, она сжимает и разжимает брюшные мускулы до тех пор, пока лавина лучистых, янтарных икринок не вырвется наружу и не осядет в лунке. Плавающий рядом возбуждённый самец изливает на них молоки и присыпает оплодотворённую икру галькой. Весной из неё выводятся крохотные мальки. Окрепнув в горной речке с холодной, богатой кислородом водой, они скатятся в море. А через несколько лет уже взрослыми возвратятся на родное нерестилище. Ничто не может остановить их на пути к нему. Настойчивость и си-

ла рыб, поднимающихся даже по двухметровым сливам, восхищает. Отметав икру, они также погибнут, чтобы дать жизнь новому поколению.

– Мало теперь кеты. Раньше, бывало, в два слоя лежали. Тысячи на зиму готовили.

– Солили?

– Как солить? Где столько соли взять? Брюхо и спину вдоль хребта резали и сушили под навесами на ветру.

– А мясо летом как хранили?

– Чуть варили, чтобы кровь свернулась. Потом резали на пластины и тоже вешали.

Пока мы собирали кету, Пират с Индусом, бегая наперегонки по берегу, обнаружили затаившуюся под выворотнем енотовидную собаку и с лаем выгнали её оттуда.

Она напоминала заурядную дворняжку с короткими ногами. Неуклюжа, приземиста, ужасно лохмата. Мех густой и пышный, серо-бурый с желтоватым оттенком. Мордочка короткая, глаза смотрят покорно, как бы прося пощады. Это, пожалуй, самое безропотное и беззащитное существо в Сихотэ-Алинской тайге.

Когда мы приблизились, енотовидная собака припала к земле и закрыла глаза, с поразительной апатией ожидая решения своей судьбы. С трудом оттащив возбуждённых псов, направились к стану, обсуждая увиденное за день. Радовало, что участок богатый. На пойме немало копытных, по берегам бегают норки, в сопках встречаются соболя. И, что важно, много мышей и рябчиков – их основной пищи.

– Рябчик есть – соболю хорошо. Мыши съел – опять ловить надо. А рябца надолго хватает, – объяснял опытный промысловик.

— Лукса, а как участок делить будем? — наконец-то, решился спросить я.

Напарник посмотрел с недоумением:

— Зачем делить? Где хочешь, ходи, где хочешь, лови. Только на чужие участки не ходи. Пудзя²² сердиться будет. Выше по Хору сосед — Аки. Ты его знаешь. А ниже — Гирдо. Гирдо уже два года не охотится. Колено выпадает.

Честно говоря, я был обескуражен таким ответом. Мне хотелось, чтобы Лукса закрепил за мной определённую часть угодий, но впоследствии понял, насколько мудрым было его решение. Никто не был стеснён и не считал себя обделённым. Наши тропы иногда пересекались, но при этом каждый шёл своей дорогой.

Весь следующий день между сопок с диким посвистом метался шальной ветер. Правда, нам он не мешал — мы были заняты подготовкой капканов.

Чтобы удалить заводскую смазку, сначала отожгли их на углях. После чего напильниками сгладили заусенцы, подогнали сторожки. Из стальной проволоки сделали на каждый капкан цепочку для крепления «потаска» — обрубка ветки, не позволяющего зверьку далеко уйти.

Наскоблив с затёсов кедровой и еловой смолы, бросили её в ведро с кипящей водой. В этом «бульоне» поочерёдно проварили все подготовленные капканы. Когда вынимали, они покрывались тоненькой янтарной рубашкой.

После такой обработки соболя, обладающие тонким нюхом, не учуяют запах железа.

²² *Пудзя* — главное божество (бог) у удэгейцев.

— Камиль, перед установкой капкана руки хвоей пихты обязательно натирай. Она пахнет сильней и дольше, чем словая, — продолжал просвещать Лукса.

К вечеру ветер стих. Непроницаемый войлок туч скрыл все звёзды. Мягко повалил снег. Промысловик заметно оживился:

— В снег звери глохнут — близко подойти можно. Сначала мяса запасём, потом соболя ловить начнём.

Говорит, а сам мой пятизарядный гладкоствольный винчестер всё поглаживает, да на руках покачивает.

— Какой легкий, ёлка-моталка! Как моя одностволка. Камиль, тут цифры 1912. Что они значат?

— Год выпуска.

— Вот это да тебе! — Лукса аж присвистнул. — Мой отец тогда только родился. Откуда у тебя такое?

— Мой друг Юра купил во Владивостоке у одного геолога-пенсионера. В тайге, когда мы путешествовали, ему за этот винчестер огромные деньги предлагали.

— Как же тебе дал?

— Юра погиб в Якутии два года назад. Ружьё — память о нём. Большой, светлой души был человек. Я ему многим обязан.

— Да, бата, молния всегда бьёт о самый высокий кедр.

Кибец (Гусева) Надежда Валентиновна

АМАРИ

- 1 -

А вот еи ё... Жила цыганка-чёваханя, сама уже старая, а детей нет. Беда. Вот пошли цыгане по деревне, гадают да просят, а чёваханя всё по сторонам глядит – какую деточку меньшие любят. У всех ребятишек мамки да батьки, бабки да дедки, а одна девочка, страшная да грязная, одна сидит, со всеми не играет.

«А чья это чяёри? Чья деточка?»

Ей отвечают: «Сиротка. У тётки живёт, в работни-цы растёт».

Дождалась чёваханя тёмна, да и украла её. Принесла к себе, а смотрит – девочка некрасивая да больная, вся кожа как у гуся ощипанного. Прочитала тогда чёваханя свои слова, вставила сиротке в глазки два изумруда, а в ротик – кораллы, а потом и говорит: «А ну поворотись, милая».

Повернулась сиротка и сразу сделалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

О своей ненормальности я догадалась не сразу.

Воспоминания других детей были первой причиной, почему я это заподозрила. Как оказалось, они помнили много чего из своего раннего детства. Я же не помнила почти ничего до самых шести с половиной лет. Может, виной тому болезнь. А может, до приезда Аглай с Дедой и запоминать-то было особо нечего.

Когда меня одолевает бессонница, я думаю об этом, всё пытаюсь что-то отыскать, уцепиться. Нет, бесполезно. Да и какая теперь-то разница!

Весь мой багаж памяти скучно ограничивается тремя-четырьмя последними днями в «Гнёздышке». Зато я до сих пор помню каждую мельчайшую деталь этих дней – свою кровать с зелёным покрывалом, дырки на линолеуме, запах щёй в коридоре и тарелку с незабудками. Могу сказать, какие книги стояли на полке, назвать все наши игрушки, описать, в какую одежду были одеты воспитательница, нянечка и дети. Я даже помню – кто и что в то время говорил.

Стояли ясные осенние дни. Светило солнце, желтели листья, и мы шли на прогулку во двор. Я стояла у ярко раскрашенной лесенки и смотрела, как играют дети. А сама ни с кем не играла.

А в последний день меня обидели. Я лежала на полу и медленно расставляла кубики в одну линию. Это были деревья. Они росли и покрывались листьями. По веткам прыгали маленькие птички.

И тут одно дерево надломилось и затрещало. Я подняла голову. Крупная девочка пинала кубики ногами. Я молчала и не сводила с неё глаз. Заранее зная, что сейчас будет.

Свет померк, в ушах зашумело, ноги и руки исчезли, исчезли игрушки и дети, мир исчез... И разверзлась тугая чёрная воронка – та, в которую я падала много-много раз – я помнила это, только это – самое страшное в моей жизни.

А потом я лежала на полу – без сил, раздавленная, переколотая безжалостным приступом. А все они смотрели на меня. Монотонный шум чёрного водоворота медленно и

тошнотворно вился внутри головы. Но они, конечно, его не слышали.

– Господи! Машенька! Хорошая моя, ну-ка пойдём, – наша нянечка подсунула под меня руки и подняла – легко, словно куколку.

– Тётя Зоя...

– Что, миленька?

– Дай бусы поигратъ.

– И бусы дам, и чай попьём, и... что хочешь! Только сначала лекарство выпьем.

Она несла меня и всё ворковала. А по коридору навстречу нам уже мчалась, топая толстыми ногами, кудрявая краснощёкая медсестра.

Потом я долго спала. А когда проснулась, нянечка была рядом. Она помнила свои обещания. На полированном столе появились три заветные вещи – тонкая гжелевская чашка, конфета «Мишка косолапый» и сияющие бусы из чешского стекла. Я медленно развернула конфету и с удовольствием вдохнула запах, идущий от фольги. Мне нравился шоколад.

Дверь отворилась и в комнату вошла наша заведующая.

– Опять? – тихо спросила она.

Нянечка кивнула.

– Плохо дело. Как же не досмотрели?

Нянечка вздохнула. Заведующая наклонилась ко мне. От неё пахло духами и немного потом. Над блестящими губами наметились тонкие усики.

– Машенька, – она говорила по-прежнему тихо. – Скажи мне, что случилось.

— Люда сломала мой лес, — сказала я, жуя конфету.

— О, я знаю, она не нарочно. Давай простим её, и она не будет так делать никогда-никогда.

— Давай.

— Ох, как хорошо! Выздоравливай.

И она направилась к выходу. У заведующих всегда много дел.

И тут бы самое время поиграть бусами нянечки. Но я не успела.

Потому что в «Гнёздышко» прибыли Деда и Аглай.

Уверена — ни до, ни после в уютном тихом «Гнёздышке» не случалось подобного переполоха.

Это было нашествие. Оккупация. Катастрофа. Это была безоговорочная капитуляция всех возможных устоявшихся традиций, тихих уголков и режимов дня.

Они не вошли, а ворвались. Нет, влетели. И сразу заполнили собой всё пространство. Хотя, по части заполнения пространства больше постаралась Аглай, ведь Деда не особо любил находиться на виду.

Она была яркая, Аглай. Совсем не то, что сейчас. Какая-то жуткая юбка, ужасное пальто в рыже-зелёную клетку, цветастая блузка, звенящие цепочки, накрашенные до безобразия губы и волосы — рыжие как огонь.

Это было не отсутствие вкуса и не увлечение хипотой, а тактика, эволюционно доведённая до инстинкта и неизменно передающаяся в поколениях — нагрянуть, оглушить, вывести из равновесия, а потом быстренько получить своё и ускакать в закат.

— Боже-божечки-боже! — возопила она с порога, и у одной из нянь сразу выпал из рук ночной горшок. — Долго

же мы добирались! И где же она – моя девочка, мой ангелочек? Антонина Тимофеевна, голуба вы наша, спасительница, как же мы вам благодарны!

Аглай сгребла и прижала к тощей груди нашу потеरявшуюся заведующую, а та только стояла как дура, раскрыв глаза и рот до состояния трёх букв «о».

– И обогрели, и обучили... А мы-то, мы-то... Полстрадны, вот этими ногами! А бумажек-то, бумаг сколько... ох, скажу я вам!

Тут она отпустила Антонину Тимофеевну, вырвала из рук Деды толстый кожаный портфель и плюхнула его на стол.

Я как раз сидела на краешке кровати у двери и, решив, что всё это как-то странно, сползла, прошмыгнула за дверь и притаилась за кадкой с фикусом.

Да, всё это было очень странно. Как только Аглай появилась, я сразу смекнула, что она появилась не просто так, а в *моей* жизни. И теперь она будет *что-то значить*, и я буду с ней, и с этим краснощёким лысеющим человеком, которого сразу называла «Деда».

Аглай вынимала бумаги с искусством бывалого иллюзиониста. Они выскакивали из портфеля, раскрывались, крутились в светлом осеннем воздухе, укладывались на стол, подоконник, стулья – куда угодно! Мелькали фиолетовые печати всех возможных геометрических форм, скрепки вспыхивали на солнце огненными стрелками, и листы – машинописные и рукописные, блёклые-жёлтые и снежно-белые – порхали, взлетали и тут же находили своё место, пришипленные метким определением разбушевавшейся Аглай.

– Справка о доходах! – радостно выдавала она. – Справка об отсутствие судимости! Об отсутствие венерических болезней! Свидетельство о браке! Из ЖКО! Подтверждение родства! Об отсутствии педикулёза! Выписки из домовой книги! Паспортные данные! Справка из ГОРОНО! Характеристика с работы! Автобиография! Ещё характеристика с работы! Справка окулиста! Невропатолога! Хирурга! Гинеколога! Справка о прививках! О постановке на учёт! Акт осмотра квартиры и ее соответствие техническим нормам!..

Бумаги вылетали и вылетали. То были перья, из которых мне шили крылья. Вылетали, не оставляя ни единого шанса на то, что я останусь в «Гнёздышке», полном щей, каш, кисельных пенок, холодных горшков, растрёпанных книжек, лохматых пластмассовых кукол и детских голосов, не смолкающих ни на минуту.

А может, Аглай швыряла вместо всех этих справок осенние листья.

Или Деда купил по случаю пачку газет и нарвал их на кусочки.

А, может, и этого не было. Женщина, что печёт посреди зимы пироги со свежими детьми, что-нибудь да придумала бы.

Наконец, портфель заметно похудел. Аглай остановилась и победным взглядом окинула всех присутствующих.

– Я удочеряю и забираю свою племянницу, – безапелляционно заявила она, переведя дух. – Вот... – и ещё одна бумажка вспыхнула на солнце и опустилась на стол.

Если бы Аглай сказала «Ахалай-Махалай!» и посреди кабинета тут же забил фонтан из лимонада – даже тогда она

не вызвала бы большего изумления у почтеннейшей публики. Заведующая бессильно опустилась прямо на стопу бумаг в кресле. Нянечка взмахнула руками. Повариха, непонятно почему оказавшаяся на месте событий, закрыла рот руками и ринулась в кухню.

– Но ведь это же... – прошептала Антонина Тимофеевна.

– Где же она – наша девочка?! – грянула Аглай на весь дом.

– Таня, позовите, пожалуйста, – заведующая потихоньку приходила в себя.

И вновь всё пришло в движение. Топали ноги по половицам. Звенели голоса. Какие-то сумки. Где же Машенька? Ах, подожди, Дима, не до тебя тут! Скрип-скрип. На восковом листе фикуса тонкие сухие полоски складывались в силуэт древних башен – над ними парили серые орлы. Вы Машеньку не видели? Лёгкие пылинки плясали в солнечном воздухе. От кадки пахло сырой землёй и тихими ночными вздохами. Я поковыряла почву в горшке и посмотрела на широкий лист. Ну, мне пора. Я вылезла из своего убежища, отряхнулась и встала во весь рост.

Аглай и Деда стояли на фоне окна. Солнце разжигало рыжие волосы огнём и плясало весёлыми зайчиками на розовой лысине.

– Здравствуйте, – сказала я.

Аглай всплеснула руками. Деда улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. Я поняла, что он добрый.

– Девочка! Девочка моя... – Аглай присела на корточки и её лицо – бессовестно накрашенное, покрытое сетью

мелких морщинок, оказалось напротив моего. – И как же тебя зовут?

И тут свершилось.

А всего-то, если разобраться, произошла безделица. Задумавшись на секунду над тем, как же представиться – солидно Марией или запросто Машей, я смешалась и проговорила:

– Мара...

– Ох, – выдохнула Аглай и посмотрела на Деду.

– Мара, – повторил он.

– Машенька. Её зовут Машенька. Мария Воробьёва, – подсуетилась наша няничка.

Но её, конечно, уже никто не слушал. Слово было сказано. И я стала Марой. Раз и навсегда.

Потом были короткие сборы. Да и чего мне было собирать? Так, какое-то смешное барахлишко – красное драповое пальто, резиновые сапоги, ночнушка из бежевой фланели, унылые заштопанные колготки, трусы на резинке да шапка с вязанными ушами – вот и всё приданое.

Дети смотрели на меня – высовывались из спален и игровых. Никто не улыбался. Никто не махал руками. И взрослые тоже смотрели. Я думала – никто и не подойдёт, но они подошли – Антонина Тимофеевна со сбившейся прической, молодая практикантка, наш рабочий дядя Юра и наша няничка.

– А можно мне бусы? – тихо спросила я.

Няничка вздохнула, повозилась за воротником белого халата, сунула мне в руку радужную переливчатую нитку и потрепала меня по голове.

– До свидания, – сказали мне.

— До свидания, — ответила я.

Хотя это, конечно, было враньё, и все мы об этом знали. Какое там «до свидания»! Это было самое настоящее «Прощай».

Я никогда больше их не видела и не увижу.

А бусы... Вот, видите, столько лет прошло, а я ношу их до сих пор. Смешно, да? Такие радужные стеклянные бусы у вас носят только старушки да безвкусные дурищи. Но ведь это единственное материальное доказательство того, что у меня тоже когда-то было детство. И потом... у нас-то их носят, да ещё как.

- 2 -

Ай, рома́лэ, замардя́тэ

Дривáн мáндэ о илооо...

У нас все поют. Мать моя уж как хорошо пела — все плакали. Столько денег ей давали! Отец говорит — давай домом встанем. Построили дом, живут. Да всё неладно, ругаться начали. Решили уехать. А как уехали, дом и сгорел. Стали мыкаться, где только не побывали. Снова осели. Теперь уж дом готовый купили. Отять не слава Богу! Ну что ты будешь делать — не живут ладно.

Позвали чёваханю. Она покурила, пошептала. Говорит: «Хотите жить на месте, неделю ешьте по кусочку той земли, где жить будете. А то земля вас не держит». Так и сделали, ели. И правда, потом осели хорошо.

А бабушка была у нас одна, так она говорила, что не можем мы на одном месте жить потому, что Бог нас любит

больше других. Мы весёлые, поём хорошо, вот и отдал он нам всю землю. Не знаю. Может, и так.

Мы ехали день, ночь и ёщё день. Пыльные стёкла такси, кожа кресла, пропахшая рыбой, забытая кем-то расчёска. Огромное, набитое словно улей, здание вокзала. Поезд – как тяжёлая усталая гусеница.

Мелькали, мелькали, мелькали – деревья, станции, закатное золото, синие сумерки, переезды, дороги, бабы, мешки, дети, мотоциклы...

Я не отходила от окна, не спала, не пила и не принимала пищу. Это не было детским удивлением огромности и многозначности мира. Я пыталась понять всё, что видела. Образы вливались, учили своему языку, играли со мной, дарили музыку и свет, тихонько вели по тонким тропкам, и уводили так далеко, куда не ходят нормальные дети.

На столике подсыхали дольки апельсина, нарезанный сыр пускал скучную слезу, крошки от булки падали на пол, в стакане бренчала ложка. Мне было не до еды. Аглай с Дедой понимали это и не надоедали мне уговорами.

Они вообще никогда не уговаривали. Мне было шесть с половиной лет, и отныне я вольна была делать что хочу.

Потом был трясучий загазованный автобус, и, растеряв все силы, я, наконец, заснула.

А когда проснулась, увидела наш дом.

Я проснулась, осмотрелась, втянула ноздрями воздух, и почувствовала...

Знаете ли, довольно глупо воспринимать дома как совокупность стройматериалов и мебели. Это всё равно, как воспринимать человека как сумму мяса и костей. У домов есть душа. Это у нас все знают. Поэтому у нас раньше вообще

не было домов. Старики говорят, что душа дома держит духу человека и не пускает от себя, не даёт свободы.

С первой минуты всё стало понятным. Тесная кухонька с тусклой грушей мутной лампочки; заставленный хламом коридор; комната Деды (книги, книги, книги); тёмная спальня Аглай; зала с шеренгой шкафов и сервантов; две крохотные комнатки не пойми для чего; мой закуточек с окошком и дверью в сад; два чулана, двое сеней и чердак.

Никого не было в доме. Деда и Аглай прекрасно понимали, что мне нужно, и с утра возились в погребе, ссыпая подсохшую картошку.

Я медленно прошла по дому, потрогала старые, сто раз крашеные рамы окон, посидела на продавленном диване в кабинете Деды; подобрала с пола яркую мохеровую кофту Аглай и, обойдя все комнаты и закутки, улыбнулась. Теперь это было моё жилище – от плотной подпольной земли, пахнущей картошкой и старыми тряпками, до кончика трубы с отвалившимся закопчённым краем.

А потом мы сидели на кухне. Чайник посвистывал, масло плавилось в недрах овсянки, хрустящая булка гордилась рыжей корочкой. Деда просматривал газету. Аглай дула на горячий кисель в моей кружке.

– А можно мне будет погулять?

– Конечно, – Аглай всё дула в кружку.

– А куда можно?

– Куда хочешь, милая. Вот держи-ка. Кисель, правда, ещё горячий.

В этом была вся Аглай. Никогда, ни при каких обстоятельствах она не говорила «Пойдёмте пить чай», «Обедать!», «Не лезь, обожжёшься» или «Пора спать». Всё это

она умело заменяла фразами соответственно «На столе свежий чай и печенье», «Суп может остить и станет невкусным», «Сковорода горячая» и «Ты, наверное, устала». Слова-указалки были чужды её природе. Она делилась информацией и никогда не обижалась, если её слова игнорировали.

А любопытно было бы посмотреть на то, какие дети могли бы вырасти у такого существа. Подозреваю, что абсолютно счастливые, не ведающие страхов и комплексов. Но у Аглай и Деды никогда не было детей. Пока не появилась я.

- 3 -

А вот еще мне бабка рассказывала. Молодая она была, шла по лесу, на спине ребёнка несла. Выходит на поляну а и видит: меж двух берез качели висят, а на этих качелях двое деток маленьких – мальчик и девочка. И уж так смеются, просто радость от них!

Что такое? Откуда в лесу деточки? До деревни ведь вон как далеко! А дай-ка, думает, я их угощу. Ну, и даёт им пряников да яблок. А детки-то засмеялись да и исчезли!

А это спорики были, колдовские дети. Кто их видит да угостит, к тому счастье приходит.

Бабка-то удачивая была: что только ни задумает, все у нее получается.

Я шла по просёлку, загребая сухую пыль резиновыми сапогами. Непонятно, почему я надела резиновые сапоги в такую тёплую и ясную погоду. Ни Аглай, ни Деда не удосужились дать совет по одеванию шестилетнему ребёнку.

Длинный деревянный забор внезапно закончился, и я вышла из узкого переулка на широкую поселковую улицу.

Слева и справа тянулись дома, над заборами краснели рябинки, облетали яблони и только сирени шуршали на ветру пыльными зелёными листьями. Пробежала собака, прокричал петух, женщина в красном халате вышла со двора, увидела меня, раскрыла рот и сразу юркнула обратно в калитку. Дойдя до конца улицы, я не обнаружила ничего интересного, упёрлась в череду огородов и развернулась обратно. Навстречу мне шли школьники.

— Смотри, смотри, — сказал один.

Все быстро глянули на меня и сразу сделали вид, что не заметили.

— Ольховские привезли? — тихо спросил другой.

На него шикнули.

Я не стала с ними связываться. Они бы всё равно не стали со мной играть.

Улица кончилась, и дорога пошла по пустырю. Высокие сухие травы стояли стеной, над ними летали тонкие серебряные паутинки.

Я смотрела на лёгкие белые облачка, повисшие в ослепительно голубом небе. Потом прикрыла глаза и прислушалась.

Дорога сулила прохладные прикосновения миллиардов пылинок и песчинок. Серые воробыи внимательно смотрели на меня с кустов, но думали о своём — у них, у воробьёв, всё не так, как у людей: соображают они совместно, но при этом постоянно спорят. Маленький кузнецик неуклюже прыгнул и уставился на меня, и я подставила ему ладонь. Он не сел в неё не потому, что испугался, а потому что у него бы-

ли другие планы. Мы посмотрели друг на друга и вежливо разошлись в разные стороны.

Я медленно шла, загребая сапогами лёгкую пыль. Солнце припекало спину и грело затылок. Всё шла себе да шла, а когда устала, уселась прямо на обочине, среди сухих былинок и пыльных лопушков.

– Мара, – позвал Деда, и я подняла глаза.

Он сел рядом в траву – большой, круглый, в пыльных ботинках, в большом жёстком плаще, в серой шляпе с продавинкой посерёдке. Так мы и сидели. А потом пошли по дороге, и я держала его за руку.

– Деда, а где мы живём?

– Такой вот посёлок, – Деда взмахнул рукой. – Называется Прибой.

Прибой! Я засмеялась. Слово-то какое!

– А ты кто?

– Ну... я на заводе бухгалтер.

Я засияла смехом.

– А Аглай тоже бухгалтер?

– Аглай? Нет.

– А кем она работает?

Теперь улыбнулся Деда.

– А ты бедовая! Всё тебе сразу скажи да расскажи. Попшли-ка в магазин, мороженое купим. Мороженое любишь?

– Ага!

Была я у родителей девочка умная да красивая. Вот выросла и говорю: «Не хочу замуж за цыгана, у меня в городе есть

камлытко, он гаджо, не наш». Как так?! Родителей не слушать?! Как не пойдёшь?! Пойдёши. И сосватали. А жених-цыган по лесу ехал, на него лесина и упала, насмерть повалила. Опять говорю: «Отпустите меня в город к другу моему. Он человек хороший, взрослый». Куда там! Не пустили, снова сосватали. А новый-то жених на свадьбу ехал, да в грозу попал. Ударило в него так, что убило вместе с конём.

Поняли тогда родители – надо отпустить, неспроста это. Но затаили обиду – дочь не к своим ушла. А разве можно на свою кровиничку обиду держать? Ушла девушка, замуж вышла, а деток Бог не дал. Так-то против родителей идти. Потом-то они уж прошли, да поздно было.

Я обнаружила их так, как заблудившиеся птицы находят путь в тёплые края. Целый день бегала по овражкам и рощицам, лазала в чужие огороды и бросала камешки в болото. Голод звал к тёплому чайнику и краюшке хлеба с вареньем, а холодные ноги – к печке и сухим носкам, но я упорно карабкалась по чужим заборам, лячкалась в скользкой глине и грела грязные руки, засовывая их в рукава пальто.

Я почуяла их издалека и пошла на терпкий запах, на горький дымок, на тусклый свет незанавешенных окон.

Тёмные дома стояли в низинке. Сизые печные дымки уносило ветром. Студёный ветер трепал бельё на верёвке.

Я оглянулась назад. Прибоя не было видно, я ушла так далеко, как ещё не уходила. Другие родители давно бы бегали окрест с криками. Но только не Деда и Аглай.

С самого начала стало понятно, что эти облезлые жилища отличаются от тех, что я видела. И уж, конечно, не своим внешним видом – видела я в Прибое и похуже. Нет, тут

было что-то иное. Потоптавшись сапогами по грязи, я стала спускаться вниз.

И тут мне в лицо влепился ком холодной глины.

От неожиданности я упала задом на землю, а пока протирала глаза, в меня полетели другие комки – ещё и ещё. Я заревела в голос, встала на ноги и, вместо того, чтобы бежать прочь, помчалась к тёмным домам, откуда меня так метко бомбардировали.

Ещё один комок шлёпнулся под ноги, другой задел и без того грязную руку.

Я закричала и схватила придорожный камень.

Камень свистнул в воздухе. Наступила тишина. Потом послышался протяжный обиженный плач.

– На кэр акадякэ! – крикнул женский голос.

Я стояла посреди дороги и протирала кулаками глаза. Из-за кустов показалась толстая женщина в пышной юбке с грязной кромкой. Из-под косынки висели тонкие косы, в руке тлела папироза.

– Йав кэ мэ!

Я не двинулась с места. Тогда она сама взяла меня за руку и повела во двор, что-то приговаривая и прищёлкивая языком. Я только оглядывалась по сторонам.

Набежали ещё две женщины, помоложе; появились ребятишки, целая куча – худые, крикливые, грязные; вышел кудрявый старик с палкой; залилась лаем маленькая чёрная собачка. Старик бранился на ребят. У одного мальчика шла носом кровь. Толстая женщина подвела меня к бочке во дворе, отмыла мне лицо обжигающе-холодной водой и утёрла жёстким полотенцем. От полотенца пахло кислым молоком.

– Пхэн, конэскиро ту? Ты откуда? – спросила женщина.
Я по-прежнему молчала.

– Да Ольховских она, – хрипло сказал старик.

И все сразу замолчали. А потом загадели наперебой, стали осторожно трогать мою одежду, отрывать налипшие кусочки глины, щёлкать языком. Кто-то сунул мне кусок лепёшки, и я тут же принялась жевать. Толстая женщина подала кружку тёплого молока.

– Тебе сколько лет? – спросила худая девочка.

– Шесть.

– Неет. Мне шесть, а ты большая, вон какая!

И все засмеялись.

Тут жили цыгане. Давным-давно они бродили по городам и весям, знали толк в лошадях и кузнечном деле, пели и плясали на ярмарках. Но даже в те незапамятные времена для большинства обывателей были как палка в колесе. Теперь же их привычная жизнь окончательно поломалась, и они принялись медленно деградировать, забывая нехитрые ремёсла и всё больше и больше соблазняясь лёгкими деньгами преступной наживы.

Не стоило сгонять их в колхозы. Не стоило расселять по унылым деревням и посёлкам. Народ, привыкший всю жизнь шевелить ногами по бесконечным дорогам и впитывать их музыку, сразу опустился и угас. Исчезли кони с бубенцами. Медведи пошли на шапки скорнякам. Утих стук походных кузен, а потом исчезли и сами кузнецы – в цыганских посёлках мало мужчин.

А они всё жили как умели – часто и бестолково рожали детей, попрошайничали на базарах, таскали картошку у

местных, торговали сивушным перегоном и относились с чётко уловимым презрением к гаджо – всем не-цыганам.

Если не считать Деды и Аглай, это были первые люди, которые приняли меня в своё общество – так просто, как другие люди позволяют чужой кошке бродить по своему двору, и иногда, по настроению, гладят её нечистую шёрстку и кидают ей головы от кильки.

Старик сказал, что отведёт меня домой, но тут на меня налетели худые чернявые дети. Они тормошили меня, что-то кричали на своём птичьем языке, а один мальчик сунул мне в руку облизанную карамель. Я совсем растерялась. Они предлагали мне играть, этого не делал никто, по крайней мере, я такого не помнила.

Это было чудо, шальное волшебство. Мы бегали и орали, верещали и смеялись. За занавеской пищал младенец, женщина добродушно ругалась густым прокуренным басом, опрокинулась лавка, отлетела табуретка, дед дал куму-то шлепка, за печкой звенела посуда.

Я и сама не заметила, как стала выкрикивать слова. Мне нравились они – громкие, острые, полные дикой музыки. Старик заметил это и потрепал меня по голове.

– *Амарі́, амарі́*. Наша.

– Амарі́! – крикнула я, а он засмеялся.

Потом мы ели, и было очень весело – стучать ложками, кусать отломанные ломти и пинаться под столом. А в незавешенные окна лился красный свет закатного солнца.

Старик сам отвёл меня домой. Мы шли по полю, по искристой от инея земле, а над нами в темнеющем небе летели гуси – тяжело, низко к земле, так что видны были их лапки, прижатые к серым брюшкам.

Аглай вышла на крыльцо, охнула, кинулась, обняла меня и прижалась к себе. Старик степенно говорил на своём языке, поглаживал белую бороду, прищёлкивал языком. Аглай его будто не слышала.

— Мара, Марочка моя, — шептала она, и по её тонким морщинкам катились слёзы.

И тогда я поняла, что люблю её. Это было так просто, что я поразилась, как же мне раньше это в голову не приходило. Я люблю Аглаю и Деду. И никогда их не брошу. Они — мои. Наши. Амори.

— Парикирэс, — сказала, наконец, Аглай, подняв глаза на старика.

Они смотрели друг на друга — неподвижно и долго. Аглай благодарила не только за то, что меня привели домой. За что-то важное, куда большее, благодарила она.

А гуси всё летели над нашими головами, перекликаясь — прочь, прочь. Их звали другие края.

- 5 -

А ещё был у нас раньше праздник. Летом выпадал, по теплу. Садились все ночью вместе, а огня не жгли — ни костров, ни трубок, ни печек, ничего! Сидим в темноте, молчим, каждый своё думает. Это чтобы все помнили о тёмных временах, о злом и нехорошем не забывали. Ведь всякое бывает — голодают люди, болеют, мёрзнут. И не ели поэтому ничего — ни лепёшки, ни тёплого чая. Нельзя громко говорить, нельзя петь. Даже дети не плачут. Темно, страшно, зябко. А как восходит солнце, наши старшой разводит костёр, берёт голо-

вёшику да обходит нас кругом. Что тут начинается, ой! Все радуются, поют, пляшут, мясо готовят, лепёшки пекут!

Весело было, да.

Огонь – он живой. Его нам Бог дал.

Небо стало свинцовым, опустилось до самых крыш и придавило, причмокнуло, отрезало пути. День за днём сыпал снег.

Деда исчез на два дня, а потом явился под вечер – свежий и румяный, с двумя большими сумками. В сумках были валенки, крашеная под леопарда шубейка, меховая шапка, шерстяные гамаши и носки. А ещё конфеты – целый пакет. Всё мне.

Аглай тоже уходила, но ненадолго. Она приходила с мороза, потирала тонкие руки и сразу ставила чайник на плиту.

Иногда мы гуляли вместе – шли до магазина или до автостанции. Но никогда не ходили в посёлок с чёрными домиками. Туда я ходила одна.

Часто, глядя на угольки в печи, Аглай начинала петь. Она пела, закрыв глаза и покачиваясь. Песни были похожи на сполохи алого огня, что пляшет по уголькам, на вой ветра в старой трубе, на метель. Мне хотелось от них плакать, но я не плакала, а крепче прижималась к Аглае, обнимала её за костлявые бока.

А ещё она рассказывала. И непонятно было – сказки она говорит или вспоминает былое.

Вот, говорят, в одной деревне жила старуха-чёваханя, злая ведьма. Был у неё сын, хороший парень. А она-то никого не любила, никого во двор не пускала, а сама только вечером

выходила. Встанет, заклинание пробормочет, а потом повернется вокруг себя и превращается в свинью. И всем, кто к ее дому идет, начинает эта свинья под ноги бросаться. Собьет на землю и катается. Да так, что чуть не до смерти, покалечить могла... А сын у старухи красавец был...

Жутко и чудно было перед самой ночью, когда Деда уходил к себе, а Аглай сажала меня на табуретку, вынимала головешку из печи и с причитаниями ходила кругом. Это она уводила прочь чёрную воронку – дула на мою голову, бормотала, шептала, иногда срывааясь на русский:

*Иди, иди прочь! Кто переступит мою тень,
У того пусть и будут боли, а у моей чяёри – нет-нет-нет!*

И воронка оставила меня в покое, ушла навсегда туда, куда послала Аглай, ушла вслед за горьким дымом тополёвой головешки.

Иногда к нам приходили люди – под вечер, с оглядкой. Они забирались на завалинку и трусливо стучались в окошко. Выходила Аглай, тихо говорила, иногда что-то брала и отдавала, иногда говорила «нет-нет» и быстро уходила. А гости, в основном тётки средних лет, всё топтались, и иногда стучали снова, что-то кричали...

Посёлок будто вымер. Изредка по улицам пробегали подмёрзшие школьники, бабы гремели вёдрами на заледенелых колонках, два раза в неделю у сельмага выстраивались хмурые очереди – был привоз.

А у цыган было весело, людно, громко. Я быстро привыкла к перловому супу и лепёшкам, к обществу чумазых ребятишек, к запаху нестиранных пелёнок и сопрелого пота. В

чулане стояла огромная кастрюля с мутной бражкой. Старший внук хозяина таскал её оттуда ковшом и смотрел как мы, мелкие, пьём, хмелесем и дуреем. Выходил старик, отменно ругался, грозил длинной палкой, но никогда никого не бил. А вот толстая Азя могла запросто огреть мокрой тряпкой. Мы хотели и убегали прочь со двора.

Язык не нужно было учить. Он давался без всякого труда, всё равно как примерка другого платья. Через пару месяцев я так же чисто чесала по-цыгански, как и материлась. Деда пытался со мной поговорить, но я совершенно не понимала, почему я не могу изъясняться так, как удобно. И он махнул рукой. Аглая же ни в чём меня не ограничивала. Только если я задерживалась и приходила в темноте, в мороз и метель, с застывшими руками и деревянными ногами, она кидалась ко мне, прижималась, тормошила, оттирала ледяные корочки от штанов, судорожно целовала, ласкала и тихонько плакала. Эти минуты были самыми близкими и радостными.

Потом деда снова исчез. Его не было две недели. За это время случилось многое.

- 6 -

А вот ещё бывает – младенец кричит да кричит. А то заболеет так, что никакие врачи не помогут. Да что они, врачи, умеют-то! Ходила я ко врачам...

Так вот. Это его духи мучат. Либо чёваханя какая порчу навела. Либо мёртвого в семье недавно схоронили, а он с долгами ушёл, дела не доделал. Всякое бывает. А бывает, что

мать, пока беременная ходила, злобу на кого имела. Нельзя на людей-то злиться, нельзя.

Ничего, можно помочь. Надо ему, маленькому, заново родиться. А как он заново родится, не будет на нём обиды никакой. Чистый будет как снег.

Сначала ударили морозы.

Потом у нас подожгли дровянной сарай.

Среди ночи окна озарились жёлтыми сполохами. Горело славно. Хорошо, что сарай стоял далеко от дома, в огороде, а погода была морозная и безветренная – искры не долетали до дома, устремлялись вверх к звёздному небу и там медленно парили, теряя свои маленькие ослепительные жизни.

Аглая кинулась по снегу, теряя тапочки. Она воздела руки вверх и издала странный вопль – не то визг, не то вой. Я в однойочной рубашке стояла на крыльце и не замечала холода.

Пожарная команда прибыла слишком поздно. Мы лишились всего запаса дров. Будь Деда дома, это не стало бы проблемой. А от Аглаи толку было мало. Она ходила как помешанная, натыкалась на углы и бормотала. Только под вечер мы отобрали годные головёшки и затопили печь.

– Почему дрова пожгли, а? – спрашивала я, оттирая от рук сажу.

– Не любят нас, вот и пожгли, – ответила Аглая равнодушно, беззлобно.

– А почему не любят?

– Да кто ж их знает...

А через несколько дней к нам принесли ребёнка.

Среди ночи я вскочила в своей кровати. В окно отчаянно стучали. Аглай прошлёпала тапочками.

В дом, все в морозном облаке, ввалились, притопывая, две фигуры. В руках первой был свёрток.

— Мама, пошли домой, мама, стыдно, мама, уйдём, — монотонно бубнила вторая.

— Тихо, ты, — хрюпло сказала первая. И заплакала.

На пол упали заиндевевые шубы. Аглай затопала, засутилась. И сразу стала другая. Я притаилась за печью и смотрела, как она, что-то бормоча, мечется по комнате и делает странные вещи.

На стол высыпалась мука, налилось молоко и масло. С размаху, пригоршней — соль. Тесто творилось — крутое и тёплое. В печи пылали остатки наших дров. Скалка быстро раскатывала тесто.

— Подай, — сказала Аглай.

Свёрток оказался на столе. Одеяльце и пелёнки упали на пол. Ребёнок был маленький, худой и синий. Ручки и ножки безжизненно свисали.

— Иии... — завыла молодая женщина.

— Тихо.

Раз — и Аглай водрузила крошечного мальчика внутрь — как начинку пирога, и ловко защипала края.

— Нееет! Не надо! — заорала молодая.

— Уйди, ты. Штыл! — тихо приказала Аглай.

И та послушно отошла, всё ещё протягивая руки.

— Мара, лопату.

Я вздрогнула, кинулась за печь и протянула большую плоскую лопатку.

Аглая забормотала, зашевелила тонкими пальцами, а потом подхватила лопатой пирог с малышом и сунула в печь. Пламя охнуло и сомкнулось над тестом. Из печи пахнуло небывалым жаром. Аглая вытащила ребёнка и сунула вновь – ещё глубже. А потом ещё раз – так глубоко и сильно, что золотые искры роем ворвались в комнату. Запахло жжёной мукой.

И наконец, бросила свой страшный хлеб на стол и занесла над ним нож.

Непропечённые корки разверзлись. И тут ребёнок зарыдал.

Он кричал – пронзительно и сильно, но в этом крике не было боли. Он сучил ножонками и тянул ручки. Аглая подняла его над головой – розового, заходящегося в возмущённом плаче, внимательно осмотрела и сунула матери.

– Покорми.

– У меня молока нет.

– Есть. Корми.

На табуретке чмокал малыш. Его мать улыбалась. Бабушка утирала слёзы краем платка.

– Сердце у него больное... Как родился... Ну, и сразу сказали – не жилец. Что только, к кому только...

– Хорошее у него сердечко, – сказала Аглая. – Как зовут?

– Николай. Коля.

– Другое имя дайте. Надо, чтобы была буква «р». Кирилл – хорошо.

– Да-да. Кирилл, так Кирилл. А мы... что скажете, сколько нужно, вы только скажите...

– Да ничё не надо, – устало сказала Аглая.

— Нет, вы только скажите — не унималась женщина. — Мы всё, мы всё...

— Ладно. Тогда — чего не жалко.

Женщины ушли в морозную темень, прижимая укутанныго мальчика — сытого, спящего и здорового.

На следующий день во двор въехал самосвал и высыпал душистую гору наколотых берёзовых дров.

Нам часто приносили чего не жалко.

Аглае приносили: мёд в трёхлитровой банке, яйца в корзинках, гепариновую мазь, отрезы шерсти на платье, замороженное мясо, краску для потолка, новые валенки, банки с вареньем, мотки болгарской шерсти, козлину шкуру на диван, штакетник на забор, раковину из нержавейки и прочие полезные в хозяйстве вещи.

Приносили и деньги, но редко. В такие дни Аглай как-то стыдливо клала свёрток на стол, на газеты Деды. Тот смеялся над ней, но мятые купюрки забирал в карман, знал, что не отвяжется. У нас так принято: деньги — мужчине.

- 7 -

Нет людей плохих. Нет людей хороших. А все люди грехиные, а хотят уйти от греха.

Как мать моя захворала, так и я захворала. Маленькая была совсем, грудная. Без молока-то материного пропала бы. А взяла меня кормить марийка — они рядом жили. Так потом и жила: то к своим, то к ней — на два дома. Отец-то бранился, ну да чего уж. Ребёнок он везде ребёнок. Кормилица моя образованная была — в школе работала. Меня тоже учила, да я глупая была — мне бы только бегать. Бегала-бегала, а в голове-то

всё-таки набилось – не выкинешь. И не захотела я к своим жить идти. Ох, отец-то рвал! Потом-то, конечно, вернулась. А и всё равно ушла.

Родители мне тоже добра хотели. А поди-ко разбери, где оно – добро. Что к хорошему, что к плохому... Каждый сам себе голова, сам себе хозяин.

На дворе установилось тепло, и я совсем отбилась от рук. Поначалу, промотавшись весь день с мокрыми ногами, принялась было кашлять и сопливеть. Но солнце припекало, чирикали воробы, по улицам расползались лужи. Мне хотелось бегать, прыгать и орать. Болеть было некогда и незачем. За зиму я здорово подросла и окрепла.

Деда ежедневно брал портфель и уходил на работу. Аглая оставалась дома. А я дома не оставалась – чёрный посёлок в низине звал меня. «Амари» – говорил старик.

А потом на землю опустился август – тёплый, пожилой и усталый, времяя, когда по утрам летят холодные паутинки и ложится блестящая роса, а днём бесцветное небо тихо звенит, а земля тяжело нагревается, словно старая летняя печка во дворе.

Весь день я провела со своими крикливыми товарищами. Мы обтрясли яблони в чужом саду, купались в грязном тёплом пруду, купили апельсиновый мармелад и семечки, на спор съели дождевых червей и совершили разбойное нападение на чужих девочек, закидав их сухими комьями глины.

Я пришла домой посреди звёздной ночи – усталая, голодная, с тяжёлыми веками и грязнущими ногами. Не в силах вползти на крыльце, плюхнулась на лавку и принялась снимать пыльные сандалии. Окно было распахнуто и затяну-

то марлей. Слышны были голоса и плеск воды — Аглай стирала.

— Но это необходимо, пойми, — говорил Деда.

— Рано ещё. Хоть бы год ещё погуляла, — устало отозвалась Аглай. — Её там обидят. Я знаю.

— По-твоему, ей лучше таскаться с *этими*?

Воцарилось молчание. Как будто дом и двор накрыли чугунной крышкой.

— Прости.

— Ничего.

— Я имел в виду...

— Я знаю.

— Но нельзя же так. Обидят — не обидят... Может, запереть её на чердаке, чтобы никто не обидел?

— Нет, — Аглай вздохнула. — Только не запереть.

— Она человек. Девочка, — втолковывал Деда. — Ей учиться надо...

— Толку от этой учёбы, — Аглай хлопнула мокрой тряпкой и вылила воду в ведро. — Вот ты учёный... Впрочем, делайте, что хотите.

Посыкались шаги. Аглай спустилась по ступенькам и выплеснула воду в угол двора. Я поднялась навстречу и уткнулась головой в мокрый подол на её животе. Она ласково погладила меня.

— Мара, пойдёшь в школу? — спросил Деда, приподняв марлю на окне.

Я посмотрела на Аглую. Она улыбалась — мелкие морщинки лучиками разбегались от уголков рта и глаз.

— Да, — сказала я. — Пойду.

Свежим утром накралывал дождь. Мы шли втроём по глянцевой от воды дороге. Юбка неловко хлопала по коленям. Букет астр пах мятоей травой и скорой осенью. Я то и дело тряслась головой как кошка – банты непривычно стягивали волосы, мешали. На повороте Деда приподнял меня и поцеловал в нос.

– Ну, давай что ли, старайся, не подведи. Да смотри, плохие слова не говори, это тебе не... – Он осёкся, глянул на Аглаю. – Не дома.

И он поспешил на работу. А мы пошли дальше вдвоём. Аглая всё молчала.

На школьном дворе было полно народу. Аглая протащила меня сквозь толпу и сунула в руки высокой пожилой женщине – мягкой как булка и душистой как наша заведующая. А кругом были дети – совсем другие, чужие, не наши...

И вот мы пошли. И уже входя в неведомые двери, я оглянулась. Аглая стояла посреди двора. Ветер трепал её крашеные волосы, хлопал полами клетчатого пиджака.

И я не выдержала – бросилась, побежала, спотыкаясь, уткнулась головой в её худой живот.

– Пошли домой! Они все другие!

– Ну что же, что другие? Есть разные люди, – сказала она тихо. – А ты у меня лучше всех – и умница, и красавица.

Я подняла лицо. Мы стояли посреди двора и смотрели друг на друга.

– Ты будешь меня тут ждать?

– А как же! Буду, чяёри, буду.

– Тогда я обратно, а ты жди! Никуда не уходи.

Тяжёлые створки дверей сомкнулись за спиной. Запах побелки и помятых цветов. Цоканье чужих каблуков по каменному полу. Гулкие голоса, чистые окна, шелест бумаги.

Умница и красавица. Не те ли слова прошептала чёваканя в маленькое грязное ушко?

«А ну поворотись, милая!»

Я бежала вверх по лестнице. Бежала в другой мир, чтобы остаться в нём навсегда. Бежала от Аглаи, от чёрного посёлка, от бражки и овсяных лепёшек, от песен и брань.

Что к хорошему, что к плохому... да кто разберёт! Никто этого не знает.

Лободина Галина Владимировна

КУКУШКИНЫ ЧЕРЕВИЧКИ

Шмели облепили цветущую черешню, кралей-невестой красующуюся посреди двора прямо перед окнами такой же белой, как черешневый цвет, бабушкиной хаты.

Я крепко зажмуриваю глаза и слышу в шмелином гуле нездешний и чудной говор. «Это какие-то сердитые странники и странницы» – догадываюсь я.

Таких странников – с посохом и сумой за плечами, идущих по выложеному камнем шляху в соседнее село – Песец, а потом (я твёрдо это знаю) – на край света, – я однажды видела: два старых деда брали, неспешно передвигая ноги и глядя в землю. Один особенно клонился долу и я, осенённая догадкой – дед ищет какую-то дорогую пропажу – прошла потом, когда странники скрылись за вербами дядьки Тимошиной усадьбы, так же – обочиной шляха – не найду ли дедово добро? Я так же низко клонилась, даже приседала, но добра не нашла, а лишь увидала следы их старых стоптанных черевиков...

Видела и не единожды старую бабу: нечёсаную, с выбившимися из-под платка прядями седых косм, очень худую и босую. Она что-то бормотала, иногда поругивалась, вскрикивала и взмахивала руками, словно отгоняла или ловила невидимых мух. Это была Ксения Пальчиха из Песца, родня наших соседей, односельчан, по фамилии Палка. Я так её боялась, что однажды, когда встретилась с ней на шляху с глазу на глаз, моё маленькое сердце упало в пятки, а ноги одеревенели. Не помню, как я разминулась с этой страшной

и вечной странницей, вселяющей в меня, шестилетнюю девочку ужас, но помню только, что страдая за меня всем сердцем, моя предобрая тётя Агафия, или как все называли её в селе, – Гафийка, – увещевала:

– Не бийся. Цэ ж Сеня Пальчиха. Чого вона тоби така страшна? Вона никого не зачипае. Ии в шахти колысь землею засыпало. Того вона ѹ слаба. Нибы дурна зробилася...

... А шмели гудели неумолчно, и я жмуриться больше не могла – открыла глаза, и быстроногой козочкой бежала уже мыслью за бегущими в низком небе облаками.

Мне хотелось тоже мчаться куда-то в цветущий май, в леса и долы, туда, где есть край земли, конец света – заманчивый, таинственный и пугающий.

И я побежала сначала к Верке. Чтоб позвать Верку, подружку-однолетку, надо долго стоять у её ворот, звонко перекрикивать срывающегося на удешливый хрип, непримиримо лающего Веркиного пса.

– Ве-ра! Ве-ра! – Долго и протяжно вывожу я у ворот, пока, наконец, не заскрипела сенная дверь и Веркин дед – Ладым, по прозвищу Милый, неприязненно глядя мимо меня, малявки, не стоящей даже взгляда, куда-то по-за шлях, нехотя, не бросил:

– Нэм...

– А дэ вона? – тоненько вызваниваю я, а маленькое моё сердце уже щемит от тревоги: «Не выпустит дед Верку играть...»

Хромоногого деда Ладыма побаиваюсь я, Верка и все дети на нашей околице, потому как дед всегда ходит с толстой суковатой палкой, имеет грозный вид и такой же грозный голос.

Деда Ладыма боятся и остальные его домочадцы: его жинка Мария и дочь Ганя, тоже по прозвищу Милые. Собственно говоря, это прозвище принесли в дом и прицепили к деду Ладыму они обе и уже очень давно, так давно, что никто в селе не упомнит даже, когда именно.

А всё потому, что случись на селе любая весёлая оказия: свадьба или проводы, а то и не весёлая тоже – похороны, обе Милые: Ганя и её мать Мария – деда Ладыма дочь и жена, хоть званые, хоть незваные, умудрялись проникнуть в самую гущу застолья, посидеть среди гостей и упиться горилкою – непростительный и неслыханный для женского рода на селе стыд и срам, – и, начав танцевать поодиночке, прихватив подол руками и оголяя худые колени, непотребно махали юбками и, самое главное, начинали липнуть ко всем попадающимся под руку мужикам, обниматься, целоваться, бесконечно и умильно приговаривая: «Милый мой...»

Дети прыскали от смеха, смелели и бегали вокруг «танцурристок», девки, тётки и старые бабы, стыдливо отворачиваясь, брали вполголоса обеих Милых, иные, совестясь за весь бабий род, в сердцах увещевали:

– Бесстыдница! Одна с другою! Дывись, ондэ навить диты и ти смеются...

А Ганя с Марией, пуще прежнего, притоптывали искривившимися обувками – «капцами», то разводя руки, то прижимая их к сердцу, мотыляли подолами, силились неверными голосами подпевать «музыкам», но из слов было разобрать единственное: «Милый...»

Но долго так продолжаться не могло: кто-то извещал деда Ладыма, и тот, пряча под нависшими кустиками бровей глаза и неизбывный стыд за своё непотребное семейство и

собственную, истоптанную «капцами» обеих Милых жизнь, – вваливался боком в позорный круг, в котором потешали народ его пьяные бабы, хватал одну – Ганю – дочь – за руку, вторую – старую Марию – его срам и отраву – жену – за сборки линялой и мятой сподницы и выволакивал подальше от людей, от света, от мира...

Скоро затихал стук дедова посоха, но не скоро забывало село, как танцевали обе Милые на оказии, чванливо посмеиваясь и церемонно осуждая:

– Хиба ж им вставиши розуму? То ж Милые...

... А дед Ладым мне и не собирался сказывать: где Верка. Хромоного ступая, он направился в клуню, где, завидев его, замычала корова, загремел там чем-то звонким, вроде ведра-подойницы, отчего Веркин пёс сдавил в горле очередной рык, а потом зашёлся ещё более визгливым лаем.

В эту минуту из-за угла летнушки выглянула головка белобрысой конопатенькой Верки.

Я радостно засмеялась, махнула Верке рукой, она махнула мне и, пробежав мимо лающего пса и нисколько его не страшась прямо к воротам, ко мне, щербато засмеялась тоже.

– Айда в тёти Дунин лесок пойдём. За медуницами?! – Я таращу глаза, и чувствую, как меня переполняет, захлёстывает ожидание счастья, восторг, и наверное, всё это светится в моих глазах, потому как Верка восхищённо заглядывает в мои зеницы и выдыхает:

– Айда!

Но через минуту Верка кривит подковкой рот, готовясь заплакать:

– А дед не пустит!

Я гляжу Верку по белесым мелким косичкам – чучерепкам, заплетённым тugo, так тugo, что Веркины беленькие колосочки бровей вопросительно топорщатся на лбу, отчего Верка всегда будто чем-то страшно удивлена, и Верка, передумав плакать, радостно и заговорщицки шепчет:

– Айда тикать...

– Айда...

Мелькая стоптанными задниками сандалий, поднимая курево пыли с обочины каменистого шляха, мы, взявшись с Веркой за руки, бежим ко мне, вернее к дому моей бабушки Докии.

Бабушка была дома. Она сидела в теньке под большущей яблоней – твердосладом, ровесницей самой бабушки, и лущила прошлогодние кукурузные початки. Куры обступили бабушку со всех сторон, норовя выкрасть хотя бы зёрнышко, чтоб перепугано давясь – кукурузинки слишком колкие и большие – заглотать его.

Но бабушка зорко сторожила труды своих рук – в подоле её широкой сподницы, густо и мелко присборенной, покоилась золотистая россыпь зерна, которое она время от времени ссыпала в широкое сито, стоящее тут же, в траве и прикрытое старенькой рядиной.

По правую бабушкину руку, на неопасном расстоянии, топтался бабушкин петух, зорко и встревожено наблюдая за бабушкой, за её руками, за початком кукурузы, мелькавшем в бабушкиной руке, за решетом, рядиной, курами и небом и даже за лёгкими косынками несущихся по нему облаков, но, главное, за малейшей тенью, падающей на траву, в сад, от пролетающих птиц.

Петух страшился пуще смерти ястреба.

Но, не смотря на все страхи и тревоги, он не терял горделивой, чопорной стати, не забывал встрихивать головой, чтобы радужные, сияющие перья его роскошного воротника на шее переливались огнём, и изредка шаркнуть ногой со шпорами...

Мы с Веркой, запыхавшись и, едва дыша, вбегаем во двор, бежим во весь дух, будто за нами кто гонится, мимо черешни со шмелями, под яблоню к бабушке, кричим, что есть мочи что-то непонятное и звонкое так, что не слышим себя сами, разгоняем всех кур, взлетающих у нас над головами и всполошено кудахтающих, доводим до исступления петуха, смертельно обидевшегося за учинённую тревогу, сбившую его с панталыку.

Петух, бросив без присмотра кур, стремглав взлетел на дощатую обору – загородь, где похрюкивала, лёжа в луже, единственная бабушкина свинка и которая от петушиного гвалта, не успев, как следует, разомлеть от удовольствия, вскочила, завизжала на всю округу и забегала в загородке, словно ужаленная.

– Тыфу на вас. Як нечистый дух, ей-Бо...

Я краем глаза успеваю заметить, что бабушка сердито бросает кукурузный початок прямо в траву, машет головою, низко повязанной белой хусточкой, примечаю, как беззвучно шевелятся её синие, в ниточку губы, – расслышать в этом гвалте бабушкин голос невозможно.

Мы с Веркой бежим за хату, потом – к Гулеям, к Тане.

Таня – наша меньшая подружка.

... У Гулеёв были ворота открыты настежь, пёс Полкан, лобастый и длинноногий дремал в тени под кустом любистка, куда доставала его цепь и, открыв один оценивающий

глаз на нас, закрыл его тут же, видно решив, что на такую мелочь, как мы, не стоит тратить внимания. Коля – Танин брат – сердито сопя, сосредоточенно возился с колесом перевёрнутого вверх дном велосипеда прямо на солнцепеке, одетый в старый отцовский пиджак, шаровары, заправленные в кирзовые сапоги. Коле, видно, было совсем не жарко.

– А где Та-ня? – Запели мы с Веркой едва ли не в один голос, крепко держась потными ладошками за руки.

– Танько! – не отвечая нам, крикнул Коля куда-то во двор и, подобрав под велосипедом кем-то брошенное, надгрызенное прошлогоднее яблоко, зажмурил один глаз и прицелился. Через мгновение яблоко упало на середину двора, прямо в корыто с замоченным для стирки бельём: снятыми с икон белыми, вышитыми гладью и крестом рушниками, кружевными подзорами на кровать и тонкими, как паутина, накидками на подушки. У корыта сидела непричёсанная Таня и в том же корыте настирывала куклино платье. Платье было в синий цветок, и линяющая с него краска чёрно-синими кляксами стекала в корыто с дорогими хозяйственным сердцу хатними белоснежными уборами.

Таня подняла голову, увидела нас, шлёпнула синий комок в белую пену и насупилась:

– Мама бить будет! – Изрекла она не то Коле в отместку за яблоко, не то себе...

– А мы в тёти Дунин лесок... – Шептали мы на ухо Тане, подойдя почти вплотную.

– А вас туда пёс не пустит. – Злорадно изрёк, не глядя на нас, Коля, неведомо как рассышавший наш заговорщицкий шёпот.

Тёти Дунин пёс был и вправду страшный, он бегал через весь двор, гремя длинной цепью, натягивая её изо всей силы и тогда казалось, что эта громыхающая привязь вот-вот оборвётся, иной раз его вовсе не было дома, и в траве лежала только цепь с ошейником: он мог появиться из любой засады и никто ему тогда был не указ, особенно непрошенные и такие назойливые дети.

Но Таня уже взяла за руку Верку, а Верка – меня и мы неспешно и тихо, словно боясь спугнуть ожидающее нас счастье, двинулись сначала через двор в сад, потом на долину, где стояла криница с ключевой водой, где воду брали редко – далеко от дорог и хат. Мы попили из криницы воды, зачерпнув её ладонями – вода в кринице вровень с колодезным ободьем, почти у самой земли.

Я умылась, так как не раз слышала от бабушки (а я ей верила), что студёная родниковая вода прибавляет красы. Таня с Веркой верили мне и умылись, так же, как и я – прямо из криницы, чтоб стать краше, тоже. Вода текла между наших пальцев в чёрный зеркальный омут и три мордашки уже не глядели на нас из потаенной глубины, а морщились, сбегали куда-то к деревянным колодезным ободьям, тонули в непроглядной тьме. Мы пробовали достать их руками, высовывали им языки, щербато щерились, ахали и охали, с воссторгом слушая, как из дна колодца, где жили-поживали неустанные ключи, нам отвечали ахи и охи, только звонче и текучее наших.

Я знала, что на дне колодца живёт старый-престарый дед с бородой (так пугали в селе детей малых, чтоб не заглядывали в колодец от беды подальше), знала, что всегда у него кипит кипун – из белых родников – джерел по-нашему, и в

кипуне том – в вареве – дед варит себе студёное ситро, такое, как я пробовала не раз на свадьбах. Отчего ситро не доходит доверху? – так это дед его и выпивает, и всё напиться не может – сладкое оно, с колючками на языке и нёббе. Одни колючки да студёность и остаются в колодце... Жадный-прежадный дед. А ещё он детей малый утащить туда может, в страховину и темень, скуки своей старческой ради.

Про деда я не то чтоб совсем забыла, – помнила, но осмелилась оттого, что была не одна.

Я утёрлась своим белым платочком, которым заботливая бабушка повязала мне голову прямо с утра, чтоб не напекло солнце, и по-хозяйски, как делала мама, разложила хусточку на криничный ободок подсохнуть.

Верка и Таня утёрлись своими подолами.

Дольше засиживаться возле криницы было некогда, и мы узенькой, едва заметной тропочкой, среди зарослей лопухов, крапивы и Иван-чая, вдоль русла студёной речечки, мимо хаты бабы Дариньи-отшельницы и мимо усадьбы и клуни таких же отшельников – Пукасов, – двинулись к тёти Дуниному леску.

За тёти Дуниным огородом, сонно и безмятежно не живвшемуся на склоне под солнцем, за старым её садом, давно заброшенным, одичавшим и оттого нескованно милым, – начинался лесок. Тот самый тёти Дунин лесок, который был маленьким земным раем.

Я давно запомнила дорогу к тёте Дуне, знала, как перейти мосток через речушку, а если речушка после дождя разливалась и мосток утопал под водой, я умела найти мелкий брод с живой и шелковистой травой и кустами дикой мяты.

Но в этот раз и я, и Верка, и Таня, не смотря на то, что мосточек не был утоплен под водою, а играя сияющими солнечными пятнами, отражавшимися от воды, приветно и весело поблескивал под вешним солнцем, – не миновали напасти.

Сперва мы все трое улеглись на нём, стараясь заглянуть в самое дно речушки, в которой плескалась, кипела своя потайная жизнь с головастиками, лягушками, стрекозами и водомерами-жуками. Потом нам захотелось исследовать глубину речушки вербовой лозиной и коротенькая Таня, когда пришла её очередь мерить, булькнулась в воду прямо своей нечёсаной головой.

Когда спасённая Таня своё отревела, Верка вздумала вымыть свои сандалики. Но они странным образом решили от неё уплыть...

Пока мы доставали лозиной первый, второй куда-то задевался и находиться никак не желал. Мы облизали все камыши, бегали за длиннокосую вербу, полощущую свои ветки в Ананиевой копанке – ставке, куда стекала речушка, в надежде что «капец» – сандалик уплыл аж туда, кое-как исхитрились даже обследовать скользкий камень-валун, гладкий до блеска, на котором обочанские бабы бьют и полощут свои рушники (не за камнем ли прячется проклятущий?), но «капец», как в воду канул.

Верка сказала, что её дед убьет и мы встревожено застали, потому что помня деда Ладыма, мы не сомневались, что он может не только Верку, но и нас побить до смерти.

Я уж точно в это верила, потому как прошедшей зимою, когда снежная курява-метель не пускала меня на ковзанку на Обочу – крутогорье, ожерельем опоясывающее

окраину наших Ивашковец – (метель не утихала денно и нощно), – мимо бабушкиных ворот прошёл по безлюдной улице с единственным санным следом коней моего дядьки, а по-нашему, по-семейному, вуйка Петра, – дед Ладым Мильй, – то бабушка Докия, завидев его в окно, изрекла:

– О, баборван пошёл...

И столько было в бабушкином голосе игривого лукавства, затаенного смеха, что я тут же, рада, что потрафлю обожаемой бабушке, и развею скуку, восторженно подхватила:

– Баборван! Бабо – рван!

В хате повисла тогда гнетущая тишина. Слышино стало даже, как бьётся в стеклянную шипку снежная крупа:

– Дзынь – дзынь, дзынь – дзынь...

Мама с тёти Гафией смущённо и встревожено переглянулись.

Первой опомнилась мама:

– А ну, шоб я бильше такого не чула. Таких глупостей.

Глупостями у нас в селе называли все бранные, матерные слова, которые я, бывало, случайно слышала где-нибудь на улице от чужих дядек и от которых, понимая, что это и есть те самые глупости, краснела и робела сама.

Заробела я и тут.

Но моя тётя, любимая моя, предобрейшая тётя Гафия повернулась к бабушке и своим кротким и таким правдивым голосом, что в том, что она говорила, не было ни малейшего сомнения, засовестила мягко, по-дочернему бабушку:

– Нашо вы, мамо, при детине... Воно ж маленьке ше. Дэ ж воно знае: шо можно? И повторяе...

Я крепко тогда и очень долго после этого силилась раскүмекать: почему дед Ладым баборван? Не фамилия же у него такая?

Күмекала-күмекала и докүмекалась. Раз дед Ладым – баборван, значит он где-то ночью за околицей, либо в тёмном переулке, либо, что ещё опаснее – где-нибудь на кладбище, на чужой и страшной могиле, где nocte разве что нечисть, рвал баб.

Как он их рвал, я додуматься уже не могла. Не уж то, как наш пёс Шарик рвал однажды мой резиновый мячик, рыча при этом и подывая?

Но зачем ему рвать баб?

Он что, так зол на них? И за что?

И пока что в селе нашем, Ивашковцах, не слыхать было, чтоб кто-то, даже из стареньких бабуль умирал, или просто страдал от рваных ран, нанесённых зубами, а может, когтями деда Ладыма.

Да и баба Мария – Милая – тоже пока цела...

... Верка пошла в тёти Дунин лесок в одном капце. Громко шлындая и носом, и единственной обувкой, она молчала.

Издали уже приветливо синели тёти Дунины ворота, и синело ясное небо, и синим-синим цвели по обочинам прослески.

Весна, роскошная, щедрая, как на красоту девка, входившая в свою первую цветущую пору, – царствовала на земле, умиляла и тревожила.

Тревожила она и моё маленькое сердце.

Ещё не умея понять, но чувствуя всю необъятную, чающую силу красоты, весь её могучий ломающий и вновь

исцеляющий плен, – оно не могло вместить её в себе, и оттого томилось, изнемогало и маялось. И смутно подчинялось неясному зову – держать это в себе, как великую тайну, как нечто никем неделимое и никому более неведомое.

Так было и в тёти Дунином леске. Я помнила прошлогодние медуницы – яркие, разноцветные, как дивные и никогда невиданные каменья – самоцветы, схожие разве что с радугой, знала, что цветут и пролески – они цвели в этот час кругом, но снова, в который раз меня обожгло и сотрясло маленько, едва приметное посередь травы – диво.

В тёти Дунином леске цвели кукушкины черевички.

На тонкой светло-зелёной ножке в середине бархатной розетки листьев висели в ряд жёлтые, как нежный цыплячий пух цветки, похожие на крошечные черевички.

У барышни ли игрунки, у самой ли кукушки – проказницы были такие с невиданным тонким изгибом и зубком – каблуком точёные башмачки, черевички по-нашему?

Много-много позже, живя в чужих и далёких краях, я узнала, что дивный цветок этот не что иное, как первоцвет, примула. Что бывает цветок самым разным, причудливым, разноликим и разноцветным...

Но этот – дикий сородич его – всех мне милей по день нынешний.

... В леске пахло древесной прелой сыростью, грибами, молодой травой и фиалками, по-здашнему – пролесками, пахло цветущей пряной сливой, заблудившейся среди лесных великанов и подлеска. Тут, как и вокруг бабушкиной черешни, гудели шмели и пчёлы.

И сияло над нами солнце. Такое высокое и так щедро бросавшее целые снопы яркого золотого полымя сквозь вер-

хушки сосен и дуба, сквозь зелёное марево недавно распустившихся клёнов и вязов.

Таня срывала медуницы так, что в кулаке оставались лишь яркие головки с коротеньким хвостиком, Верка – старалась собрать цветов как можно больше, зажав беспорядочный пучок, который уже в руке не помещался.

Я же, натянув на коленки подол своего ситцевого пластица и подперев кулаком щеку, сидела над кукушкиными черевичками и боялась на них дышать.

Где-то, совсем неподалёку заливался соловей и ему, издалека, наверное откуда-то из садов, силясь ладно подстроиться в тakt, всё вторил другой, не попадал, опаздывал, начинал заново, пока совсем не стих и, чуть погодя не начал свою, непохожую на другие, партию с высоким переливом под самыми облаками.

... Солнце светило уже не сверху, а со стороны чужого села – Песца – оттуда, где ложится оно на ночлег, каждый вечер разливая малиновую краску по окрайку неба; стало звучнее соловьевое пение итише, свежее в леске; длиннее ложились тени; и солнечные зайчики всей гурьбой уже сбежались на опушку, где ещё сверкала под солнцем молодая листва. Гуще запахло грибной сыростью, и медовей разлила свой аромат цветущая слива.

Прямо над головою зашлась в нежно-томящем зове кукушка, не меняя свой вечный притет:

– Ку-у-ку, ку-у-ку...

Мне ясно почудилось, что кукушка ищет свои потерянные обутки, но в густой траве где ж ей приметить такую мелочь?

— Ку-у-ку, — повторяла всё яснее и всё жальче и я не посмела сорвать её золотистые, пахнущие молодой травой, девственной весною и солнцем резные черевички.

— Хочешь, я их оставлю? — спросила я кукушку. — Носи на здоровье, — подражая своей бабушке Докии, так же певуче, как и она, говорила я, уходя с поляны и почти не оглядываясь.

Кукушка мне ответить не захотела, и я собрала пучок медуниц, один или два стебелька колокольчика, которые не успели сорвать Таня с Веркой. Любаясь красотою, мы все вместе двинулись тем же гуськом по тропинке, минуя тёти Дунин сад, её хату, спокойно дремавшего на привязи пса, речечку в зарослях верб, Ананиев ставок, и мостик.

Про свою белую потерянную хусточку я не помнила, а помнила только певучий сказ кукушки, жалеющей о потерянных черевичках. И, как ценнное сокровище несла в себе тайну: и о жёлтых цветках, и о великолушном моём подарочке жалобнице — птахе, но главное — о том щемящем чувстве от увиденной красоты, которое меня заполнило всю до донышка, и которое я боялась расплескать неосторожным словом.

... Первое, что я увидела в бабушкиной хате — была хусточка. Её, как главного свидетеля моего проступка положили на скрыню — здоровенный в полхаты сундук под образами, где она лежала белым скомканым крылом несчастной птички. Я тоже, глянув на хусточку и на всех домашних (в хате была бабушка, тётя Гафия и мама), которые не говорили ни слова, стала похожа на жалкого воробья. Я была в чём-то виновата, это я точно знала, потому как такая, висящая грозовой тучей тишина не предвещала ничего хорошего. Я по-

теряла хусточку?! Но за такие проступки (я уже один раз теряла, и тоже хусточку, и ту даже потом не нашли) меня так уж сильно и не бралили...

– Ты где блукала? – Нарушила тишину мама и в её грозном голосе я услышала: она знает, где я бродила, знает даже нечто большее обо мне, чего не знаю и я сама.

– В тёти Дунином леске, – я чувствую, что с каждым дальнейшим звуком, которое слетает с моих губ, мой голос, будто умирая, становится всё тише и тише. Последнее слово уже вовсе застряло в горле и все вероятно только догадываются про лесок.

– А в криницу нащо лизлы? – грозновеет мамин голос.
– Зараз як возьму бука!

Бук в наших краях – палка, лозина, хворостина, это позорный атрибут наказания, особенно для меня, которую отродясь никто не бил никаким буком.

Я чувствую, как мои щёки, потом мой лоб и подбородок заливает горячая волна стыда, ощащаю, что в глазах закипают предательские слёзы. Чтобы скрыть их, я наклоняюсь низко–низко и почти залезаю головой под скрыню, где темно и где сверкают два зелёных глаза бабушкиного рыжего кота Мурчика.

Сначала моё сердце холдеет от страха, но два зелёных огонька шевелятся, приближаются к моему лицу с умильным «Мр-р» и уже не пугают, а успокаивают.

Я выкарабкиваюсь из-под скрыни и радостно, с ещё не просохшими от слёз глазами, ошарашиваю:

– А там кукушкины черевички есть и медуницы!

Привязнувшие, слегка пожамканные веточки медуниц, всё ещё зажатые в кулаке и совсем забытые я извлекаю на

свет Божий – кладу на скрыню: головки у цветков опустились долу, словно и они совестятся того, что я, малолетняя преступница недавно совершила.

Скоро моё преступление обнародовано:

– Вы нащо в криницу лезли? А если б упали, одна с другою? И кто в кринице умывается? Оттуда люди воду берут. Споганили поганки воду? – Мама разом выкладывает всё, и я с ужасом начинаю догадываться, что мы осквернили святая святых – криницу – подарок Божий с живоносным источником, криницу, к которым в Ивашковцах, да и во всех сёлах вокруг испытывают священный трепет.

Как я могла сотворить такое? Я же с пелёнок обо всём этом знала, кожей чувствовала, подсознанием... Я понимаю, что мне никогда, никогда не будет прощения, что своё преступление я не смою ничем, что о нём будет знать всё село, что с этим мне придётся жить и мучиться...

Я едва различаю бабушкины слова:

– А я иду до копанки – сподницы полоскать и бачу: хустка наша, та самая, шо на Гале была, валяется под криницей. А тут и Дарина, дай Боже ей здоровья, гукае: «Ты, говорит, Докие, не успела, а то б побачила: твоя Галя в кринице умывалася. А с ней и другие девчатка. Не знаю, може и плевались туды... Довго там на цыбрынях лежали, токо ноги одни и стырчали. Як и не попадали туды тилько?»

... – а я скильки разив казала, – доносится откуда-то издалека мамин ледяной голос, – скильки наказывала: из дому без спросу – ни ногою!

Я вспоминаю ещё один свой грех. Я никому не сказала, куда и с кем ушла. Я, никогда публично никем не битая (я не считаю хлопков рушником или ладонью по мягкому месту в

сердцах мамы, но никогда бабушки или тёти Гафии), холодаю от пока неизвестного, но ждущего меня наказания: слишком много грехов и преступлений на мне...

– Казала, чи не казала? – Звенит надо мною мамины голос.

Я не смею поднять ни на кого глаза и ковыряю носком черевичка край бабушкиной ряднины, яркими радужными дорожками укрывающими пол.

Тикает бабушкин будильник, громко примуркивает Мурчик, мягко тыркаясь головой об моё колено и убаюкивая песней-игрою, похожей на беззвучный шёпот мехов гармошки.

– Хтось нибы кликнув?! – робко и смиренно расслабляет натянутую струну в воздухе тётя Гафия. – Нибы хтось прыйшов?

Тётя подходит ближе к низкому окну и облегчённо – радостно вздыхает: – Так и есть – Тэкля, Сеничка...

Кто-то скребётся в сенях, не видя в потёмках дверной клямки, потом слышен приглушенный голос, тётя Гафия отпирает сама, и в хату, как-то бочком, согнувшись, входит маленькая баба Тэкля.

– А я бачу: нэма на двори никого. И на огороде – нема.

– Та мы вошли токо, а то поралися, – вступает в разговор бабушка, придвигая соседке табуретку.

Баба Тэкля вынимает из корзины и ставит на стол кувшин молока. – Вот, обедешное. Скипятить можно.

Растрогана и мама, и бабушка, и тётя Гафия. У нас коровы нет, и такой дарунок принимается благоговейно: ребёнку, то есть мне, больше всего на свете любящей молоко, молоко – как лекарство.

— Ой, спасибо, та недавно ж давали, — сердечно рассыпается в благодарности тётя Гафия, но её перебивает бабушка, потом мама и уже все разом, не давая одна другой вставить слово, бабу Тэкли нахваливают:

— Самим молочка не хватает, наверно... Семья ж велика... А вы щедри таки та совистни...

По осени все кукурузные снопы, сено и тыквы мы отдали Сеникам — бабе Тэкле и деду Демьяну. Вернее не со всем им, хоть корова была их, а их зятю — Степану Звягийчуку и его новой жене — Марии. За это нам и носят такое дорогое для нас молоко.

... Рада — радёхонька, что обо мне забыли и, миновав, как мне кажется, наказания, я прошмыгиваю мимо бабы Тэкли в сени, оттуда — за ворота.

Над соседним селом — Песцом — висит румяное зарево — солнышко заходит в свой Песецкий дом за горою. Я долго не думаю — ноги сами несут меня к Верке. В этот раз Веркин злой пёс меня не видит: ушами, мордой, всем своим существом он приник к миротворным звукам — внутри распахнутой настежь летней кухни, перед самым его носом звенит посуда, наполненная нестерпимыми запахами — Милые садятся вечерять. Я слышу, как тихим ручейком шелестит разговор, слышу иногда деда Ладыма басовитый говор и больше не смею звать Верку.

Грустно послонявшись по шляху, я бреду к бабушке. Интересно: бил дед Верку за потерянный капец? Я вспоминаю, что и Верка, и Таня тоже никому не сказались и что, наверное, их накажут ещё и за это. Мне жалко становится Верку, потому, что у Верки самый злой дед на свете, жалко маленькую Таню.

Тане, конечно, многое прощается, оттого, что она ещё маленькая.

Я тяжело вздыхаю от переполняющей меня грусти: может, простят и на этот раз Таню, и Верку тоже простят?

Про себя я вспоминаю только тогда, когда вижу бабу Тэклю, маленьким и сухоньким калачиком скатывающуюся от нашей, стоящей на пригорке хаты к себе, через улицу, домой. На минуту я задерживаюсь возле цветущей черешни и прислушиваюсь: шмели и пчёлы не гудят, наверно уснули, думаю я. В эту же минуту я чувствую, что и я тоже до смерти хочу спать, что ноги мои гудят, как шмели...

Неслышно, на цыпочках я захожу в открытые сени. Слышу, как в хате что-то тихо бубнит бабушка, ей отвечает звонким голосом мама. Я не могу разобрать слов, но мне кажется, что говорят обо мне. Мне стыдно и боязно являться им на глаза, и я тихонько ступаю в камору: там сейчас хоть и темно, но не очень страшно — дверькрыта. Я ощупываю мешки с мукой и зерном, решето с кукурузой, натыкаюсь на веялку в углу, возле которой, я помню, стоит низкая и широкая лавка. Присев на неё, я начинаю думать о том, что надо было обещать всем: и маме, и тёте, и бабушке неходить никуда без спросу, не заглядывать в криницу, не умываться в ней... Сказать, что очень сильно одумалась...

Потом мои мысли перескакивают на кота, самого доброго и ласкового в семье, который один меня жалеет и любит. Через минуту тот же кот, гладя меня мягкими лапками и воркуя-забаюкивая, уже напевал мне: «Мур-мур-мур, мурлык-муру, мыши юркнули в нору...» Я очень удивляюсь, что кот говорит стихами, которые я тоже немножко умею складывать.

Потом я кота уже не слушала, а погрузилась в тишину каморы с её пыльным и хлебным запахом.

... Нет, меня не били и в тот раз. Найдя меня вечером в каморе, мама отнесла меня, сонную, в кровать. Долго все трое надо мною вздыхали, жалели, долго сокрушались, что уснула не евши, что и так «в чём душа держится – тростинка на тонких ножках», что молочка бабы Тэклиного не испила, что вся «замурзана» и платьице – тоже не лучше.

* * *

... До чего ж вкусно пахнет в бабушкиной хате поджаристыми блинчиками. Сквозь утреннюю сладкую дрёму я улавливаю нежный, щекочущий ноздри запах, открываю один глаз и вижу, как бабушка, едва видная за припечком, что-то тщательно растирает в макитре.

Бабушкина рука в вышитом рукаве (вышивка на всех бабушкиных рубахах только чёрная) катает по кругу макитры макогон, потом останавливается. Другая – левая рука, которая только что держала макитру, тянется к железной круглой баночке с сахаром (на Рождество, а по-нашему на Риздво в ней были разноцветные «цукерки» – горошек, но мы с моими двоюродными сёстрами Ганей и Олей Попружными – вуйка Петра дочками – схрумкали их за один вечер), сыплет горсть в макитру и я догадываюсь, что бабушка мне трёт «халиву» из ядрышек калёных в печи орехов.

«Халиву», то есть халву эту я очень люблю и бабушка, хоть как бы у неё не хватало времени, нет-нет да и натрёт мне в макитре этого лакомства. Тогда я, получив уже не в макитре (её я могу разбить), а в железной мисочке или в бумажном рожке-кулёчке необыкновенную вкусность, щедро начинаю одаривать ею всех домашних.

И «халива» будет, думаю я, и блинчики. И я Веркедам. Я тут же ясно вспоминаю вчерашний день и – кукушкины черевички. Радость заполняет моё сердце так, что дрёму с меня как рукой снимает, я вскидываюсь, сажусь и радостно улыбаюсь.

– От гарна дивка! – заметив меня, хвалит бабушка, – встает до солнца, значит, справна будет!

Бабушка не вспоминает о вчерашнем, и я о нём забыла, словно это сон стёр мягкой кошачьей лапкой всё горькое и печальное. Мы с бабушкой весело смеёмся, я, уже умытая, причёсанная и заплетённая «в чучерепки» той же бабушкой (мама с тетей Гафией с утра на работе и я увижу их только вечером), помогаю бабушке: подкладываю в печь сухие (уже без зерна) кочерыжки кукурузных початков, без меры суетясь, лезу под руки. Мне не терпится заполучить «халиву» и побежать с ней к Верке.

Но бабушка, словно разгадав мои планы, зорко следит за мною и как-то незаметно усаживает за стол.

– Вот блинчиков с молочком поешь... Никуды твоя Верка не втече... Никуды не денется. – Степенно возвещает бабушка, и я, как всегда веря ей безгранично, утверждая, переспрашиваю:

– Не втече?

– Куды ж ей тикать-то? Граться разом будете...

И как-то плавно бабушка сменяет тему, рассказывает о кринице, о том великом счастье, что Бог дал – водичке, без которой человеку можно «враз и помереть», о великом чуде – «джерелах» – родниках, которые являются только по Божьей воле добрым людям, о том, что криницы – то есть родники, бывает усыхают – уходят прочь от тех людей, которые

их не уважили... Говорила бабушка и о том, что малым детям надо всегда спрашиваться, «раз куда идти вздумали» и быть «слухняными», что помнить надо где твоя одёжа и много чего она ещё рекла, не обижая, не браня, а любя.

Я очень желала перебить бабушку и объясниться: не плевались мы в криницу, не обижали её... Но бабушка, словно зная это, утвердительно добавила: – А вы добри диты, вы ж не станете поганить святую воду?! Тильки от не лезте бильше до воды... А то и упасть можете – дед старый с бородой заберёт...

Я смотрела на бабушку честными, широко открытыми глазами, забыв про то, как мы умывались, как кривлялись в кринице, забыла, как сбежали из дома совершенно самовольно, что не раскаялись, что не сказали, по крайней мере, я: «больше так никогда-преникогда не буду»... Я всё забыла и сама в эту минуту верила, что мы хорошие...

– От гарна дивка, – хвалит меня бабушка, – поела таки. Теперь можна и халиву, заместо «цукеркив» съесть... Вырастешь здорова та румяна...

Я, польщеннная похвалбой за своё прекрасное настоящее и ещё более прекрасное будущее, зажав в руке бумажный рожок с «халивой» стремглав уже бегу к двери.

... Ой, до чего же вкусная бабушкина «халива»! Мы с Веркой: с чумазыми липкими щёками, руками и сияющими глазами по очереди сыплем друг другу из рожка на ладошку каждой «халиву» и слизываем всё до последней крошки. Когда в бумажном помятом рожке остаётся «халивы» на самом донышке, в самом уголке, мы, счастливые и сытые, придумываем идти, как и вчера, к Тане. На Веркиных ногах, вместо единственного вчерашнего уцелевшего капца – но-

ые обутки. Конечно, они не совсем новые: на носу у каждого по дырке, и её ноги занимают новые капцы только до половины, но Верка ими очень гордится:

– Это были мамины, а теперь мои. Так дед сказал. И ещё он сказал, что мой капец псы украла, потому что я той, который был на мне, вчера, на огород закинула. Дед его нашёл, а второй не нашёл... А эти мне как раз. – Верка шмыгает носом и уверенно протягивает ногу в брезентовом, какие у нас в селе шьют на заказ, большущем тапке.

– Да, как раз, – тоже уверенно соглашаюсь я, потому что я люблю Верку.

У Тани ворота, как и вчера – настежь, и, как и вчера, Танин пёс дремлет под любистком. Нет во дворе только Коля с велосипедом, зато Таня сидит на самодельной гайданке, которую смастерил дядька Васька Гулей из толстой верёвки и гладенькой дощечки. Гайданка – качеля подвязана к ветке огромной шелковицы тогда, когда ещё Коля был маленький и с тех пор верой и правдой служит нам всем. Таня, медленно раскачиваясь, громко напевает:

– Полюби-и-ла молодого,

Молодого козака-а...

На верёвке на солнцепёке сушатся тётины Мариинны рушники с вышитыми цветами и синими пятнами по полю. Таня, завидев нас, чуть замедляет пение, но потом ещё громче выводит заново:

– Полюбила козака-а-а...

– Айда в хованчики гратися, – с ходу предлагаю я, не обращая внимания на Танино пение, к которому мы с Веркой привыкли.

– Айда, – не раздумывая, соглашается Таня. – Только жмурить буду не я...

– Ну тогда сосчитаем считалочку, – испуганно и поспешно частит Верка, заподозрив, что ей припишут очередь жмурить.

– На золотом крыльце

Сидели... – быстро считаю я, дотрагиваясь на каждом ударном слове до своего, Веркиного и Таниго живота:

– Царь, царевич,

Король, королевич...

На мне, как я не стараюсь убыстрить последний ударный слог, заканчивается считалочка, и я жмурю.

– Хованчики добри, – завожу я новую песню, стараясь как можно протяжнее и длиннее выговорить «хованчицкую», совершенно обязательную прибаутку, чтоб все успели, как следует спрятаться.

Я слышу, как Таня и Верка ссорятся, выбрав одну и ту же ухоронку в стайке за дверью, слышу, как Верка, шлётая огромными брезентовыми капцами, бежит через весь двор перепрятываться куда-то к воротам, но потом передумывает и шлётает обратно.

– Хованчики добри, – завожу я уже повторно, давая понять голосом, что мне уже надоело стоять колом на одном месте с крепко зажмуренными, да и ещё для надёжности с закрытыми ладошками глазами, в то время когда они, затаив дыхание от восторга, будут выглядывать из потайных местечек, чтоб уловить момент и прибежать на «хованчицкое» место меня застукивать...

– Ховайтесь добрее...

Я снова слышу, как Верка с Таней шепчутся, но уже нессорясь, и потому подытоживаю:

– Раз, два, три,

Четыре, пять,

Я уже иду искать!

... Когда пришла Веркина очередь жмурить, а моя – прятаться, – я побежала в Танин сад и самозабвенно упала в траву.

В высоких ещё не кошеных стеблях овсяницы копошилась своя, никем не тревоженная жизнь: быстро, словно боясь чего-то не успеть, бегали муравьи, стрекотал где-то на своей скрипучей скрипичке одинокий кузнец; ревнуя и негодуя, его перебивала синичка, посвистывая без всякого такту и красивых колен. И вдруг над самой моей головою, прячась в ветвях старой высокой груши, закуковала кукушка:

– Ку-ку! – звонко, выпевая каждый звук, чеканила кукушка.

– Ку-ку, – шептала я следом, едва успевая вклинииться в её размежеванный стих.

– А ты в черевичках? – чуть громче спросила я, когда странная певунья умолкла.

Кукушка, как и вчера в тёти Дунином леске, мне отвечать не стала: зашелестела ветка где-то на вершине груши, залопотали крылья и нигде: ни в небе, ни на земле, не заметив кукушки, я притихла и задумалась.

Мне виделось сейчас, как чудесная птица в жёлтых с резными каблучками башмачках красовалась себе где-то среди других птичек – своих подружек, выставляла напоказ свои солнечные черевики, как совсем недавно Верка – ма-

мины капцы, и мне так нестерпимо захотелось рассказать об этом хоть кому-нибудь...

— А я черевички кукушки вчера в тёти Дунином леске нашла, — показавшись из ухоронки и выдав себя с головою, тихо, как сокровенное счастье, выложила я перед Таней и Веркой. — И кукушка в них теперь ходит, я видела...

— А не бреши, — сказала Таня и стала шептать что-то Верке на ухо. Потом они обе отвернулись, взялись за руки и пошли.

Я смотрела им вслед и увидела, как Верка замедлила шаг, обернулась, но Таня потянула её за руку...

Скоро за ними захлопнулась дверь — они вошли в хату. Я постояла ещё немножко, надеясь, что заскрипит сенная дверь и в ней покажется хотя бы Веркина белесая голова, но вокруг было совсем тихо и пустынно.

— А я всё равно видела, — слизывая с губ рясные солёные слёзы, тихонько сама себе прошептала я и побрела домой.

* * *

Много времени прошло с тех пор. Но мне всё чаще и яснее припоминается тёти Дунин тенистый, пропитанный ароматом медуниц, весеннего цвета и грибного царства лесок, залитая птичьим щебетом и золотым солнцем поляна и такие же золотые кукушкины черевички — маленькие, повисшие в ряд на тонком стебельке колокольцы с резными зубчиками — каблучками, — точь-в-точь виденные мною на кукушке башмачки.

Виденные ли? Точно виденные.

Они не раз мне снились ночами в далёком детстве, они сняются мне, но уже очень редко, поныне...

Нескоромных Вячеслав Васильевич

ИВАКАК ПАНАЛЫК – ИЩУЩИЙ С КОПЬЁМ

Старый эскимос Ивакак сидел на корточках у яранги, курил трубку и смотрел в сторону моря, забитого в эту весеннюю пору белоснежными с голубыми изломами льдинами.

Море дышало, и это отмечалось по колыханию плотно сдвинутых, трущихся между собой льдин. Тяжёлая скорлупа льда вздымалась и опускалась, как возносится и опадает грудь тяжело дышащего, лежащего на смертном ложе человека.

Смерть, это тот последний рубеж, к которому был устремлён Ивакак, следуя обычаю своих предков, – уйти, пропасть в море среди льдов, чтобы не быть немощной обузой своему, так не просто живущему на берегу стылого океана, роду.

Ивакак был когда-то удачливым и неутомимым охотником, получившим имя ищущего с копьём за продолжительные и всегда успешные поиски зверя среди льдов.

Было время, когда упругие лёгкие ноги долгими часами в полярной ночи без устали выслеживали морского зверя, а сильные цепкие руки крепко держали гарпун или пальму¹, готовые всякое мгновение нанести удар и поразить цель. Это

¹ Пальма – копьё с тяжелым наконечником, предназначенное для охоты

мог быть бредущий в поисках добычи нанук², неосторожно задремавший на солнце тюлень, или вынырнувший из воды у края льдины морж с вислыми усами.

Ивакак был непревзойденным охотником по выжиданию зверя у дыхательной лунки во льду. Никому не удавалось так точно и аккуратно выследить зверя, настроить щуп, направить гарпун и, затаившись, выждать и поразить тюленя. Ивакак необъяснимо угадывал, в какой, в одной из заготовленных тюленями лунке, появится морской обитатель, чтобы глотнуть воздуха. Его расчёт был почти всегда верен, а интуиция не подводила: как только нос тюленя появлялся у полыни, резкий и точный бросок гарпуна решал исход охоты.

Еще более Ивакак любил охотиться весной с каяка, когда льды расходились и открывались широкие водные глади, свободные ото льда. Скользя почти бесшумно по воде, только слегка двигая веслом, Ивакак остро вглядывался в воду у края льдины, высматривая тюленя или моржа. И как только в глубине мелькала тень зверя, резким броском гарпуна пронзилась водная толща и, кожаный пузырь, закрепленный к древку гарпуна, начинал трепетать и уходить под воду, показывая, насколько точным был бросок. В этот момент сердце охотника билось, как неистово бьется в предсмертной тоске пронзённый зверь, и необычайный прилив энергии вызывал восторг.

А когда к побережью из тундры приходило стадо карибу³, то все люди стойбища выходили на охоту. Женщины,

² Нанук – белый медведь

³ Карибу – северный дикий олень

дети и старики, обойдя скрытно стадо, гнали пасущихся карибу на охотников, подражая вою волков.

Охотники же, укрывшись в тундре, поражали карибу стрелами, пущенными загодя и сильными бросками копий, если карибу подходили близко. В этот момент между охотниками шло негласное традиционное состязание на точность стрельбы и бросков.

Ивакак славился как умелой и точной стрельбой из лука, так и сильным точным броском своей остро отточенной пальмы. Порой ему удавалось за одну охоту поразить несколько карибу, как из лука, так и пальмой. Редко кто из охотников оказывался точнее Ивакаку, и семье доставалась лучшая часть добычи.

Ивакак вспомнил, как он выслеживал раненого им моржа у полыни, высиживая около часа наготове, чтобы добить зверя. Как оказалось, на запах крови пришёл исхудальный нанук и тот момент, когда вынырнувшего моржа Ивакак пронзил гарпуном, грозный рык дикого и голодного зверя, был настолько неожиданным, что остановил в жилах кровь.

Нанук поднялся во весь рост и, раскачиваясь, пошёл на Ивакака.

Уперев рогатину в выступ, и направив развилику в шею вставшего на задние лапы зверя, Ивакак поднырнул под нанука и резким броском вперёд крепкой рукой, сжимающей пальму, распорол ему брюхо от грудины до самого паха. Нанук заревел и повис на рогатине, пытаясь дотянуться до Ивакака своими грозными лапами. Рогатина под напором мощного тела звонко хрустнула, задержав зверя на один миг и именно этого мгновения хватило, чтобы одолеть нанука и выскоцьнуть из под враз ослабевшей туши.

Но всё это осталось в прошлом.

Теперь глаза старого охотника слезились на ветру, ноги стали непослушны, восприимчивы к резкой смене погоды, а рука слабой и неверной. Смертоносный для зверя гарпун и пальма, невероятно потяжелели, а воспалённые суставы причиняли боль при попытке бросить снаряд.

Жизнь замерла на закате, и очень напоминала солнце, которое неумолимо катилось за холмы тундры, теряя свою ослепительную силу, цепляясь на края, яростно выгрызая своими, уже не столь яркими, лучами линию горизонта, стремясь проникнуть и раствориться в тверди земли. И казалось, что ему это удавалось, еще отдельные лучи прорывались из-за холма, как вдруг резко погасли и они.

Наступил сумрак.... мрак....сеmr – смерть....

Ивакак осмотрел свой давно не использовавшийся каяк, что лежал у яранги, как он это делал много раз, собираясь на охоту и, отметил, что каяк стал совсем ветхим: деревянный каркас рассохся, тюленья шкура, когда-то плотно облегавшая каркас, потрескалась, кожаные крепёжные нити в некоторых местах оборвались.

Но теперь его последний поход среди льдов будет недолгим и надежность каяка была не столь важна.

Ивакак помнил, как в его молодые годы старых людей, доживших до белых волос и глубоких складок на лице, по решению на семейном совете увозили порой на дальние тороны и оставляли среди льда и стылой воды.

Момент, для того, чтобы уйти навсегда, был удобным.

Его сын, теперешний хозяин стойбища, уверенный и умелый Ничугайак, уехал с женой и внуком в соседнее стойбище. А это значило, что Ивакак сможет сам исполнить ри-

туал, свою последнюю волю и освободиться от щемящего сердце охотника ощущения обузы, ненужного для жизни хлама, сродни обветшалой и не согревающей на холодах кухлянки, что и годится только, чтобы застелить пол в яранге.

Больше старики никто не видел и все знали – море забрало их. Так повелось, что море, обиталище страшного чудища калупилука, имеет право забрать человека к себе, и если кому-то довелось оказаться в воде, что случалось порой во время охоты, таких не спасали, а, только оцепенев от страха, наблюдали, как темная стылая вода забирает избранных по велению угрюмого морского чудища.

Старый охотник присел у каяка и воспоминания нахлынули, захватили и унесли его сознание в прошлое. Так захватывает и околдовывает снежный вихрь, когда выйдя из теплой яранги в ночь и стужу, подхваченный упругим жестоким потоком выюги и потерявшихся среди снежной, бьющей в глаза, круговерти, оказываешься вдруг в иной реальности в сравнении с уютом и устоявшейся обстановкой домашнего очага.

Ивакак вспомнил, как он, совсем еще молодой и уже признанный охотник своего племени, в далёком стойбище разглядывал ладную девочку, чей милый нос так смешно выглядывал из натянутой на голову кухлянки, а два черных уголька-глаза с искорками-смешишками, невероятно сверкали и сразу очаровали его.

Девочка еще была мала, а Ивакаку уже было нужно выбирать невесту.

Он ждал три сезона, отправляя отцу Нагуе, – так звали смешливую его избранницу, подарки: добытые на охоте шкурки и прикупленные предметы нарядной одежды.

С Нагуей виделся Ивакак только по праздничным редким дням и почти не говорил. А когда пришло время забрать невесту, приехал, и, обсудив условия, заплатил семье своей будущей жены отступные в виде шкуры убитого белого медведя и увез Нагую в свою стойбище, в общую теперь для них ярангу.

Нагуя, войдя впервые в их жилище, по обычаям робко разложила свои вещи: кухлянку, фартук, оленины унты, округлый нож уло и масляную лампу с фитилем.

Лампу невеста тут же зажгла, и момент, когда фитиль загорелся, пуская тонкую струйку копоти, стал началом семейной жизни Нагуи и Ивакака.

Скоро юная жена округлилась в талии и стали с нетерпением ждать прибавления в семье.

Нагуя, освоившись, любила танцевать, нежно напевая мелодию, то ветра, то моря. Более всего ей удавалась песня чайки. Кружась в танце, как в вихре воздушных потоков, с раскинутыми руками-крыльями, Нагуя издавала звуки, так похожие на крик чаек, что порой, если танец исполнялся на берегу, летающие поблизости птицы, начинали присматриваться, стараясь определить, откуда слышится голос неведомого сородича.

Роды оказались тяжелыми.

Ивакак вспомнил, как металась в жару его юная жена, каким влажным и ядовито бледным было её лицо, как она стонала и затем тихонько успокоилась.

Повитуха, что была рядом, отметив, что душа Нагуи воспарила в царство теней, орудуя остро отточенным ножом, сделала искусный надрез, и через минуту ярангу огласил звонкий крик малыша.

Так родился первый сын.

Тело Нагуи уложили под каменную кладку на берегу, которую тут же замело снегом. Ивакак еще долго ходил к могилке, пока не отметил, что песцы и птицы совсем растасчили захоронение. После этого боль ушла из сердца.

Сын, названный Ничугайак – свет, оказался крепким и сильным.

Прошёл сезон зимней охоты, наступило короткое жаркое лето. И к Ивакаку приехал на оленевой упряжке известный вожак из чукотского стойбища с женой.

Чукчи и эскимосы, проживая на одном побережье, сдержанно общались, производя обмен. Чукчи предлагали шкуры оленей, одежду из шкур, нарты и самих оленей, а получали взамен добытых охотниками морских зверей, искусно шитые кухлянки, изделия и оружие для охоты, мастерски изготовленные каяки и большие лодки – умиаки.

Удобно усевшись в яранге, продуваемой ветерком, гость заговорил о том, что давно ждут с женой ребёнка, но милости Богов не случилось и он просит взять его жену к себе на ложе, чтобы она родила ему ребёнка от Ивакаку. Всем известно на побережье, что Нагуя умерла при родах, выносив здорового малыша, а значит, Ивакак может сделать так, чтобы и его жена быстро понесла дитя.

После смерти Нагуи Ивакак жил один без жены. Помочь чукче, он согласился, и сразу в первую же ночь, еще при муже-чукче принял его жену к себе на ложе, страстно обни-

мал молодую женщину по имени Нулик, – так заскучал он по женскому телу.

Гость лежал на другом, богато убранном ложе в яранге и утром, оглядывая смущенную жену и весёлого хозяина яранги, долго цокал языком и счастливо посмеивался, предвкушая будущее прибавление в семье.

На другой день гость уехал, одарив оленем и оставив Нулик у Ивакака, объявив, что дела в стойбище требуют его участия, но он вернется и заберёт жену, как только она понесёт ребёнка.

Ивакак и Нулик были счастливы вместе. Ночь встречала их, мягко стеля покровы на ложе любви. Настало время, и женщина отметила, что она понесла ребёнка. Время шло, Нулик округлилась в талии.

Долгими вечерами, лежа на шкурах в уютной яранге и наблюдая за Нулик, Ивакак любил припадать ухом к животу Нулик и ждал, когда ребёнок проявит себя. В тот момент, когда он ощущал движение и толчки плода, весело смеялся, чем веселил и маму ребёнка.

Муж Нулик, обеспокоенный затянувшимся товариществом по жене, наведался в стойбище Ивакака и, отметив не без удовольствия внешний вид своей беременной жены, предложил ей ехать с ним сейчас же. Но удивительное дело, Нулик, как только прозвучали слова об отъезде, просто исчезла, растворилась в тундре, незамеченной уехала верхом на олене за ближние холмы.

Прошло несколько дней. Ожидание возвращения Нулик затянулось. Ивакак не мог объяснить, куда исчезла женщина, и только догадывался о причинах такого поведения: Нулик совершенно не хотела уезжать от него, что можно бы-

ло понять и вовсе без слов. Он же, дав слово мужчины, готов был сдержать обещание, но на душе охотника было пасмурно и боль потери точила его сердце.

Не дождавшись Нулик, муж уехал в гневе.

Нулик тут же вернулась и взялась за домашние дела в яранге, так, как будто никуда и не уезжала.

Ивакак понял, что следует принимать решение, и сказал Нулик, что не хочет отдавать её назад. Женщина, бросившись к Ивакаку и, понимая всю ответственность их непростого решения, впервые заплакала и, рыдая, прижималась к нему, ища защиты.

Вскоре в стойбище прибыл посланник от старейшин рода эскимосов. Обойдя стойбище и огладывая Нулик заинтересованным взглядом, старый эскимос сказал Ивакаку за обедом, что он должен вернуть жену чукчи, иначе может случиться вражда, что не хотелось бы всем живущим на побережье залива эскимосам. Чукчи злопамятны, настроены воинственно и готовы отстоять своё право на Нулик и её ребенка.

Ивакак понимал, что он давал обещание и, склонив голову, изрек, отвернувшись и не глядя на посланника:

— Пусть родит — скоро уже.

С тем и расстались.

На исходе зимы Нулик родила сына.

Едва Нулик оправилась от родов, Ивакак с тяжёлым сердцем взялся готовиться к обещанной поездке, надеясь убедить старейшин оставить Нулик и сына с ним.

Но ситуация стала развиваться совсем не так, как планировалось.

Муж Нулик, не поверив обещаниям, как только узнал о рождении ребёнка, примчался в стойбище Ивакака на со-

бачьих упряжках в сопровождении трёх воинственных сородичей. Голодные собаки, учуя жильё после многочасового перехода, стали неистово лаять и переполошили местных собак, что спасло жизнь Ивакаку и сохранило его семью.

Услышав многоголосый собачий лай и сразу поняв, что это воинственные чукчи приехали забрать Нулик с сыном и наказать его самого, Ивакак успел приготовиться и, не ожидая милости, решительно встретил непрошенных гостей, ранив одного из них стрелой, пущенной из лука в ногу, еще на подъезде к стойбищу. Раненый завыл от боли и свалился с нарт. Чукчи замешкались и, спешившись, стали скрытно подбираться к стойбищу.

Ивакак вооружившись пальмой, ждал их в укрытии, а когда чукчи крадучись подобрались к яранге, метнул пальму по крутой дуге и пронзил одного из воинов насеквоздь через спину и грудь, пригвоздив к земле сверху-вниз так, что тело, дернувшись вслед пронзившему его тяжёлому копью, застыло в позе отчаяния и боли.

Из нападавших способных к бою остались двое.

Один из чукчей, пережив страшную смерть напарника, который ещё хрюпал, нанизанный на копьё, потеряв остатки решимости, бросился бежать в тундру, а в стойбище остался только муж Нулик. Теперь он беспомощно метался, ища защиты от острого взгляда охотника, но поняв, что его не собираются убивать, кинулся в тундру вслед за убежавшим ранее чукчей к брошенным нартам и вскоре они умчались, озлоблённо покрикивая на собак.

Следовало спешно собираться в дорогу, о чём хлопотали все сородичи, так как была вероятность, что чукчи вернутся отомстить за гибель своего человека.

Смочив на морозе полозья нарт для лучшего скольжения, Ивакак приготовился к поездке.

На нартах была устроена уютная кибитка, в которую охотник посадил Нулик с сыном.

Укрытая снаружи и устланная изнутри шкурами, кибитка получилась теплой. В нарты Ивакак запряг собак, собрал самое ценное и они отправились в путь через заснеженные просторы тундры вдоль моря, изредка останавливаясь, что бы поправить поклажу. На остановках Ивакак спешил посмотреть на дорогих ему людей и, откинув полог, наблюдал, как Нулик обнажённая до бедер весело кормит их сына, этакого щекастого и румяного богатыря, что вцепившись в грудь мамы, усердно сосал молоко. Нулик запрокидывала голову и звонко смеялась, — по всему было видно, что она счастлива.

Ивакак был горд и радовался возможности иметь семью, несколько огорчаясь от тревожной мысли о том, что их ждёт там, на далёком стойбище, и о том, что есть люди готовые отнять у него Нулик и сына.

На исходе третьего дня пути запуржило.

Буран гнал поземку с севера, сильный ветер и снег к ночи сделали дальнейший путь невозможным. Пришлось остановиться и ждать рассвета. Ветер всё усиливался и Ивакак взялся строить стену из снега, чтобы укрыть нарты с кибиткой от шквала. Выстроив стену из плотных кусков снега, Ивакак поставил в укрытие нарты и уложил собак, а сам улегся между ними на шкуры, выстеленные прямо на снегу и, укрывшись сверху другой шкурой, под вой ветра быстро уснул, утомлённый тяжелейшим переходом.

К утру буран улёгся, и взору Ивакака предстала снежная равнина, которая была по размеру сродни безграничному отчаянию от мысли, что он должен отказаться от своего ребенка и его матери. После всего пережитого стало понятно, что совершенно немыслимо отказаться от родных ему людей и Ивакак решил твёрдо отстаивать своё право на семью.

Приняв окончательно решение, Ивакак легко вздохнул и шагнул к нартам, открыл полог и увидел самую прекрасную из возможных сценок кочевой жизни, – Нулик обнаженная и сияющая кормила сына грудью.

Увидев Ивакака в сиянии ворвавшегося в ярангу света, Нулик улыбнулась ему самой замечательной улыбкой и во взгляде, которым она посмотрела на отца её сына, было столько любви, что Ивакак уже совершенно без сомнений, быстро собрал поклажу и отправился в путь к стойбищу своего брата. Брат принял его радушно, и, узнав о последних событиях, обещал свою поддержку.

Вскоре всё разрешилось.

Претензии чукчей были отклонены старейшинами рода, а воевать за возвращение жены своего оскаンдалившегося неудачной самовольной вылазкой авторитетного сородича, чукчи не решились. На совете старейшин родов было решено: спор был честным и Ивакак из него вышел победителем.

Так и решилось: Нулик стала женой Ивакака.

Прожили они долгую жизнь вместе. После рождения сына Нулик еще родила охотнику дочь. Сын вырос и стал успешным охотником и хозяином, помощником старшего брата, переняв всё лучшее от отца.

Дочь выросла красавицей и еще совсем юной покинула дом Ивакака, став женой молодого охотника.

Теперь подрастают внуки, всё меняется, вот и Ивакак остался недавно без жены: тихо – как и жила, ушла в мир тени его Нулик. Это сильно повлияло на него. Стало понятно: цепляйся-не цепляйся, – жизнь на исходе и если оставаться мужчиной и охотником, то следует уйти.

Ивакак спустил на воду каяк и, не выпуская из рук наконечник боевой пальмы, отправился в свой последний поход, последнюю охоту теперь уже за собственной жизнью.

В сумерках каяк скользил между льдов, и плыть было легко и как-то беззаботно.

Когда ищешь смерти, она сама избегает встречи, и заботиться не о чем.

Тем не менее, прибрежные льды закончились, и открылась стена торосов, между которыми каяк скользил, как по лабиринту. Двигаться вперед стало невозможно, каяк качало на пологой волне и звук трущихся друг о друга льдин и звонкая капель сопровождали эту качку.

Вода заполняла каяк и теперь уже борта чуть ли не черпали воду. Не ожидая медленного конца, Ивакак еще раз оглядел свой мир полярного охотника, ударил наконечником пальмы в борт каяка и решительно встал с поднятым над головой лезвием копья своего боевого и трудового оружия, с которым долгие годы он создавал, кормил и защищал свой род.

Каяк стремительно наполнился и стал погружаться в воду.

Скоро вода заполнила каяк. Последнее, что он видел, – стену льда над собой, небо надо льдами и краешек далёкого

берега родного побережья, где жили его родные, ради которых он жил и умер.

Оберемок Александр Николаевич

ОБРЯД

Они не знают, как называется поросшая кустарником и редкими деревцами возвышенность, на которой их заперли со всех сторон немцы. В суматохе отступления рота три дня назад сначала отбилась от основных сил и заблудилась в лесу, а затем попала в окружение. После ежедневных боёв, пробиваясь к своим, почти вся рота, включая командный состав, погибла. Теперь на этой самой высоте окопались и обороняются последние оставшиеся в живых красноармейцы. Их всего шестеро.

Они знают, что спастись никому не удастся. Ещё вечером боеприпасы почти закончились – остаётся не больше двух десятков патронов на шестерых. Повезло, что немцы прекратили наступление из-за сумерек. Бойцы понимают, что на рассвете враг пойдёт на последний штурм высоты...

Полная луна мягко освещает окоп, изрядно изъеденный воронками. Пятеро измождённых красноармейцев сидят вдоль окопа.

– Мохов, у тебя махорка есть? – тихо спрашивает конопатый красноармеец Авдеев. – А, Паш? Покурим в последний раз.

Молодой боец отрицательно качает головой.

– Нету у меня, Вася. Я же бросить решил.

– Ну, нашёл время...

– У мене є трохи, – говорит запасливый Сидорчук. – Куме, візьми, – обращается он к соседу, чернобровому худому солдату. Тот отставляет в сторону бесполезную теперь

винтовку. Он ранен в ногу, сквозь грязную повязку проступают пятна крови. Авдеев подсаживается к ним, они сворачивают, закуривают, прячут самокрутки в кулаках.

«Была не была», – думает Мохов и, улыбнувшись, тоже тянется к кисету. Сидорчук понимающе усмехается.

– Эх, родина-смородина, – бормочет Авдеев, выдыхая едкий дым. – А вы, ребята, взаправду кумовья, что ли?

– Так, – отвечает Сидорчук. – Іван у мене дитину хрестив.

Сидорчук, балагур и весельчак, в последние дни сам не свой, больше молчит, думает о своём.

– Так вы из одной деревни будете?

Сидорчук кивает, закашливается.

– Ми з Черкас... Разом до школи ходили, разом у колгоспі працювали... Та й одружувалися майже одночасно... Німців бити разом пішли...

– Ничего, мы им ещё дадим... – чуть громче говорит Авдеев, оглядываясь на остальных бойцов, словно ища поддержки. – Правда, Пашка?

– Мы им ещё покажем, – соглашается Мохов. – Мы их ещё до самого Берлина гнать будем... А потом вернёмся, как заживём! Первым делом Ваську женим!

И он хлопает Авдеева по плечу.

– А ты, хлопче, не одружений? – спрашивает Сидорчук у Авдеева.

– Нет, мне ещё такая не встретилась, – отвечает Василий.

– Приїжджай до нас, знайдемо тобі гарну дівчину.

– А что кум твой, аль язык со страху проглотил?

Іван хмурился, плевком гасит окурок.

– А що даремно говорити? Завели тут... Заживемо...
Приїжджай... Нас усіх вб'ють вранці... – язвительно шипить он.

Едва завязавшийся разговор сходит на нет. Замолкают. Тишина действует угнетающе.

– Беріть, хлопці, тютюн, – вполголоса предлагает Сидорчук.

Никто не откликается.

– Мужики, да чего вы пригорюнились? – Мохов переходит на громкий шёпот. – Это война! А мы кровью поклялись – бить фашистов до последнего вздоха! На могилах наших товарищей поклялись! И не время сейчас раскисать!

– Правильно, Пашка! – раздаётся из темноты.

– А то совсем уж... Как бабы...

После паузы он продолжает:

– Ладно, чего уж... Пойду я, Лёньку сменить давно пора.

– Я піду, – вызывается Сидорчук.

Он кряхтит, отдаёт Мохову кисет, берёт винтовку и, согнувшись, уходит во тьму. Через минуту появляется худощавый паренёк лет восемнадцати, прислонив винтовку и запахнувшись в шинель, приседает к товарищам.

– Ты, Иван, эти настроения брось, – зло говорит Авдеев. – Тут не дураки сидят. Все всё понимают...

– Погоди, Авдей, – из темноты приближается красноармеец Тэюттин. – Дай я скажу. Всем скажу, – говорит он чуть громче, приглашая подсесть ближе. – Важное скажу.

Когда все придвигаются к нему, Тэюттин тихо произносит:

— Когда к тебе приходит смерть, ей в лицо смеяться надо. Так у нас делают. Отец моего деда так умирал. Мне дед говорил. Он совсем маленький был, на берегу стоял. Всё сам видел. Большая льдина откололась и далеко в море ушла. Там отец моего деда был и другие охотники...

Голос Тэюттина набирает силу. Авдеев внимательно слушает, прищурившись. Мохов же, закрыв глаза, пытается нарисовать в воображении рассказ северного зверобоя.

— Да... Там много людей было... Они знали, что льдина их в море на смерть уносит. И тогда они, чуя приближение смерти, стали в большой круг, друг к другу спинами, и подняли оружие...

— В смерть стрелять, что ли? — усмехается Авдеев.

Тэюттин не обращает на это внимания.

— А потом они смеялись. Громко смеялись. Так громко, что на берегу слышно было. Мой дед говорил. Он слышал.

Тэюттин достаёт из кармана трубку, берёт у Мохова кисет, не спеша набивает, закуривает и говорит:

— Обычай...

— А с чего смеялись-то? — спрашивает Мохов.

— А смешное рассказывали. Про это, — отвечает Тэюттин и показывает ниже пояса.

Бойцы негромко смеются.

— Ладно, — говорит Авдеев. — Поспать надо... А то как же помирать-то не выспавшимися, а, Иван?

Тот не отвечает.

Уставшие солдаты быстро утихомириваются. Мохов закрывает глаза и вдруг чувствует холодный, пронизывающий насквозь северный ветер. Он хочет укутаться в шинель,

но на нём вдруг оказывается тёплая меховая подпоясанная кухлянка¹, поверх которой мама надела на него непромокаемую камлейку² из нерпичьих кишок. Едва он это обнаруживает, становится гораздо теплее. Новенькие и высокие торбасы³ согревают ноги. Ладно подогнанная одежда даже создаёт хорошее настроение, но что-то всё равно не даёт ему покоя, тревожит его. «Отец!» – вспоминает он и со всех ног пускается к морю, успев удивиться своему странному промедлению.

Недавно Тынэ-нкэю исполнилось семь лет, и сегодня отец впервые берёт его с собой на охоту. Запасов почти не осталось, зима выдалась голодной. Мужчины собираются сетью ловить тюленей. К морю идут на лыжах – накануне отец проверил их исправность, а Тынэ-нкэй с удовлетворением ощупал камус⁴, которым подбиты лыжи. Когда подходят к берегу, отец неожиданно для мальчика велит ему оставаться на берегу. Тынэ-нкэй обижается, но виду не подаёт – отец всегда учит его не выраживать своих чувств. Тынэ-нкэй смотрит, как среди торосов удаляются охотники, и молча завидует.

Но вдруг начинает свистеть ветер, поднимается волна. Большая льдина с громким треском отрывается и идёт в море...

¹ Кухлянка – верхняя меховая рубаха народов Севера.

² Камлейка – промысловая одежда из кишок морских животных или ткани у народов Аляски и северо-востока Сибири

³ Торбасы (торбазы) – сапоги из шкур у народов Севера и Сибири

⁴ Камус – подкладка на скользящую поверхность лыжи для того, чтобы лыжа не проскальзывала при подъёме. Изготавливают из шкуры голени оленя

Льдина уходит далеко. Подбежавший Тынэ-нкэй останавливается у края льда, тяжело дыша. Отсюда среди охотников отца не видно, да и сколько человек стоит на льдине, посчитать не получается – мужчины собираются в круг. Свистит ветер, но сквозь этот свист Тынэ-нкэю отчётиливо слышится далёкий смех нескольких человек. Он знает наверняка, почему зверобои смеются.

Мальчик понимает, что отец больше не вернётся. Раз уж духи решили его забрать, то звать на помощь не имеет смысла. Да и звать некого – стойбище далеко. Теперь Тынэ-нкэй становится старшим мужчиной в семье. Ещё слыша смех с моря, он поворачивается и, немного сгорбившись, бредёт в сторону стойбища. Он несёт тяжёлую весть...

Ветер сдуваёт с ног, сбивает с дороги, мальчик часто падает, поэтому теряет верное направление. Спустя время Тынэ-нкэй понимает, что заблудился. Он не волнуется до того момента, пока какой-то злой дух, мелкий пакостник, не крадёт его лыжи. Кухлянка больше не спасает от холода. Тынэ-нкэй замерзает и не может идти дальше. У него кончаются силы, ноги не слушаются. Когда он в очередной раз падает, то решает больше не подниматься.

Темнеет, стихает ветер, показываются звёзды. Тынэ-нкэю становится теплее оттого, что возникает безразличие к дальнейшей жизни. И тут он слышит задорный собачий лай.

Тынэ-нкэй кричит...

Находит его мать, Гитиннэвыт. Когда собаки добегают к ярангे⁵, Тынэ-нкэй сам встаёт, топчется, не решаясь войти.

⁵ Яранга – переносное жилище некоторых народов Севера, покрытое шкурами. Яранга – переносное жилище некоторых народов Севера, покрытое шкурами

Мать заводит его в чоттагин⁶, снимает камлейку, кухлянку, развязывает торбаса. Тынэ-нкэй залезает в полог⁷ и только тут не выдерживает, начинает рыдать.

А потом у него поднимается жар. Мальчик мечется под шкурами, стонет, время от времени кричит, зовёт отца...

... Он стоит на льдине вместе со всеми. Сильные, коренастые мужчины, находящиеся рядом, слегка раздвигаются, уступая место в кругу Тынэ-нкэю.

Кто-то даёт ему гарпун и объясняет, куда направлять. Мальчик становится спиной к центру круга и выставляет перед собой своё новое оружие.

– Правильно, Тынэ-нкэй, – говорит ему отец. – Смерть придёт с моря. Но ты не должен её бояться. Ты должен её презирать. Плюнь в ту сторону. Вот так, молодец. А теперь смеяйся вместе со всеми.

Хохот охотников нарастает. Тынэ-нкэю кажется, будто смех живой, будто тянет он многочисленные руки во все стороны, вверх, всё дальше и дальше. Охотники тоже становятся огромными, их смеющиеся лица с суровыми глазами будто вытесаны из камня и льда, их хохот громоподобен. Тынэ-нкэй понимает, что смерть совсем не страшна, когда рядом с тобой отец и другие великаны.

Вот стоит Выкван, один из лучших зверобоев на всём побережье. У него три жены и восемь детей, мясо в его ярангे никогда не переводится. Чуть поодаль – Тэгрыгин, гроза

⁶ Чоттагин – хозяйственная, холодная часть яранги

⁷ Полог – жилая часть яранги, внутренний шатёр

эскимосов. На его руке от кисти до локтя негде ставить отметины⁸.

– Нет, рано тебе уходить в другой мир, – слышит Тынэ-нкэй чей-то голос. Ты выздоровеешь и станешь великим охотником. Ты крепкий мальчик, и твой сын будет крепким. Ты назовёшь его Омрын⁹. А твоё время ещё не пришло. Вставай, уходи отсюда. Тебе ещё не пора...

– Кто это? – спрашивает Тынэ-нкэй.

– Вставай... не пора...

Слева с винтовкой наперевес улыбается ему красноармеец Тэюттин, его каменное лицо приближается к самому уху:

– Вставай, вставай, Мохов, – говорит Тэюттин, – немца колоть пора!

... Обер-лейтенанту Краузе определённо не везёт. Мало того, что по настоянию дяди, фанатичного вояки, две недели назад его вытащили из родного Потсдама и отправили на восток. Так ещё все эти четырнадцать дней на фронте его доканывает взбесившийся желудок. К тому же эту чёртову горстку русских никак не удается уничтожить. Да и солдаты ему достались – грубая и наглая деревенщина. Они не привучены воевать, они умеют только пить и орать свои баварские песенки.

Вот и сегодня рано утром его будят шум и суматоха. Обер-лейтенант останавливает пробегающего мимо унтер-фельдфебеля:

⁸ Чукотские воины татуировали на руках точки по количеству убитых врагов

⁹ Омрын (чукотск.) – крепыш

- Что происходит?
- Господин обер-лейтенант, русские...
- Что – русские?
- Они смеются...

Оносова (Перлова) Евгения Михайловна

ЕЛИ-МАА, СТРАНА ЭДЕЛЬВЕЙСОВ

- 1 -

– Когда Серёжка возвращается?

– Завтра домой выезжает, будем встречать его в субботу на вокзале. Ты с нами?

– Конечно, я ему обещала... Может, до речки, пока светло?

... Обещала она ему. Хоть Вета и лучшая подруга Наташке, а лучше б не видеться им с Серёжкой, только сердце парню бередить...

– Айда?

– Айда.

Коренастая Наташка высыпала из ладони в траву горсть шелухи от семечек и стала спускаться. Её бывшие одноклассники, впервые за два года после школы приехали сегодня, наполнив голосами и смехом тихий деревенский дом её бабушки. Серёжки только не хватает, но в следующую субботу всё будет как раньше.

Деревня расположена на возвышенной равнине над тремя речками. С одной стороны Выя, впадающая в Туру, с другой – сама Тура, да тут же ещё одна небольшая бурная река Мельничная. Только у неё русское название, потому что устюжане поставили здесь первую мельницу.

А у Серёжки и Наташки предки были из vogulov, тех, что во времена золотой лихорадки переселились к Туре. Тех,

что верили: именно здесь их место, а в белых скалах скрыт вход в страну Ели Маа, где все молоды и здоровы, где нет смерти и горя. Вот и назвали новое поселение по имени той страны. Через пару веков Елькино превратилось в Ёлкино, хотя ёлок в лесах вокруг не так уж и много, сосны да берёзы в основном. И живут сейчас в основном русские, только в двух домах потомки древнего vogульского народа: Наташкина и Серёжкина бабушки...

«И как они тут до сих пор эту картошку на склоне окучивают», – подумала Вета, – «неудобно же».

Задержалась ещё немного наверху, вдохнула полной грудью и легко сбежала вниз к подруге, которая уже отвязывала лодку от дерева.

– К скалам? – спросила Наташка.

– Ага, – кивнула Вета, забираясь в лодку.

До скал, если бы речка была широкой и прямой, рукой подать, но Тура, река vogулов, хитра, извилиста, как вертлявый уж. Всюду островки с тонкими деревцами и высокой травой, по воде веснушки жёлтых кувшинок. Первые повороты Наташка всегда сама проходила, на ровный отрезок отдавала вёсла Вете, а у скал забирала, потому что только она умела подвести лодку вплотную к известняковой стене, и можно было рассмотреть мельчайшие трещинки на окостеневших много миллионов лет раковинах. Вета закрывала глаза и слышала шум древнего моря.

Вот как сейчас: говор реки стал плеском солёных волн, рука коснулась прохладной воды. Как хорошо было здесь, в старой деревне! Наташка и Серёжка уезжали сюда в последний школьный день и жили здесь всё лето, помогая стари-

кам, а Вета обычно навещала друзей в июле, останавливаясь на пару недель в доме Наташкиной бабушки.

– Ветка, слушай, когда Серёжка вернётся...

– Что? – отозвалась Вета, уже зная, о чём подруга хочет сказать. Наташка провожала его в армию и ждала его эти два года, писала ему каждый день. А он всё спрашивал, как там Вета.

– Ёлки-палки, он же не нужен тебе, правда? Ты учишься в Москве, возвращаться не собираешься.

Наташка смотрела исподлобья: узкие тёмные глаза, кучерявые жёсткие волосы, смуглые крепкие руки. От прабабки-вогулки передались ей острый ум и быстрота движений, когда она длинной палкой забивала рыбу прямо в воде, это вызывало восхищение даже у видавших виды опытных рыбаков. Собственно, больше ничем и ни у кого Наташка восторга не вызвала в отличие от русой белокожей Веты с глазами цвета того самого древнего моря. Вот и Серёжка, их одноклассник, никогда не смотрел на неё, как на Вету. Наташка же «свой парень», друг-товарищ, с которым и в поход и в огород. Уж никак не в кино и не на танцы.

– Не переживай, Наташ, я ему никогда не обещала ничего. Серёжа – очень хороший, но мы просто друзья, ты же знаешь.

– Я его люблю, – хмуро сообщила Наташка, – ты скажи ему, что у тебя появился кое-кто. Пока ты одна, он всегда будет надеяться, скажи ему. Чтоб не надеялся. Пожалуйста.

– Прости, но я не хочу вратить себе и ему. Я не с ним не потому, что у меня «кто-то появился», а потому, что вижу в нём только друга. Не переживай ты так! Мы встретимся на пару часов, а потом я уеду... Надолго.

Вета не решилась сказать «навсегда». Она вздохнула и ласково отвела непослушную прядку с Наташкого лба:

— Тебе не о чем беспокоиться. Будешь рядом с ним, и он обязательно поймёт, как много ты значишь для него.

— Ладно, ещё попляшешь на свадьбе у нас, — хмыкнула Наташка.

— Конечно, и кокой¹ буду у ваших детей, вон там крестить приедем, — Вета показала на дальний берег, где возвышался красный кирпичный храм Николая Чудотворца.

- 2 -

Они подходят друг другу, подумала Вета, они похожи, как брат и сестра. Серёжка такой же коренастый, смуглый, темноволосый. И предки одни у них, хотя в любви такие вещи редко имеют значение...

— А помнишь, Серёжка эдельвейс искал? — вдруг снова помрачнела Наташка.

Как не помнить! Где-то вычитал Серёжка легенду, что даже равнодушная и холодная красавица полюбит того, кто принесёт ей с труднодоступной скалы цветок, похожий на след от лапы льва. И с чего Серёжка взял, что на известняковых скалах могут расти эти пушистые серебристо-белые цветы?

В канун Ветиного тринацатилетия полез он на скалы и сорвался вниз, упал в реку. Чудом остался жив, отделавшись сотрясением мозга и переломом руки.

¹ Кока (разговорное, russk.) – крёстная

– Не иначе, Чохрынь-ойка тебя спас, бабМания говорит, – заметила Наташка, когда они с Ветой пришли навестить его в больнице.

– Ой, моя бабушка тоже самое говорит, – засмеялся Серёжка, косясь на Вету, – они обе вечно сказки про Чохрынь-ойку рассказывали. Конечно, я же человек-нож, как он... Хотя, знаешь, может, и спас. Я с ножом бабМаниным на скалы-то лез, ну с тем, что она мне подарила.

БабМания, наполовину русская, была крещена, но в отличие от Серёжкиной бабушки истово верила в vogульский пантеон богов, а особенно в Чохрынь-ойку, который по её мнению, всегда оберегал мужа-рыбака от несчастья, только вот от белой горячки не уберёг. Чохрынь-ойка, с головы до пят в латах из тонких лезвий, с серебряным посохом так впечатлил Серёжку, что класса до шестого он на каждую новогоднюю ёлку хотел быть исключительно человеком-ножом, мастерил костюм из железок, фольги, бумаги и проволоки. Так к Серёжке и приклеилось прозвище «Человек-нож».

Когда Серёжка с Наташкой шли рыбачить, бабМания давала им с собой нож, вокруг которого были намотаны листвы, сверху перевязанные красной лентой. Однажды, довольно далеко от берега лодка дала течь, Наташка воткнула в щель нож бабМани, и вода прибывать перестала. После этого случая Серёжка выпросил нож себе и никогда с ним не расставался. И не было у него друга лучше Наташки, пока к ним в шестом классе не пришла красивая новенькая. Её отец был военным, его перевели в военную часть при городке, неподалёку от которого и находилась деревня. В самой деревне школы не было, и Серёжка с Наташкой ездили в школу и обратно на автобусе. Потом Серёжкины родители пере-

ехали в город, но каждое лето Серёжка всё равно проводил в Ёлкино.

Новенькая, Виолетта, или как она сразу представилась, Вета, жила напротив школы. Посадили её за партой впереди Серёжки и Наташки. Серёжка утаскивал её пенал, насыпал туда земли или засовывал обидные записки, обзывался «веткой-котлеткой», «веткой-табуреткой» и «веткой-малолеткой», больно тыкал ручкой в спину в разгар письменных работ. Вета резко оборачивалась, но Серёжка делал вид, что это не он, старательно выводя буквы или цифры в тетрадке. В конце концов, подложил ей в портфель огромную гусеницу. Вета, вытаскивая учебник перед уроком математики, увидела зелёную мохнатую гостью и так закричала, что сбежалось полшколы. Наташка не выдержала и неожиданно залепила лучшему другу крепкую затрещину, и он неделю ходил с синяком под глазом, а Наташка пересела к Вете.

Летом перед седьмым классом Наташка пригласила подругу в гости пожить на неделю в деревню, и они с Ветой целыми днями катались на лодке, собирали землянику, бегали с самодельным воздушным змеем по берегу реки, а Серёжка исправно попадался девчонкам на глаза с удочкой наперевес.

А потом полез искать эдельвейсы.

– Теперь у меня столько же душ, сколько у вас, одну точно в речке потерял². Вместе с эдельвейсом, – у Серёжки дрогнул голос, и он поднял на Вету глаза, полные отчаяния.

– Так ты его нашёл всё-таки? – удивилась Наташка.

² По вогульским поверьям у мужчины пять душ, у женщины четыре.

— Нашёл, — тихо сказал Серёжка, глядя Вете прямо в глаза, — но только кто ж мне поверит?

— Я тебе верю, — ответила Вета, — ты поправляйся.

И Серёжка просиял:

— Конечно. И я обязательно найду другой эдельвейс. Для тебя.

— Ну, уж нет! — возразили в голос Наташка с Ветой.

С тех пор они дружили втроём.

- 3 -

К шестнадцати летию Веты Серёжка где-то умудрился выковать медную брошку и покрыть её краской-серебрянкой. Получилась разлапистая звезда, с припаянными в серёдке бусинами.

— Вот, эдельвейс, а эти бусины — мы трое, друзья навсегда, — смущаясь, протянул он подарок имениннице. Её густые тёмные ресницы вздрогнули, но не дрогнуло сердце. Она поцеловала его в щёку, прикрепила брошь к синему платью, и они ушли вдвоём кататься на лодке.

И в тот вечер не было счастливее человека, чем Серёжка, и несчастнее, чем Наташка, которая сама и уговорила их идти без неё.

Вечер был тёплым, как парное молоко, над водой стоял белёсый пар, солнце подсвечивало скалы розовым.

Над лодкой кружили стрекозы. Одна в цвет Ветиного синего платья опустилась на бортик.

— А ты знаешь, что Человек-Нож умеет превращаться в стрекозу? — спросил Серёжка.

— Конечно, и это наверняка он, — поддержала Вета. — Охраняет нас. Как думаешь, есть у человека душа? БабМаня

считает, что у человека много душ. Например, стрекоза – чей-нибудь дух, душа. Твоя или моя.

Вета поймала кувшинку и вытянула её за длинный стебель из воды.

– У мужчины пять душ, а у женщины четыре, но главные – две, ис и лили, – сказал Серёжка.

– Ис – как река, которая тут рядом течёт? – уточнила Вета.

– Ис – это тень, значит, наш Ис как-то связан с загробным миром, раз вогулы его так назвали, – объяснил Серёжка, – а лили – это дыхание, дух. Когда человек умирает, лили улетает белой птицей в небо, а ис уходит в страну Ели Мaa и становится там молодым и счастливым. Наше Ёлкино, может в каком-то тайном месте и есть та самая волшебная вогульская страна, не зря ж у него название раньше не Ёлкино, а Елькино было. Ты знала?

– Нет, интересно, расскажи ещё что-нибудь, – попросила Вета, – это ты от бабМани наслушался?

– Она много рассказывала раньше, сейчас болеет, молчит больше, – кивнул Серёжка, – а я на археолога хочу выучиться, может, когда-нибудь здесь раскопки организую и найду доказательства существования Ели Мaa.

– Здорово! – восхитилась Вета и вплела кувшинку в волосы.

– Ты... – у Серёжки перехватило дыхание, – а ты кем хочешь стать?

– Не знаю ещё, экономистом, как мама, наверное, в Москву поеду, – пожала плечами Вета.

– В Москву, – повторил Серёжка, – так далеко...

Прозрачные крылья дрогнули, и синяя стрекоза взмыла вверх, растворилась в воздухе.

Серёжка налёг на правое весло в самом широком месте реки, чтобы лодку плавно закружило под розовеющим небом, и он держал Ветины ладони в своих, словно она никогда и никуда от него не уедет.

И она почти верила в это.

- 4 -

Едва Наташка с Ветой добрались до берега, как началась гроза.

Хохоча и подталкивая друг друга, с трудом вскарабкиваясь по мокрой траве на пригорок к дому, добрались до ворот.

– Ерытасьма³ какая, ёлки-палки! – пробормотала баб-Маня, когда две вымокшие насквозь подружки забежали в дом. – Ваши-то все из бани вышли уже, за столом сидят, пироги мои нахваливают. Идите кости погрейте!

И потом, румяные после бани, Наташка и Вета пели под гитару с одноклассниками и говорили, говорили, говорили... Чудесный был вечер, и все уже мечтали о следующей субботе, когда вернётся Серёжка.

Утром Наташка пошла всех провожать на автобус, а в итоге решила ехать с ними в город, навестить Серёжкину маму.

– Через полчаса прибегу к тебе, – помахала Наташка. Дом, где жил Серёжка, был в одной остановке от школы.

³ Ерытасьма – непогода, хмаръ (вогульское)

– Давай, – кивнула Вета. Ей стало грустно: это было последнее лето здесь, отца распределили в Подмосковье, и через пару месяцев родители собирались переезжать. Наверное, дороги ей сюда больше не будет.

Наташка не появлялась до вечера, и Вета начала беспокоиться. Набрала телефон Серёжкиной квартиры.

– Тётя Катя, здравствуйте, это Вета, а Наташа не у вас?

И кто-то голосом, слабо напоминающим голос Серёжкиной мамы, ответил:

– Наташа ушла.

А потом, словно хлынул ливень, и сквозь него донеслось, прорвалось что-то невозможное, несусветное, неправильное:

– Веточка, Веточка, нет больше нашего Серёженьки!

Был какой-то шум, словно звонили с корабля на штормящем море, и Вета ничего сквозь него не могла разобрать. Она пробормотала в ответ что-то вроде: «я перезвоню, спасибо» и нажала рычажок. В комнату вошла Наташка, опухшая от слёз, и в её глазах была такая пустота, что Вете стало невыносимо холодно.

– Он утонул, – сказала Наташка.

И Вета рассмеялась. Бред полнейший. Не может быть такого! Серёжка плавал лучше всех на свете. Они ныряли с лодки на самом глубоководье, где от холодного течения сводит судорогой мышцы. Он был мастером спорта по плаванию, в конце концов!

– Прекрати, – тихо сказала Наташка. – Его везут в цинковом гробу, потому что... Потому что его неделю найти не могли. Закончил службу, домой собрался. А перед поездом поплавать решил. Один. И всё, пропал.

– Он не мог утонуть, – пробормотала Вета. – Мы...
столько раз вместе плавали, он как рыба в воде был!

– Ну вот, смог, – зло огрызнулась Наташка, и её за-
трясло. Она присела на край кровати и закрыла лицо руками.

– Может, не он это? – слабо отозвалась Вета.

- 5 -

«Может, не он это?» – пульсировало в висках, когда
гроб опускали в землю на ёлкинском кладбище.

«Я так и не поцеловала его ни разу», – вдруг подумалось.

Вета отстегнула брошку от платья, сжала в ладони, и та
уколола кожу булавкой.

«Человек-нож, у тебя же было ещё целых четыре жизни,
куда ты их подевал?»

Комки сухой почвы стучали о крышку гроба, и вот уже
лежит человек-нож под свежим коричневым холмиком, и
маленькая женщина, похожая на тень Серёжкиной мамы,
упала на колени и воет так жутко, что сердце останавливается.

Наташка серая, стоит и не шелохнётся, словно окаменела. Прижимает к груди небольшой свёрток, перемотанный
листьями и красной лентой. Его нашли в гимнастёрке,
оставленной на берегу.

Наташка, Наташка, пойдём к реке, беззвучно повторяли губы. Та подняла глаза, кивнула. Народ начал расходиться:
кто-то в дом, на поминки, кто-то заторопился в город.

Они спустились по пригорку, сели в лодку. Вета гребла, Наташка смотрела на воду невидящими глазами и не покрывалась забрать вёсла даже на подходе к скалам.

У белой стены Вета достала из кармана эдельвейс. Наташка вздрогнула и посмотрела на нож, перемотанный красной лентой. Нужно было что-то сделать, чтобы унять пульсирующую боль в висках, которую не остужали ни поднявшийся ветер, ни начавшийся мелкий дождь.

– БабМания велела отрезать и сжечь прядь волос, а потом отдать реке нож, – сказала Наташка, – и он сможет найти дорогу в вечные земли.

Им обеим казалось: это самое правильное, что они могут сейчас сделать. Вета кивнула, взяла нож, отрезала прядь и потянулась к Наташке.

– Я сама, – всхлипнула Наташка, – зажигалку у отца взяла.

Прядки, светлая и тёмная сгорели быстро, несмотря на морось. Дождь усилился, и пепел смыво со скамьи в воду. Наташка сняла с шеи чёрный платок, которым укрывала голову на кладбище, они сложили в него нож и брошку, завязали узел. Опустили свёрток в воду, и он камнем ушёл на дно.

Лодка вплотную подошла к белой стене. Дождь прекратился, и влажный воздух наполнился полуденным светом.

– Смотри, – прошептала Наташка, и Вета увидела большую синюю стрекозу. Она зависла над их головами, а потом опустилась на скамью между ними. Серебристые крылья поблескивали, словно лезвия ножа.

– Чохрынь-ойка умеет превращаться в стрекозу, – тихо сказала Вета.

Глаза Наташки засияли. Густая сеть жилок на прозрачных крыльях сверкнула на солнце, стрекоза поднялась над лодкой, на пару секунд зависла в воздухе, подлетела к белой стене и через мгновение исчезла в расщелине скал.

— Он нашёл Ели Мaa, — улыбнулась Вета, — и там, наверняка, поля эдельвейсов.

Максим & Марина Сторм

УДАГАН

Огненная змейка пламени медленно ползет по стволу Аал Кудук Мас, священного дерева, объединяющего все три мира. Огонь добирается до разветвления и вспыхивает, рассыпаясь искрами, посылая видения Аан Алахчын Хотун¹.

Незнакомый уол, ведущий на поводу груженую лошадь. Волк и однорукий демон Абассы², затаившиеся в тенях, подстерегают добычу на тропе жизни. Холод и мрак выползающие сквозь пробитую ойбон ти-мир, прорубь в нижний мир. Кто-то принес жертву Улую Тойону³. Охота началась.

– Күннэй⁴! – раздался голос куту-руксут⁵, вырывая удаган⁶ из объятий вещего сна. Было уже довольно светло и первые лучи летнего солнца пробивались из приоткрытой двери остывшей к утру урасы⁷. Этой ночью боги верхнего мира предупредили Күннэй, что выпущен на свободу ички⁸

¹ хозяинка земли, доброе ички, близко подходящее к богам (*якут.*)

² абааны, – злые духи верхнего, среднего и нижнего миров в якутской мифологии (*якут.*)

³ Улую Тойон; от тюрк. – «великий господин» – антропоморфный глава злых духов (абасы) (*якут.*)

⁴ Күннэй – Кюнней "солнышка" (*якут.*)

⁵ помощник шамана (*якут. уст.*)

⁶ шаманка (*якут.*)

⁷ летняя берестяная юрта (*якут.*)

⁸ дух (*якут.*)

волка, а это ничего хорошего не сулило. В последний раз такое видение Аллараа Дойду⁹ означало, что сиэмэх¹⁰ Эргис, чёрный шаман, вновь затеял «битву», конца и края которой нет, пока на этой срединной земле существует жизнь.

Удаган отбросила заячье одеяло и, встав на ноги, с наслаждением потянулась, разминая онемевшее тело. Скоро Йысыах¹¹, да и тот уол¹² из сна находится неподалеку. Пора готовить обряд.

* * *

– От и доехали ваш бродъ, они за аремой¹³ стоят. А я чо даве грил?¹⁴ За седмицу от переправы домчим, – протараторил проводник, указывая на лагерь. Якут, второй из сопровождавших, оправив ремень берданы¹⁵, только пробурчал что-то под нос на своем языке. Слово “домчим” в реплике Егора, уроженца Урала, живущего в этих местах уже лет пять, вызывало глухое раздражение, ведь за весь месяц блужданий в лесу они провели в седле в общей сложности не более суток. Все остальное время приходилось вести коней на поводу, пробираясь сквозь буреломы, болота и дремучие чащобы. Переправляться вброд, а то и вплавь через бурные

⁹ нижний мир (*якут.*)

¹⁰ абааңы, – злые духи верхнего, среднего и нижнего миров в якутской мифологии (*якут.*)

¹¹ Йысыах (*якут.* Йыныах, по-русски читается как Йысэх) – якутский праздник лета. (*якут.*)

¹² мальчик, парень (*якут.*)

¹³ болотистое место (*диал.*)

¹⁴ А я что раньше говорил (*диал.*)

¹⁵ берданка, винтовка Бердана (*разг.*)

реки, ночевать под открытым небом, кормить комаров и есть надоевшую солонину. Сам Смолов – исконный горожанин, и это путешествие показалось ему сущим адом. Тысячи верст по Транссибу, сплав по реке Шилка и долгое путешествие по дикой тайге были испытанием на пределе его выносливости. Он уже проклинал тот день, когда согласился на казалось бы выгодное предложение, провести «разовую инспекцию деятельности управляющего золотодобывающей компании». Смолов бегло окинул взглядом поселение старателей. Штук пять-шесть деревянных построек и вскопанная добытчиками песчаная коса – вот и все, что нарушало природную первозданность.

Работа кипела, и пара десятков фигурок копошились в шурфах и на песчаной отмели.

Двое рабочих, подхватив ружья, внимательно наблюдали за прибывшими. Когда всадники подъехали ближе, один из старателей, узнав проводника-якута, поспешил навстречу.

– Здравствуйте, – картавя поприветствовал он, – Иван Демьяннов – золотничник ентой¹⁶ артели. Привезли чего из припасов? Спирт? – Приземистый, плотный мужчина лет сорока пяти, настороженно окинул Смолова цепким взглядом водянистых глаз. Он сразу вызвал некую подсознательную антипатию. Хотя возможно это предвзятость. Ведь если за падением добычи стоят хищения, то именно золотничник будет главным подозреваемым.

– Немного припасов привезли: соль, спички, порох. Но мы не за этим. Горный инженер Петр Ильич Смолов,

¹⁶ этой (диал., прост.)

уполномоченный компании. Прибыл из Санкт-Петербурга по поручению акционеров. Проведите меня в хранилище. Предоставьте все учетные записи и обязательно пришлите ко мне вашего управляющего.

– Не положено золото показывать, – резко отреагировал Демьянин, осторожно потянув с плеча ружье. Проводники в ответ как бы невзначай переложили свои берданы на луку седла. Остальные старатели, оставив работу и вооружившись, тоже подтягивались к месту разговора. Напряжение нарастало.

– Вот мои бумаги. Приказано оказывать полное содействие, – стараясь предотвратить назревающий конфликт, поторопился Смолов, доставая из непромокаемого пакета документы. Одной из его задач была оценка перспективности участка. Добыча в прошлом году снизилась чуть ли не вдвое. Район по реке Сутама, притоку Гонама, оказался богатым на золото, но труднодоступным, а снижение доходности Неманской Золотодобывающей компании в последние годы, вынудило управляющего отправить отряды добывчиков даже в отдаленные регионы, не вкладываясь пока в дорогостоящую рудниковую разработку.

Старатель взял бумагу и стал ее читать, шевеля губами. Было заметно, что читает он с трудом, и это выглядело, по меньшей мере, странно для золотничника. Едва закончив чтение, он кивнул, вернул документ, и задумчиво произнес:

– Я не знаю ентих подписей. Меня Балод нанимал. А ентих не знаю.

Баллод, главный управляющий, был сторонником рудников, но акционеры требовали больше золота, и тому приходилось идти на компромисс, совмещая разведку с

промывкой россыпных залежей. Но и такой метод приводил к немалым расходам. Рабочих нужно было обеспечивать продовольствием, одеждой и оружием, а доставка припасов в такую глухомань была делом непростым. Сам Смолов был нанят напрямую бароном Фитингфом и его дядей генералом Галлом. Официально – для оценки перспективности такой, как они выразились, «неуемной растраты средств», а неофициально, – для сбора компромата на управляющего, и возможных доказательств хищения.

– А печать-то знаешь?

Золотничий стоял, угрюмо разглядывая бумаги и нервно двигая челюстями. Наконец он нарушил повисшее напряженное молчание:

– Объездчик, значит. Мы вас не ждали, господин инженер. Прошу за мной. Усе¹⁷ золото и отчетность в конторе, туда вас и поселим, самое лучшее место. Там комнатушка есть отдельна с лежанкой. Токмо добро приберем, там у нас склад ешшо¹⁸.

Несмотря на усталость, накопившуюся в дороге, Смолов не мог не заметить несоответствие образа золотничника с занимаемой им должностью. Золотничниками обычно становились люди хорошо образованные, а этот даже читал с трудом, да и его речь тоже выдавала человека с одним классом приходской школы за спиной. Перед поездкой молодой горный инженер навел справки о Петре Балоде, бывшем политкаторжанине, ссыльном, освобожденным от надзора полиции высочайшим указом Государя Императора Алекс-

¹⁷ все (разг., диал.)

¹⁸ еще (разг., диал.)

сандра II. Имя этого человека было хорошо известно и в Якутии, и на Амуре, и в Санкт-Петербурге. О Балоде ходили легенды. По меньшей мере странно, что столь опытный Главный управляющий утвердил такого неподходящего субъекта, как этот Демьянов.

Конторой оказалась наспех срубленная постройка, напоминающая избу пятистенку, с узкими щелями вместо окон и с большим навесным замком на двери, но после месяца ночевок в тайге она показалась Смолову настоящим дворцом. Опломбировав добычу старателей, весы и книгу учета, он с наслаждением вытянулся на лежанке. Цель достигнута, они застали приисковую партию врасплох, а всем остальным можно заняться и после отдыха.

Для квалифицированного горного инженера работа была сущим пустяком. Добыча велась кустарным методом, с помощью деревянных лотков и конной бутары на две лошади. Напластование богатой золотой россыпи оказалось постоянным, с гнездовыми вкраплениями богатых самородками участков. В день намывали до фунта, а в удачный – до полутора, то есть, не меньше пяти золотников на человека.

Судя по наблюдениям за работой и подсчетам производительности, прииск должен давать около пяти пудов в старательный сезон, а прошлый год не принес и двух. Это означало, что либо старатели хорошо работают лишь в присутствии инспектора, либо имеет место факт хищения. никакие другие факторы, как то: погода, поставки и так далее, не могли бы настолько уменьшить добычу. Но все могло случиться. Например, пустой нанос или углубление пласта, на которые и пришелся прошлый год. Здешний управляющий, опытный старатель с Ниманских приисков, пожимал

плечами, а рабочие угрюмо молчали. Было очень трудно разговаривать с людьми, прекрасно понимающими, что у Смолова за спиной нет силы, способной наказать их за грубость или нежелание содействовать. Только теперь Смолов стал понимать, что «деликатное», как выразился барон Фитинггоф, поручение, на самом деле очень опасно. Не такой он представлял эту поездку там в Петербурге, ох не такой. В своем воображении он приезжал на прииск в двухколке, в сопровождении десятка жандармов и следователя. Реальность оказалась куда более прозаичной. Единственный, кому он сейчас доверял – это Егор-проводник, нанятый по рекомендации атамана казачьей станицы Албазин Смоловым лично. Не велика сила, если вдруг случится противостояние.

Дни шли своим чередом. Однажды вечером Смолов задержался на шурфах дольше обычного. Прохладный ветерок со стороны реки донес обрывки беседы, заставившей его внимательно вслушаться в разговор. Один из говоривших картавил, и инженер его сразу узнал. Другой, с голосом низким и якутским протяжным произношением, был незнаком. На прииске находился только один якут, проводник, но это был явно не он.

– Енто дело легче легкого для такого шамана, как ты, Эргис, – заискивающе обращался к кому-то Демьянов. – Тебе и делать-то особо ничего не надо будет. Все мои люди сделают. Ты только подсоби нам немного, как ты это умеешь. Чтобы наверняка было. Поможешь, шаман? За мной дело не станет, отблагодарю как водится.

– Ты мне должен. Много сил забирает. Духи устали. Улуу Тойон жертву требует.

– Сочтемся, Эргис, сразу после ентоого дела и полу-чишиш свою долю целиком. Делов-то – чуть, а глядишь, и под-заработкаешь еще.

– Что ты понимаешь в духах, луучча¹⁹? Иччи не нужно твое золото.

– Я с почтением отношусь к духам, шаман, ты не поду-май чего. С большим уважением и почтением, вот и обратиляся к тебе – самому сильному ойуну в тайге. Поможешь?

– Думать буду. Не просто это – удачу тебе дать. И опасно, даже для меня. Духи так сказали.

– Да что же там опасного? Нет ничего.

– Не тебе знать, луучча! Ты не веришь духам? Зачем тогда просишиш? Духи сказали – опасно. Они видят. Знают.

– Удвою долю.

– Утроишь. – голос прозвучал жестко, с ноткой пре-восходства. – Нет – ищи другого шамана.

– Эх, Эргис, уж больно удача нам в этом деле нужна. Так и быть, по рукам.

– Ружья завтра пришлешь. И обещанный спирт не забудь.

Смолов не совсем понимал суть происходящего, но появление чужака на территории прииска его не на шутку встревожило. Разговор тоже был подозрительный. Связано с кражей золота? Не похоже. Мало ли какие у золотничника дела с этим якутом. Поразмыслив, Смолов все-таки решил ничего не предпринимать. Слишком рискованно начинать расспросы. Рабочие и так на него уже косятся недобро, а никакой силы, кроме Егора, за спиной нет.

¹⁹ луучча, нуучча, учча – русский (*якут. уст.*)

* * *

Перед отъездом инженер порекомендовал разработку этого месторождения еще на два сезона. Прямых доказательств хищения обнаружить не удалось. Записи о приемке добычи велись без нарушений, все подписи были на месте, и весы в исправности. На складе скопилось уже не менее полутора пудов песка и самородков и Смолову поручалась их доставка в отделение Сибирского банка для последующей отправки в столицу.

С прииска пришлось взять одного из приписанных к нему охранников. Инженер побаивался перевозить столько золота только лишь в компании молчаливого проводника якута и разговорчивого поселенца с Урала.

— Поселение якутов тут недалече. Всего-то полдня потеряем. Оголодаем без еды-то, али зверя бить доведется, время терять. Да и коня там купить можно.

— Йсыах Олонхо²⁰, — кивком подтвердил якут, улыбаясь.

Смолов и сам понимал, что без пополнения запасов назад им не добраться. Потеря на полпути двух выючных лошадей со всеми припасами не оставляла им выбора. Медведь, с ревом вскочивший из зарослей, напугал животных, и те метнулись к краю обрыва, сорвавшись.

— Ладно, уговорил, уралец, — все еще сомневаясь в своем решении, нехотя согласился Смолов. Почти три пуда золота в переметных сумах, навьюченные на его лошадь, заставляли осторожничать.

²⁰ праздник летнего солнцестояния у саха (*якут.*)

Только подъехав к стойбищу, Смолов понял оживление проводников. Тут происходило действие, напоминающее то ли обряд, то ли праздник. Десяток берестяных юрт, как пояснил уралец – урас, расположилось на аласе²¹, на берегу небольшой речушки, а над ними плыли звуки песни, то заунывной, то звучащей речитативом. Якуты встретили их гостеприимно и дружелюбно, поднеся кумыс и предлагая присоединиться. Спешившись, никому доверяя, инженер снял с лошади баул с приисковой добычей, настороженно поглядывая по сторонам.

– Сордоох эбит²², потерял никак улаан сылгы²³ свою, уол? Следить лучше за свой лошадь надо, – женский голос заставил обернуться. Смолов увидел хрупкую молодую женщину в длинном замшевом одеянии из множества металлических подвесок, дисков и колец, птичьих костей и перьев. Среди них особенно бросалось в глаза медное изображение медведя, вставшего на задние лапы.

– Якут-проводник успел доложить? Вот прыткий шельма, когда успел только?!.. – возмутился инженер.

– Это саха удаган, – вмешался уралец, громко шепча на ухо – шаманка, ведьма по-нашему.

Смолов с недоверием окинул взглядом женщину в ритуальной одежде. В ведьм он не верил, да и православным христианином был лишь номинальным. Как и большинство выпускников Горного института Императрицы Екатерины II, он предпочитал научные факты, а к басням о потусторон-

²¹ форма рельефа

²² что за напасть? (*якут.*)

²³ чалая лошадь (*якут.*)

нем мире, духах, ведьмах и колдунах, относился со скептицизмом. Шаманка сделала приглашающий знак рукой, и неожиданно для себя Смолов покорно пошёл вслед за ней, следя размеженному позвякиванию подвесок.

В юрте женщина, взяв в руки бубен, начала тихо напевать. Промелькнула мысль встать и уйти, но тут же растворилась в небытие.

Дикая музыка уносит с собой. Размеженная мелодия становится отрывистой, замирает и снова ускоряется, беспорядочно, не подчиняясь ритму и схеме. Когда голос затихает звуки бубна звучат сильнее, расплескивая реальность как воду в стакане. Голос, постепенно усиливаясь, заставляет слепо следовать за ним. Звуки, отраженные стенами урасы, гремят отовсюду, вбирая в себя настоящее, меняя местами прошлое и будущее. Звенят подвески, стучат птичьи кости на одеждах шаманки. Удары становятся все сильнее и чаще, переходя в нарастающий гул. Перед глазами разливается серый туман, а сердце, бьется в унисон глухим ударам и заунывойной песне.

– Дагдайбыт, дъабыдыбыт, бука бары дайан көрүн!²⁴,
– звучит напев.

Вдруг, после пары мощных ударов шаманского инструмента, мир замирает. Лес застыл в янтарной дымке. Рокот,ibriруя, еще несколько мгновений висит в воздухе, сменившись неподвижной тишиной, в которой не слышно даже дыхания.

Не слышно даже тихого шепота листьев вековой бересклета, древней как сама земля, могучей как сама жизнь и плодо-

²⁴ Все выплывшее (всплывшее) наверх, все неуклонно стремившееся вперед, попробуйте отлететь! (якут.)

витой как чрево матери. Не поют птицы, не гудят насекомые. Беззвучно раздвигаются заросли, и на поляну выходит медведь. Огромный, бурый. Он замирает перед деревом, внимательно наблюдая за бегущими по ветвям ручейками пламени.

И снова тихо, на грани слышимости, звучит бубен. И опять поет шаманка.

– Ньюхчойо көтөн истэхпит буоллун!²⁵ – зовет ее голос, вырывая из видения.

Смолов, потерявший отсчет времени, очнулся от тяжелого, туманного оцепенения с недоумением отметив, что уже совсем стемнело. Должно быть усталость так сильно на него подействовала, что свалила с ног прямо здесь, на земле, возле костра, под монотонные и тоскливые песни шаманки. В голове продолжали витать обрывки видений: протяжное ржание лошади, падающей в пропасть; и одиноко бегущий облезлый волк, жутко оскалившийся при виде черного ворона, парящего в небе.

– Никак зло на тебя затаил сам си-эмэха Эргис, – прошептала шаманка, не отрываясь глядя в огонь. В ее черных глазах отражались языки пламени. – Большое зло. Духи высшего мира передают тебе послание: будь осторожен, уол. Они уже в пути...

Смолову было не по себе, он никак не мог понять причин своего неожиданного безволия и видений, нарушивших сложившуюся картину мира, поэтому ничего не ответив, выскочил из юрты. Он злился, что проводники не пришли на помощь, убоявшись шаманки, и теперь только отводили глаза в ответ на упреки.

²⁵ якут., Мы, согнувшись, продолжаем путь!

* * *

На следующее утро, пополнив провиант мясом, кропивной колбасой, сыром, кумысом, и получив в подарок двух лошадей, отряд отправился в путь. Как ни странно, якуты не взяли платы ни за лошадей, ни за припасы. До Албазино оставалось две, от силы две с половиной недели пути. При удачном стечении обстоятельств они легко доберутся до цели к назначенному сроку.

Шел второй день после того, как они покинули стойбище. Местность не позволяла ехать верхом и приходилось вести коней на поводу, пробираясь сквозь заросли и заломы. Не покидало напряжение от той ответственности, что на него накладывал ценный груз, а из головы не выходили события в юрте якутской шаманки.

О чем говорила женщина? О чем хотела предупредить? И как Смолов ни пытался выпытать у проводника-якута о том, что же все-таки произошло в юрте саха удаган (как назвал женщину проводник-уралец), все было безрезультатно. Тот отмахивался от Смолова рукой, повторяя, что с богом судьбы Дъылга Хаана не спорят. Оба же русских и вовсе ничего толком об этом не знали, рассказав лишь несколько баек о местных шаманах. Поэтому, Смолов, вместо того чтобы наслаждаться окружающими их природными красотами, время от времени нервно хватался за рукоять крупнокалиберного «Смит и Вессона», как будто тот мог избавить от накатывающей тревоги. Это вызвало ухмылки и беззлобные шутки сопровождающих, с самого начала путешествия вежливо подтрунивающих над бесполезным в тайге оружием.

Предчувствие все же не обмануло. Выстрел прозвучал неожиданно, а за ним хлопнуло еще несколько. Смолов вцеп-

пился в поводья и подпругу испугавшейся грохота, понесшей лошади, волочась за ней по камням. Он забыл о своем револьвере, не обращал внимания на боль от ушибов и царипин о ветви деревьев и кустарника. В сознании пульсировала лишь одна мысль. Золото, притороченное к крупу его убегающей лошади. Он пронесся мимо распластанного тела якута. Лицо, залитое кровью, и заваливающаяся на бок гнедая, сменились панорамой неба и таежных зарослей. Выстрелы продолжали греметь, дополняя звуки ржания обезумевших лошадей, топота копыт, треска ломающегося кустарника, стонов раненых и криков нападавших. Один из голосов показался знакомым. Золотничник – подсказала память. Этот картавый голос было трудно не узнать. Смолов даже не заметил, когда его подстрелили. Мир начал тускнеть, покрываясь серой пеленой тумана.

Шепот: Дагдайбыт, дъабыдыйбыт, бука бары дайан көрүн!

Волк. Оскал у шеи. Дыхание у лица.

Ещё мгновение и клыки зверя воплются в горло.

Близко, совсем близко.

Это конец, и нет спасения.

Но хищник вдруг замирает, ощетинившись.

Медведь огромный, бурый. Он ревет, встав на задние лапы.

Волк испуганно пятится, а медведь, приблизив морду на расстояние сажени, провожает Смолова взглядом в непроглядную темноту беспамятства.

Ньюхчойо көтөн истэхпит буоллун! -- шепчет вдогонку голос шаманки.

И снова тихо, на грани слышимости, звучит бубен.

* * *

Смолов открыл глаза, не понимая, где он находится. Последнее, что он помнил, это нападение, стрельба и битва призраков. Он был уверен – его ранили, но как ни странно, ничего не болело.

– Ты не послушал удаган, уол, и за это поплатиться. Я предупреждала, – раздался рядом женский голос. Обернувшись, инженер увидел шаманку с якутского поселения.

– Ты? Как я здесь оказался? И где золото?

– Желтый песок в надежном месте. Ты его заберешь. Но вначале уолу нужно вернуться в Срединный мир. Покаместь он одной ногой там, другой здесь

– Но я чувствую себя прекрасно, – попробовал было возражать Смолов.

– Сейчас, да. Но твоя буор кут²⁶ еще не вернулась. Ты понял что случилось?

– Мы попали в засаду. Кто на нас напал? И эти звери... Они ведь нереальны? Их не могло там быть.

– Ты видел иччи, уол. Мир духов открылся тебе. Мой иччи медведя шел за тобой. Спас. Защитил.

– Почему ты мне помогла? Из-за золота?

– Зачем мне твое золото, глупый уол? Желтый песок, к чему он саха удаган? Может ли он человеку заменить зверя или рыбу? Согреть в мороз или вылечить от болезни? Может ли он очистить оскверненный жадностью Ийэ-кут²⁷ от накипи, от зла и ненависти? А тебе помогло твое золото? Спасло

²⁶ земляная душа – материальная часть, физическое тело (*якут.*)

²⁷ материнская душа – то что передается от родителей: традиции, культуры (*якут.*)

в тайге от смерти? Вылечило твою рану? Или из-за него ты ее и получил?

– Но я не чувствую ран.

– Видишь? Это было в твоей печени, – шаманка протянула пулью. – Ты был уже мертв, уол. И твое золото не помогло бы.

Смолов откинул меховое одеяло и уставился на свой торс. Шрам был старым, многолетним и давно зарубцевался. Вот только у него не было раньше такого шрама. Если видения можно было списать на гипноз и на бред раненого, то это было совершенно невероятно.

– Но как?

– Сама богиня земли просила за тебя. Но не все закончено. Демон Абассы коснулся тебя и похитил твою буор кут. Если ее не вернуть, ты скоро умрешь. Твоя Салгын-кут²⁸ пойдет и найдет украденное. Ты сможешь. Ты видел иччи. Боги верхнего мира благоволят тебе. Я помогу. Пойду с тобой. Смелее, уол.

Шаманка ударила в бубен и мир вокруг растворился в серой пелене тумана.

Дагдайбыт, дъабыдыйбыт, бука бары дайан көрүн! – звучит напев и пелена рассеялась.

Сознание раздвоилось,

Край лесной поляны, окруженной стеной клубящегося марева.

²⁸ воздушная душа – интеллект, разум, коммуникативно-социальная составляющая (якут.)

Ярко светит солнце, играя бликами на листьях огромной кряжестой и ветвистой березы, вокруг которой выются сотни пчел.

Там же, под кроной гиганта, сидит крупный медведь,

Он внимательно наблюдает за насекомыми, не обратив внимания на появление человека.

Пчелы никак не реагируют на такое соседство, а вот на шаг человека отвечают раздраженным жужжанием.

А тот медленно с опаской идет к дереву.

Шаг, еще шаг.

Чем ближе подходит человек, тем сильнее гудят насекомые.

Новый шаг, и рой, как по команде, собирается в плотный вихрь, преградив дорогу.

Человек непроизвольно пятится и насекомые, почувствовав его страх, приближаются, угрожающее жужжа.

Зачем он здесь?

Загадка: медведь, пчелы, дерево.

Крепнет уверенность: нужно во что бы то ни стало ее разгадать.

Зачем? Неважно.

Это просто необходимо.

Пчелы и медведь – мед. Мед – улей. Улей – дерево.

Улей на дереве? Нет, в дереве!

Вот оно – большое дупло. Невысоко, на уровне медвежьей морды. Не его ли защищают пчелы?

Ускорившись, человек пытается обойти жужжащую охрану, но безрезультатно. Рой оказывается быстрее, преграждая дорогу.

Не найдя иного выхода, человек решается просто-напросто проскочить сквозь рой и добраться-таки до охраняемого улья.

Но не тут-то было.

Пчелы, облепив его плотной массой, вонзают свои жалы.

Резкая боль придает еще больше прыти и человек делает отчаянный рывок к березе, запускает руку в недра дупла...

...и все это для того, чтобы убедиться: в дупле ничего нет.

Огромное разочарование, обида, непонимание.

Пытка все продолжается, и отчаявшийся, ослепший человек, мечется, отмахиваясь от полчищ насекомых.

Те самоотверженно атакуют и, выпустив свой яд, падают замертво, усеивая поляну своими черно-желтыми телами.

Кажется, это мучение будет длиться бесконечно.

И только когда последняя пчела погибает, раздается медвежий рев, а с кроны березы на плечо человека слетает крупный ворон.

Черная, как антрацит птица, взмахом крыла сметает боль с изжаленного, опухшего от яда тела.

Вслед за этим проясняется и сознание, снова став единым целым, и человек с удивлением понимает: он смотрит на мир глазами ворона.

– Ньюхчойо көтөн истэхпит буоллун! – шепчет голос, снова погружая сознание в серый туман.

* * *

Как и обещала шаманка, якуты благополучно довели Смолова до самого Албазина. Он успел вовремя. Со дня на день ожидали пароход из Благовещенска на котором можно было спустится по реке Шилка до Сретенска. За огромную сумму в пятьдесят рублей ассигнациями удалось снять небольшую пристройку с крытой тесом крышей и покосившимся крыльцом на самом краю посёлка.

Смолов, плотно поужинав впервые за несколько недель горячей похлебкой с овощами и душистым хлебом, с удовольствием растянулся на мягкой кровати.

Здесь он наконец-то мог расслабиться. Бесконечное напряжение, особенно в последние дни, когда пришлось пробираться по кишащему лихими людьми Приамурью, окончательно истощило его силы, и он заснул крепким сном.

Ему снился ворон, парящий в небе над постройкой с покосившимся крыльцом. Громкое карканье птицы вырвало Смолова из сна.

Из соседней комнатушки доносился шум и потрескивание дерева. Золото лежало в ногах и было на месте, но в дом явно кто-то пытался проникнуть. Смолов судорожно вцепился в рукоять тяжелого армейского револьвера. Рука моментально вспотела, а сердце начало биться быстрее. Каждый его удар отдавался в ушах колоннам звоном.

За стеной что-то тихо произнесли. Смысла разобрать не удалось, но это опять был тот самый голос, что преследовал его в кошмарах. Картавый и неприятный.

Двери медленно отворились, тонко поскрипывая, и в проеме показался темный силуэт. Инженер без колебаний навел на него ствол «Смит и Вессона» и спустил курок. Вы-

стрел разорвал ночную тишину, оглушил и ослепил его самого. Выстрел еще выстрел. Все шесть патронов. Смолов стрелял, пока боек вхолостую не щелкнул по пробитому капсюлю. Патроны кончились. Он даже не подумал, что нужно перезарядить револьвер, а невидящими глазами уставился в темноту дверного проема.

В ушах стоит шепот: Дагдайбыт, дъабыдайбыт, бука бары дайан көрүн!

В сознании, подернутом серой дымкой, возникает картина: истекающий кровью человек в траве; три темных силуэта бегущие к опушке леса; кони в зарослях; и огромный волк, внимательно наблюдающий за людьми, укрывшись в кустарнике.

На улице громко лаяли собаки, слышались громкие крики. Вскоре показался свет факелов, и комната наполнилась вооруженными казаками.

– Живой? – осведомился хозяин дома, в котором инженер снимал пристройку. Он был босой, в одних портах, и с шашкой в руке. – Знать бы в какую сторону они побежали, да сколько их было.

– Тroe. К лесу бегут. Там кони у них, – Смолов, все еще пребывая под впечатлением видений, говорил отрешенно, вызвав удивление станичников, вероятно не столько осведомленностью, сколько тоном.

– Тут руда на зени²⁹, – донеслось с улицы. – Видать ранил кавося³⁰.

²⁹ кровь на земле (*диал.*)

³⁰ кого (*диал.*)

– Опять бандиты. Сладу с ними не стало как золотишко в округе появилось. Совсем обнаглели сволочи. Даже в станицу сунуться не побоялись. Кончать с ними надо, атаман.

– Григорий, вздымай³¹ полусотню. Попробуй догнать. И следопытов из местных прихвати. Демьян, опроси сторожу – как они татей проворонили. Токмо взять их в полон, а не как всегда.

– Да чево³² как всегда? Порубим их, делов-то? На кой они нам сдались?

– Цыц, балаболка! Делай чево велено! Будет он еще тут атамана поучать.

Смолов уже знал, чем окончится погоня. Раненого им бандита казаки таки зарубят на окопице. Остальные сумеют добраться до своих коней и, хорошо запутав следы, скрыться в тайге, а волк уведет за собой погоню. Откуда это знание? Задумчиво глядя в окно, инженер сжал в кулаке амулет, подарок шаманки, с которым не расставался с той памятной ночи, когда впервые увидел своего ворона.

После всего произошедшего в стойбище акутов, входить в православный храм было боязно. Почему-то казалось, что вот-вот его покарают молнии с небес. Особенно после всего увиденного в мире духов. Но ничего не произошло. Смолов отстоял обедню, а потом подошел к местному батюшке и поведал свою историю. Вопреки ожиданием, тот отнесся с пониманием и не стал призывать кару Господню за приобщение к языческим ритуалам.

³¹ поднимай (*диал.*)

³² чего (*диал.*), говорят вместо что (*вост., сев., сиб.*)

— На все воля Божья, сын мой. Ведомы случаи, когда шаманы пользу немалую принесли, больных от хворей избавив и духов нечистых изгнав. Зело полезны они бывают там, где до лучшего недоросли. Восславь Господа за исцеление тебе ниспосланное.

* * *

В Сретенске Смолов купил билет на поезд до Иркутска. Из-за деликатного груза пришлось выкупить все купе, истратив последние ассигнации. В Иркутске, как ему и предписывалось нанимателями, он должен был сдать деньги в отделение Сибирского торгового банка на Большой улице, тем самым избавившись от нелегкой ноши. На вокзале было людно и инженер с опаской прижимал к себе опостылевший груз. Напряжение не оставляло, даже наоборот, усилилось, наполнив предчувствием опасности. Юркнув в свое купе и приказав проводнику его не беспокоить, Смолов запер дверь, уложил потертые седельные сумы под сидение, и сев сверху, для собственного успокоения извлек револьвер.

За дверью купе слышались оживленные голоса и детский смех. Пассажиры сновали туда-сюда, раскладывая многочисленные чемоданы, сумки и дорожные узлы на верхние полки. В соседнем купе строгий проводник потребовал немедленно пересесть на отведенное место какого-то нерадивого пассажира.

Когда поезд отошел от станции, инженер немного успокоился, но чувство тревоги никуда не делось, а наоборот, нарастало, но вместе с ним росло и спокойствие. Довольно парадоксальное состояние, в котором уверенность что все обойдется, перевешивала страхи.

Смеркалось. Смолов уже было начал дремать, когда купе кто-то попытался открыть, а когда не вышло, начал возиться с замком. Без сомнений, это был не проводник. Ощущение опасности забило набатным колоколом. Инженер взвел курок и уже было приготовился стрелять, когда взглянул в отражении окна силуэт медведя.

Снова нахлынуло спокойствие. Левая рука с силой сжала амулет, и широкая улыбка расплылась на лице Смолова. Мир вокруг подернулся серым туманом, и он запел: Дагдайбыт, дъабыдыйбыт, бука бары дайан көрүң!

* * *

Күннэй бежала по тропе, проламываясь сквозь нависший кустарник. Тело медведицы не знало усталости. Она уже вывела, где спрятался черный шаман. В облике волка тот готовился к схватке. Но все же удаган слишком поторопилась, и если бы не предостерегающий крик ворона, прозрачный самострел, установленный на лесной опушке, заbral бы свою жертву. Ворон каркнул еще раз и спорхнул с дерева, кружка над головой.

Волк акыыгын килэт³³... Он возник на тропе внезапно, встав посреди тропы в ожидании. Күннэй показалось, что с последней встречи он стал мощнее. Свиrepо оскалившись, зверь смотрел прямо в глаза, вызывая на бой. И удаган была готова его принять. Сегодня ойбон ти-мир, прорубь в нижний мир, опять затянемся льдом.

И снова струится пламя по стволу Аал Кудук Мас. Пламя, очищающее от зла. И снова огонь рассыпается ис-

³³ показать клыки (*якут.*)

крами, являя видение. Видение широкой улыбки на лице Аан Алахчын Хотун.

Савельев Валерий Николаевич

ВЕСЁЛОЕ ГОРĘ

Прямо сказать, незавидный кочевал аул. Досталось, видать, нынешней зимой и людям, и скоту. Разъезд молча стоял, а мимо брели киргизские пожитки – пяток доходяжных коровёшек, отощавший донельзя косячок лошадей, подаль семенили овечки на беглый перечёт. В ярме с пустыми передками вышагивала пара быков по четвёртой траве¹. К телеге подвязана ещё пара, поменьше. Напослед вывернул из-за ракитового болотца клочастый верблюд в длинных оглоблях с невообразимо скрипучей, как принято у азиатцев, арбой. Меж огромных колёс помещались долгие дровни с разобранной юртой. Соскочив с дробин, бежала апайка². Евсей толкнул коня встрече.

– Исусу, Исусу, – приближаясь, кричала женщина. Шагов за десять бросилась, прямо на грязцу и с колен кланялась до земли, не переставая осеняться широким знамением, – Исусу Хрест ради, Мати Свят, Исусу слави...

– Братцы, да она кабы не крещённая? И евхаристию³, поди, знавала, – донеслось средь казаков. Кайсачка, услыхав предположения, скоро приблизилась к разъезду, к Илье, скавшему те слова, опять бухнулась на коленки. Казаки скучились, смущение возникло.

¹ четвёртый год

² женщина (с казахского), уменьшительно, в обрусевшем произношении

³ святое причастие

– Хрест, есть хрест, – шебаршила из-за пазухи гайтан, засветлела бляшка нательного крестика, тут же протянула на узкой ладони, – Отчу... имя твое...

Илья, соскочив с седла, поднял апайку. Ободряя, тоже осенился: свои, мол, свои, сестрица во Христе... Платье на ней – невообразимые ремки. На коленях и рукавах, где локти, промокло наскроль, но киргизке – бары-бер. Оборачиваясь на вставшую арбу, на опасливо подходящих подростков, парнишку и девчонку поменьше, указя на повозки с коровами в оглоблях, на группу замерших верховых обочь обоза, она силилась что-то объяснить сквозь душивший её то ли кашель, то ли плач.

– Ты по-свойски джиргочь, кто ты? – по киргизски перебил женщину Евсей.

Сразу выявилась история...

Апайка эта, парнишка с девчонкой да ещё малое дитё в арбе – осколок семьи казака Полиенко. Так написано на клочке материи печатными буквами, поданном заместо пачпорта. Родом со станицы Котуркульской, что подалее отсель, от речки Акан-Бурлука, то бишь, вёрст за полтораста к восходной стороне.

Оженился станичник, жена его – Гаухар, дочь бия, в церкви нареклась Глафирай, Груней. Детишек нарожали. Не пожилось однако – помер Полиенко скоротечной горячкой, остудившись третьей назади зимой. Деверь апайки на их степной обычай плонул, в жёны Груню – вдову брата своего не принял⁴. Станица была готова стариков послушать, а те потрясли бородами да хмыкнули приговор: откель явилась

⁴ по степному обычаю вдову брал в жёны брат покойного

кыргызка, туда пущай и откочёвывает. Не казачья жена будто...

Она и убралась в отцовский аул, кинув избу в станице, забрав скотину да из одёжи что. Мужняя родня вдогон тоже слова не молвила, ни бе, ни ме, ни кукареку о судьбе сирот. Одна Полиенчиха об детях в голос жалковала, но кто бабу послухает. У них с малолетства судьбина песенная: я плакать не смею, тужить не велят...

Всё бы ничего, ежли бы вслед за мужем не лишилась Глафира-Гаухар и отца. Брат младший в ту пору оказался не в силах – мал возрастом, пришлось ей братъ бразды правления, но иные родичи стали вбок поглядывать, оттого справный аул начал хиреть. Ныне и вовсе беда – прихватил джут, зашиб скотинку немногим не дочиста. А кыргызу без скотины – амба. Теперь кочуют на летовку, нуждой битые вдоль и поперёк.

– Чем-то бы помочь, братцы, – по-русски проговорил Евсей, и повторил растерянно, – только чем?

Женщина встревожено оглядывала лица, понимая, о чём речь. Взявшими за руки сына и дочь, зажав на миг у себя, подтолкнула вперёд. Даже худоба и туземный наряд не скрывали симпатичный их облик, какой почти всегда удаётся меж русских и киргизок. Парнишка сдвинул сусячий малахай на затылок, вдруг ткнул себя в грудь, потом также в Илью напротив:

– Мишка! Мен орыс, сен орыс, – блеснул зубами на чумазом лице, – паси бох...

– Шустрый, – посмеялись казаки, да не очень весело, однако одобрили, – за русского себя Мишаня держит, молодца, жиган...

Ендовицкий Семён вытащил шашку, дал подержать мальчишке. Тот восхищённо оглядывал клинок, ногтем пробуя остроту лёза. Кызымка⁵ дичилась, зашла за мать, пухливо сверкая неожиданно светлыми глазками.

— Просит ребятишек этих взять, считает их детьми казачьими, — переводил Евсей, хотя все, кажется, и без того сдавались, — желает, чтоб середь своих, в нашенском племени взрослели. Что ответить, братцы?

— А ты бери аюром всех, — подкузьмил Пашка Дейкин, — сглянь, при формах бабёнка, что грудя, что курдюк, будто и не кыргызка-плоскодонка. Сводить в баньку, подкормить, да и за милую душу... Ей, поди, и тридцати не стукнуло?

— Зубы нечего скалить, — осадил урядник Шеин Пётр Никифорыч, — дело сурьёзно, не хаханьки...

Прочувствовав смысл слов, женщина негодующе глянула на Дейкина, запахнула колени и резко надвинула суроый платок. Стыд стемнил лицо. «Парони бох» — шептала дрогнувшими губами. Но сразу с решимостью вскинула взгляд на примолкнувший в мыслях разъезд. Когда о судьбе детей беспокойство, ничто матери не помеха, хоть и собственное бесчестье. Детей ради она на многое готова, если стоящая. Казакам показывали истину: за родную кровь — и курица лютый зверь! Глафира — стоящая, по многому замечено. Тянула руки, как к иконам тянут. Просила, как хлеба просят...

— Парнишку, ежли она согласна, возьму, — дрогнул голосом Архип Филиппев.

⁵ молодая девушка, уменьшительное

Казаки смолчали, хотя про себя, наверное, каждый вздумал: ешё бы! В самую пору, если знать, что у Филиппева по лавкам четверо и все девки. И всё же изумились: с пелёнок знали Архипку, сроду первым не кидается, сзади не отстает, но тут – показал себя фланговым, хоть ты что думай! Чистый фортель, не всяк горазд. Энто, брат, не фунт изюма на подобное выйти.

А Филиппев торопил Евсея. Обскажи, дескать, кыргызке момент случая, чего даром стоять. Отдаст – так и покончим...

Несчастье – оно никогда глаз не радует, тяготит и печалит, кого ни возьми. Женщина, сознав предложение, заплакала. Глухо, как плачут сироты и пленники. Дети облапали, поддерживают её. Мать качалась, подняв лицо к пустым небесам. Ясно казакам – шибко истязалась нуждой, обратила её навроде петли. Пред видом сами опечалились – тута взвоешь! И бедой томит, и надежда манит – пополам сердце рвётся. Не всякое сдюжит горький выбор. А здесь, крути не крути, всёж-ки – женщина, хоть и матерь человеческая!

Словно студёным ветром пронимало под рубахами...

А энти – слепились втроём, чуть не голосят. Казаки порешили было, что раздумала апайка, испугалась разлуки, не пустит. Стали разбирать поводья, строиться. Ан, нет... Дочку прижала, а сынка рукой отвела, отстранила, подтолкнула силком к русским. Всё! Отрезанный ломоть. Паняй, дескать, в отцовское племя, там отныне мыкай долю. Парнишка ох как не хотел, на лицо боязно глянуть – до того переменилось, прям не узнать давешнего хлопца с белозубой улыбкой. Однако не стал перечить, мгновенно повзрослев душой...

Разъезд, мало годя, отъехал, зная по себе: долгие проводы – лишние слёзы. Шеин с места приказал взять намашистой рысью – аж комья полетели из-под копыт. Раздирающий крик раздался вслед: опырмай⁶, увижу ли тебя, мой сын...

Сколь ни ехал Архип с кыргызёнком в одном седле, тот оглядывался. Скрылись за увалом лески и сопки, ближе к Лобановской станице настал сосняк с березняками, а Мишатка всё горевал. Неслышино, но чуял казак за спиной судорожные всхлипы. Оглоушила дитёнка нежданная встреча. Будто ударом соила⁷ снесло с седла на полном скаку.

Жизнь – она, конечно, и в ауле несладкая. Как пить дать. Тощие, в лохмотах... Да мать же там оставил, сестру, родичей каких-никаких – вот потеряя. Вместе бедовать легче. Сейчас в чужие люди везут, совсем чужие. Одному быть... Трепетало малое сердечко, ровно синичка в ястребиных лапах.

Казаку тоже неспокойно. Сам-то решился, а жинка как? Для неё мальчионка – обуза поболее, чем ему. Как оно в семье сладится, девчушки уже большенькие, поймут ли? Ворохтается Архип на стременах, трубочки смалит подряд... Получается, что он, нестой того ветра на мельнице. Ежели дунул, начал молоть, дальше грех останавливаться. Хоть искры с глаз – крути жернова да ворочай ветрилом, коли взялся. Сдумаешь бросить в неровён час, от людей такого наслушаешься, уши свянут, со двора беги...

⁶ возглас отчаяния

⁷ длинный шест с петлей на конце для ловли лошадей; служит также ударным оружием

– Не жалкуешь, сосед? – подъехал сбоку Николай Шаврин, и сразу отстал после молчаливого взмаха камчи⁸ и сумрачного взгляда товарища. От лишних слов слабеют руки... Не желал Филиппьев в сей миг тратить решимость впустопорожних разговорах. Больше не трогали до самого дома.

Таким манером объявился Михаил среди аиртавичей. Пришлось Архипу, не мешкая, с запиской батюшки смотреться в Котуркульскую церковь. Тамошний поп сверился по метрическим книгам, и всё подтвердилось. Мишка – крещёный, как есть – казачий сын. Утрясли дело с фамилией-отчеством, переписав на Филиппева. Атаман подсобил, по строевой части, через Кокчетавский военный отдел.

От киргизцев впоследствие никаких домыслов, как отрезали. А может с матерью что стало? Парнишка окончательно обруслел, даже лицом высветлился. С первого взгляда сроду не определишь азиатцем. Чернявых среди казаков немало, опять же мордовы полно в Аиртаве. Речью правильный, ухватками аульного ничем не напоминает и подавно. Зато с конями равных нет! Тут Мишаня – джигит родчий, самостоятельный! Обратает любого дикаря, кобылицу подоит, строевика выучит по службе... Только что не разговаривают с ним покорные лошадки.

Кажись, недавно Архипин двор по-новому зажил, а уж с десяток лет долой, будто сморгнули. В станице дни сгорают на прах, словно совки-мотыльки, что на костёр слетаются. Вечная колгота с пашнями, сенокосами, скотиной да ухожами при дворах и зaimках. А ещё – учебные лагеря, служба

⁸ ремённая витая плеть, нагайка

первой очереди, земские отработки, отрядные походы на льготе...

Спокоя нет. Верно про себя полагают ермачи⁹: весёлое горе – казачья жизнь. Вдогон прибавляют маленько гордясь: жизнь собачья, зато слава казачья...

Туда-сюда – пора Михалке в полк собираться, на царскую службу. Проводили по-людски, как сподобает. Сам Архип ходил гоголем: как же, и у него сын лямку воинскую тянет, его двор – семейственный, не халам-балам, не хата крайняя, а опора для Сибирского войска и Державы...

Меж тем, годы настали неспокойные, разразилась война. Сибирцев двинули на Кавказский фронт. Поначалу в резервах стояли, откуда разве что в конвои отвлекали к высоким штабным лицам, навроде его превосходительства генерала Юденича. Однако вскорости приложились настоящие дела, при которых славы, конечно, больше, но и к смерти ближе.

Захватила военная сутолока. Прежнее отодвинулось в памяти. Одно напоминало далёкие свойские края – заснеженные склоны кавказских предгорий и забитые буранами ущелья. Правда, горы солидней родимых кокчетавских сопок, снега да кручи сильнее выматывали и людей, и коней. Это больше походило на суровый Тянь-Шань в приграничьях с Китаем и Персией, где спокон веку служили сибирцы.

В тот день по команде главного штаба Первый Сибирский Ермака Тимофеева казачий полк походными колоннами двигался в сторону Ардагана. Шли спешно, вплоть до

⁹ общепризнанное прозвание сибирских казаков по имени Ермака

сумерек, которые здесь падают внезапно, оттого затемно батовали коней у места приготовленного бивуака. Следовало упредить вражескую армию...

Уже бы и укладываться – шумнуло боевое охранение сбоку ущелья. К третьей сотне прибрёлся обоз. Бегут от турок, особливо – от яростных курдов. Сплошь армяне: старики, дети, женщины почтенного возраста, молодых прячут.

К сотенному обратились старцы, обличьем чисто волхвы библейские: живописные ремки с балдахинами, витые пояса, бороды белые, посохи выше голов... Попросились поставить телеги за линию часовых. Есаул дозволил.

Через полчаса бабы их подошли, нанесли к кострам казачьим сыр, лепёшки, отдельно – тутовую водку в кувшине для офицерских джаламеек¹⁰.

В горахтишало, унимался грохот обвалов. На тёмной закатной стороне отрога, выше пластов сырого тумана красным пятном показался костёр. Может, бандиты жгли. Может, одинокий чабан с винтовкой в руках. Далеко разносило дымом. Над подковой молодого месяца высветилась походная удача казаков – звезда. Вскоре и лагерь умолк. Лишь плакал ребёнок, и слышался негромкий печальный напев.

– Что она поёт? – спросил Михаил Филиппев у старика, коротающего тоже ночь у костра.

– А что поют матери? колыбельная... старая, очень старая, – ответил дед, очнувшись от дум, пошевелив огонь, продолжил, – под неё меня качала бабушка... давно... там, за Аракатом...

¹⁰ офицерская палатка из кожи, распространённая в казачьих соединениях Туркестана

Помолчав, сам тихо запел, но вскоре смолк, то ли не стерпев дыханьем, то ли всхлипнув.

– Знаешь... мать просит его: рasti, сынок, защити Родину... говорит ему: сынок, проснись, оборони меня...

Будто от дымка протёр глаза, выдохнул:

– Мой сын не проснётся... Саввел его звали...

Вздохнул Мишка – везде горе, и тут беда. Избивают люди друг друга, цельные народы гоняют война, ровно ветер куст кермека¹¹ через бескрайнюю степь. Да и есть ли на земле огромной хоть крохоток, где хорошо человеку, где есть счастье?

Утром армяне засобирались. От их обоза пришёл ночной собеседник, и прямо – к Филиппеву. Михаил даже сконфузился перед товарищами, когда тот стал настойчиво вручать кинжал. Чуть взял оружие, старик молвил: обороны нас, сынок. И все его соплеменники от возов смотрели с надеждой на сибирцев – старики, женщины, дети.

В седле уже, на пути, Филиппев потянул за рукоять – из потёртых ножен благородной изморозью отсветился клинок старинной выделки карабахских мастеров.

А через восемь лет в далёкой от гор Арагатских Сибири, на дворе белоказака станицы Аиртавской Филиппева во время обыска подали комиссару найденное холодное оружие – тот самый кинжал. Это коли не расстрел, то плюс лет пять тюряги, куда вовсю торили этапы сибирские казаки. Протоколами тогда не заморачивались, комиссар сунул улику за отворот кожанки. Погодь, дескать, до поры...

¹¹ трава, перекати-поле

Когда спровадились, остался наодин с названной матерью Михаила (сами-то ермачи – в бегах опосля восстания). Глянул в окошко, как ревбойцы отошли со двора, шагнул к хозяйке:

– Откуда он? – вытащил клинок.

– С войны турецкой сын принёс, – смело отвечала казачка, терять ей нечего. Ну и обсказала суть. Крепко задумалася на лавке тов. Акопян, комиссар самый, потом решительно встал, положил кинжал на стол.

– Спасибо, мать, – сказал, целуя руки баушке Филиппевой, – а это спрячь подальше...

Прошумели ещё лета да зимы. Рубцевались раны гражданской, которую в Синегорье понужали Колчаковской. Иных из казаков аиртавских не стало, которые далече... Упокоились Архип с Любавой, не пожилось двум их дочерям, сгинули в тифозных бараках вербовочных контор да этапных пересылок. Старшая со средней разъехались, одна в Семиречье вдовой небо коптит, другая – в Свердловске, на Уралмаше будто, за милиционером.

Но всё же, вопреки всему, двор Филиппевых не выдуло злыми ветрами расказачивания, раскулачивания. Не удалось сорвать с земли, пустить по ветру. Покрепче нагрянувших передряг оказался семейный корешок.

Это как, иной раз, берёзку ли, сосёнку в сопках приметишь. И за что, скажи, уцепится сердёшная в щели гранитной, чем пробавляется на скале гольной среди каменной нежити? Прям, диво берёт. А – зеленеет! Стволик, веточки нужда всяко крутит, а деревцу нипочём! Ростиком невзрачно, зато сердцевина витая, крепкая, неподатная топору и бурелому. Внизу таких сроду не сыщешь.

А ешё думали станичники, что, видать, в добрый час надоумило Архипа взять приёмыша в семью – не прогадал! Неужто столь далеко загадывал в том разъезде?

Правда, отлучался Михал Архипыч на некоторые годы из Аиртава, не по своей воле. Стало можно – опять вернулся к куреню, где возрастал. Один, по второй жене вдовец, сивый и задубелый в холодных краях. Главное – живой, не калека. А седина соболя не портит. Худобу и северную бледность Ивдельлага скрывала широкая кость отца да природная смуглость матери. С Клавдией Сивцовой сошёлся, у той два дитёнка от мужа, с Анненковым без вестей канувшего. Зажили вместе, всё полегче.

Пару ли, тройку лет минуло, чаще и чаще пропадать стал Мишаня. Нет, не совсем, а, сказать бы, продолжительно отлучался. Напечёт ему Клавка базбиков¹² ли, подорожников каких – это смотря какой мучицей разживутся – кинет котомку за спину да и подался со двора. Где-то, сказывали, под Якшинским озером, дымила кизяками киргизская летовка – туда хаживал. Наряды¹³ его из тех, кто помнил, откуда Мишка в Аиртав прибыл, переглядывались догадливо: кровя зовут, стал быть, по матери-то – степняк чистый! Кто позлей жил – свой вывод делал: сколь не корми волка...

Может и была правда в тех догадках, да не вся. Глафира-Гаухара давно приказала долго жить. Сестра Мишани замуж вышла, за Балхаш отчалила. Ни слуху, ни духу за много лет. Одна родня осталась – брат младший Окубай и дядя. Вместе кочуют. Сам Токтагул постарел крепко, однако люди

¹² стряпня сдобная, из пресного теста – подорожники

¹³ сверстники; от «наряд» – список одновременного призыва в полк первой очереди

держались возле него. Советская власть покуда разрешала безосёдлость, вот и кучковались по привычке.

В аул к дядюшке и являлся Михаил Филиппев. Родня – роднёй, но и заработка ради. В двадцать девятом году, ли чё ли, в Акане совхоз организовался, мясного направления – по-культурному сказать. Подряжался с аульцами скот пасти. Брали бычков два-три гурта, угоняли в степь до осени, нагуливать на вольных травах. Через дядю записывали навроде сезонного работника.

В Аиртаве не в жилу пришлось. Здесь помянуть надобно... Казачество сибирское, ежли кто с головой, проживали справно. Рубля на полтины не ломали, это редко кто... Но и не сорили почём зря. Орлянку¹⁴ службой отстаивали, каждая копейка в мозолях или с кровушкой.

Теперь станицу порушили, коммуну пробовали налаживать. Раза три. Не получалось у комбедов. Названия на кумачёвых вывесках лепили звучные – «Красный путь», «Товарищ Исаак Бабель», «Заветы 2-го Интернационала». Начало верное, потому как даже корова без имени – мясо. Только далее звона дело не двигалось, упиралось в пустые амбары, виляло в буряны, хилилось плетнями. Не один станичник головой качал на хозяйство, с богатых усадеб собранное в общий котёл: пришло маxом – сойдёт прахом. К тому и шло в судорогах быстрогаснувших починов, организуемых в уезде...

Путёвые казаки нового чурались, а бишара¹⁵ – она у себя никогда порядка не добивалась, что о большем рассуж-

¹⁴ гербовое золото, серебро в монетах

¹⁵ голодранцы

дать. В шалое время бойкий народец навострился делить, зато умножать – с этим тugo, хоть тресни. Вот и взяло кота поперёк живота...

А в Аканском поставили хозяйство без ревпорывов, деловито, обычным макаром управлялись. Здраво рассудить, совхоз – это контора, а в степи – то же тебе джайляу¹⁶, лишь привесы животине обеспечивай.

Сделался Мишаня завзятым гуртоправом. Бригадир показывался раза три за лето. Набегал на ходке¹⁷ скот глянуть, заодно мучицы на болтушку-затирку пастухам подкинуть, соли или аванец выдать. Вот и вся, почитай, власть. На море ковылей безбрежных не грех было о воле возмечтать...

Пастухи по соседним балаганам в гости друг к другу наезжали, чтобы совсем не задичать. Михаил к дяде наведывался. Того по старой памяти за бия почитали, хотя какой он теперь бий... Филиппев чтил как старшего в материном роду.

Агашка¹⁸ тот, Токтагул самый, чуял давнюю вину за сёстриных детишек, с которыми неладно всё-таки в ауле обошлись, принимал племянника сердечно. Гордился перед сородичами его героической судьбой. Всякий раз брал в руки кинжал, просил ещё рассказать про кавказский случай.

Прошло и то лето тридцать шестого года. Подросший нагульный скот отправили по мясокомбинатам. Маток угнали в стойла на зимовьях. Гуртоправам оформили отпуска. Перед отъездом в Аиртав Филиппев приехал в аул погостить, заодно попрощаться до сезона. Впрочем, оно ещё как

¹⁶ летние пастбища

¹⁷ лёгкая одноконная тележка на две оси

¹⁸ дядюшка

срастётся... Бий прихварывал изрядно. Кумыс, барсучий жир, курдючное сало, травяные настои слабо помогали. Хотя, кто знает: может ими и держался. Говорил – осень, тоже пора перебираться ближе к русским. У них – сельпо, «карасин», фельдшер, баня...

Жаркий горел огонь в юрте, но, как говорится, в старой кости сугрева нет, оттого бий кутался в стёганый на вате халат, поджав ноги в пайпаках¹⁹. Походил на старого нахоллённого беркута. Выпивали маленько, плеская в кисюшки из поллитровки, которую дядя велел принести в честь племянника приезда. Сам не пил, лишь при встречах даволял себе, уважить всегда старался. Знал русскую сторону младшего родича – казак же! Кыргызского Михаил по жизни не чурался. Однако помнил завет матери и знал себя русским. Токтагул велел в ауле признавать сие обстоятельство безоговорочным. У старика давно уже всё, что касалось Гаухар, почиталось почти священным.

День ветреный, мглистый с утра. С низких туч принималось то крапать, то сыпать колючим бусом. Срывались холодные вихри.

– Того уж не воротишь, мой ага, дымом сволокло, – проронил Михаил, выслушав очередную историю дяди. Как всегда они говорили по-русски. Дядя за этим строго следил почему-то...

– Тучи назад гонит, отары вертаются... Осень, потом снова весна через зиму... Год Мыши, через дюжину лет – снова настанет... Кружится мир, нас кружит...Иншалла...

¹⁹ войлочные чулки под кожаные сапоги выше колен

– Нет, Тoke, не всё подряд чередом движется... Скажу четыре вещи, которые не возвращаются: стрела, слово, время и возможности.

Старый киргиз склонил голову, крепко задумался.

– Ты стал мудрым, как твой дед Уалий, мир его праху... Ты хорошо сказал, – внимательно глянул на Мишанию.

– Не я... Старики у нас.

– Умный люди... Стрела, слово, время и... как ещё? – и тут же столковал по-своему, – а, это сёдни хочешь – бери, завтра хочешь – нету? Убежит. Так?

– Вроде того, – усмехаясь, подтвердил казак, – возможности... пока кипит – варя! пройдёт твоё время – забудь. Хватишься, ан нет: близок локоть, а не укусишь.

Ага вдруг засмеялся, выпрямился молодо, вскинув руки, хлопнул широченными рукавами одёжи, сильней напомнив ловчую птицу, воскликнул:

– Слушай! На базар, Таинша ездил. Коня не купил! Быр, жети²⁰, – показал все пальцы два раза, – столько прошло...

– Двадцать лет?

– Давасать, ага... Не, трисать! Окубай был ниже стремени... Какой конь, а... Тулпар²¹... Джибага²²... Шипкий конь! Я не брал. Жалко... Теперь не куплю, да? Сапсем рухлый стал. Нет, не...можность? – опять смеялся бий, тряся реденькой, но длинной бородой.

²⁰ счёт по-киргизски

²¹ сказочный конь

²² иноходец

В юрту сменить дастархан²³ вошла юная девушка. Токтагул совсем развеселился. В кольцо из указательного и большого пальцев шустро туда-сюда вставлял палец правой руки и, кивая на копошившуюся с посудой девицу, заливался:

– Кызыым бар²⁴, можность жок, а! Бери девку, тебе поздно нету! Ты – пока джигит! Уруситов тебе натаскает... Не хочешь? Гляди! Можность не вернётся, сам сказал! Ойбой, я баурсак²⁵ уйма жрал, целый казан, теперь можность нету, – показывал, хохоча, на свои голые дёсны.

Они выпили ещё, водочки, чаю. Ждали Окубая...

Юрта дяди стояла на пологом склоне у двух могучих берёз. Другие аульные жилища – по склону ниже. А саженей на десять выше начиналась опушка частого осинника. Соседство берёз и осин осенью выглядело красочно. Издали казалось, будто полыхнуло на ветру русское дерево от алых углей окаянной рощицы.

Сильным порывом дёрнуло хлипкую дверку, закинуло рогожку полога, из очага порхнуло искрами и золой. Кызыымка испуганно кинулась поправлять, хозяин остановил, жестом велел покинуть.

Теперь Михаил и стареющий вождь молча глядели в дверной проём, на картину осени в косячной раме. Густо летели золотые пятаки сверху, вздымалась позёмка из красных листьев внизу, вдали пригибало стаю гусей, доносились тоскливые звуки.

²³ скатерть, в прямом значении, здесь: переменить блюдо

²⁴ девушка есть

²⁵ жареное в бараньем сале либо коровьем масле фигурное тесто с тутым промесом

Слитно думали оба: всё проходит постепенно, кроме жизни. Жизнь пролетит. Сдуёт быстро охапку отведённых лет, как тот лиственний сор, как кочующих птиц в зябких сумерках.

Рвёт ветер жалкие кроны. Рвёт время прощальные дни...

Казак почувствовал взгляд, сам посмотрел на доброго киргизца. Тот сидел, проникновенно замерев от печального вида за дверью кочевого жилища. На тёмном лице посвёркивали слёзы.

— Неможность, Мишка, — шелестели его слова, — мумкин емес²⁶, коня не купил — зачем теперь? кызыым бар — зачем кызыым? жизнь есть — зачем?

²⁶невозможно

Литературно-художественное издание

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

Сборник работ участников
Международного литературного конкурса
малой прозы «ЭтноПеро»
2019

Составитель: Татьяна Владимировна Горкунова

Обложка: Наталия Александровна Печерских

Ответственный за выпуск: Ольга Ивановна Калинина

Государственное бюджетное учреждение
культуры Свердловской области «Свердловская
областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28
Тел.: +7 (343) 211-07-00, сайт: www.somb.ru

Подписано в печать _____._____._____ г.

Формат бумаги 60×84 1/16. Гарнитура ____.

Бумага офсетная. Печать плоская.

Усл. печ. л. ___. Заказ ___. Тираж 250 экз.

Отпечатано в ООО Универсальная

Типография «Альфа Принт»

620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 2ж.

Тел.: 8 (800) 300-16-00; сайт: www.alfaprint24.ru